

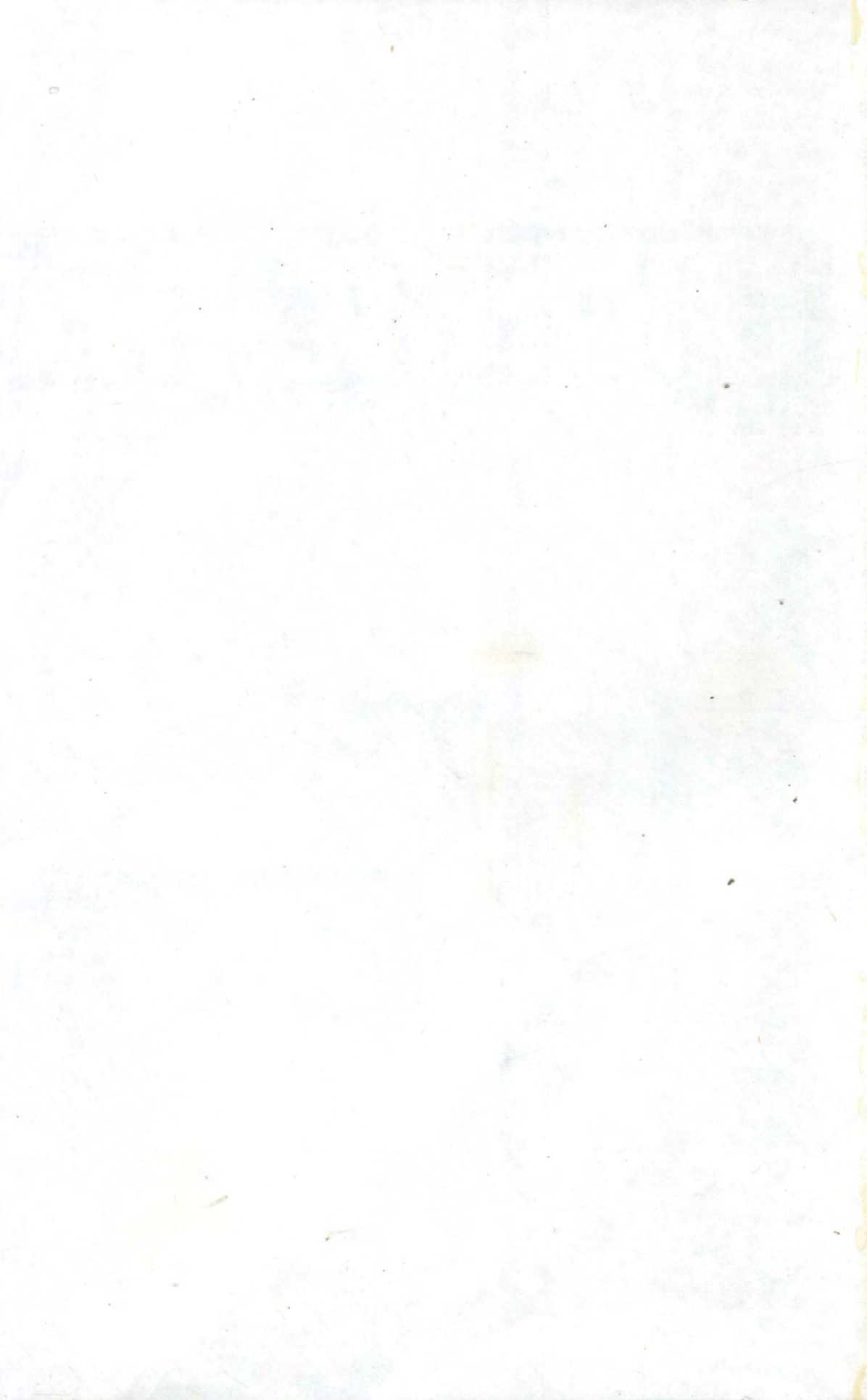
1999

10

Октябрь

Октябрь

10 1999



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1999

ОКТЯБРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Анатолий АНАНЬЕВ.
Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Книга третья 3
- Алексей ПУРИН.
Вечные фабулы. Стихи 92
- Олег ПАВЛОВ.
Школьники. Повесть 95
- Владимир КАНТОР.
Радиоприемник. Рассказ 121
- Анастасия ГОСТЕВА.
Потерянная фото пленка. Рассказ 128
- Нечаянные страницы***
- Борис ХАЗАНОВ.
Понедельник роз 133
- Юлий КРЕЛИН.
«В начале было Слово». Глава из книги воспомина-
ний 163

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

| | |
|--|------------|
| Александр СЕКАЦКИЙ. Искусство и диверсия | 166 |
| Год как век | |
| Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ | 175 |

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|---|------------|
| Александр МЕЛИХОВ. «Со страшной жаждой песнопенья...» К 185-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова | 179 |
| Игорь КЛЕХ. В огне не горит, но тонет в воде | 186 |
| Мелочи жизни | |
| Павел БАСИНСКИЙ. «Какой черт сидел во мне...» | 188 |
| В несколько строк | |
| Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ | 191 |

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Инесса НАЗАРОВА | <i>отв. секретарь</i> |
| Алексей АНДРЕЕВ | <i>зав. отделом прозы</i> |
| Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ | <i>зав. отделом критики</i> |
| Виталий ПУХАНОВ | <i>проза</i> |

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов,
Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин,
Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман,
Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 30.08.99. Подписано к печати 22.09.99. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8250 экз. Заказ № 2021. Цена 24 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Анатолий АНАНЬЕВ

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

ВЕРСИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ, ФАКТАХ И ДОКУМЕНТАХ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Главы, предваряющие историческое повествование

I

Если кому-то сегодня захотелось бы вывести единую формулу жизни, то формула эта выглядела бы так: одни люди (народы) созидают, другие (властители и народы, главным образом властители) разрушают, третьи, избравшие для себя самую благодатную нишу кормления, пребывают в роли исследователей и толкователей всего, что совершалось и совершается на историческом пространстве веков. Возможно, в соотношении этих трех начал как раз и заложена ключевая основа нашего бытия. Однако если обратиться к обиходному восприятию жизни, то, несмотря на всю научную вроде бы обоснованность наших исторических и текущих знаний о мироздании, жизнь предстает перед нами не в трех, а лишь в двух действовавших как в прошлом, так и теперь полюсно-противоборствующих началах, заключенных в понятиях «созидание» и «разрушение». По состоянию дворцовой жизни, на которую, кстати сказать, как раз и сориентированы все официальные оценки минувшего и текущего мироустройства, главной действующей силой в историческом процессе развития принято считать созидание, ибо во дворцах и вокруг них после любых кровавых и некровавых перетрясок жизни достаток и барство только приумножались в своем беспредельном накоплении, тогда как по состоянию народного бытия (на том же историческом отрезке) такой силой предстает не остановимое из века в век разрушительное начало, люди страдают от царских разборок, мечутся в поисках облегчения и только попадают из одной кабалы в другую, удавкой накидываемую на них. Так велось из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие, и мало кому на протяжении прожитых веков приходило в голову (а если и приходило, то тут же и отправлялось в небытие), что в историческом процессе развития давно и основательно действует совсем иная и более могущественная, чем зримо противоположные между собой созидание и разрушение, сила воздействия на основы нашего бытия; она (назовем ее третьей) надежно защищена от разоблачения не столько тронами, как можно было бы предположить на первый взгляд, сколько — той особой, академической, как я бы охарактеризовал ее, святостью, которая, с одной стороны, вроде бы неуловима, бестелесна, ибо являет собой некую концентрацию духовных усилий (или устремлений) мыслителей в познании

прошлого и настоящего человечества, а с другой — материализовавшись в пьедестально-иконостасном величии, смотрит на нас со своих божественно-недосягаемых высот, как обычно смотрят познавшие мир духовные поводыри на паству, не успевшую еще испытать на себе ни перманентных ударов все господствующего в мире обмана, ни горечи от заблуждений, щедро, впрочем, оплаченных коронованными особами, ни той мнимой славы, какой увенчиваются летописцы, приспособившиеся настолько исторически-оправданно истолковывать античеловеческие деяния престольных персон (см. Книги царств из Ветхого завета Библии), что мы до сих пор толпами валим к подножию выставленных перед нами иконостасов и пьедесталов, дабы к канонному значению этих светил, во все времена державших нас в историческом невежестве и угнетавших нас, искренне присовокупить наши безотчетные (и безответные) простолюдинские почтение и веру в бескорыстие и подвижничество сих холодно и отчужденно смотрящих на нас ложно-возвеличенных властных особ. Думаю, нет нужды пояснять здесь, что в данном повествовании я обращаюсь не к житиям личностей, в той или иной мере творивших историю (они творили в рамках установившихся закономерностей), а к действиям тех рукотворных сил (или тенденций, можно и так), возникших на меже классового расслоения и обретших право влиять на ход истории, которые, самосовершенствуясь в веках, исползовали это свое право не на достижение общего блага, коим так жупельно размахивают сегодня певцы и подпевалы нашего «доблестного» прошлого и еще более «доблестного» настоящего, а на изничтожение (под любым предлогом и любыми средствами) всех тех основ, или начал, жизни, которые как раз и могли бы привести народы к общему заветному благоденствию. У царей (королей, императоров, вождей, президентов, премьеров) было достаточно времени (более ста двадцати веков, если начинать отсчет от Древнего царства, то есть от великой древнеегипетской цивилизации, одарившей человечество системой господства и рабства и названной «зарей человечества»), чтобы привести мир (если бы они не пеклись о своем благополучии и не укрепляли могущество своих тронов) к действительному, а не назывному, то есть мнимому, прогрессу и процветанию, но они только провозглашали, как провозглашают и теперь, эту благородную цель и ничего не сделали для ее воплощения; у народов (простолюдинов), о которых принято говорить только в созидательном значении, были все те же сто двадцать веков, чтобы сломить ненавистное им господство царей (королей, императоров, вождей, президентов, премьеров) и восстановить справедливость и добропорядочность в общественных отношениях и общественном бытии, но и они не исполнили своего предназначения, поддавшись (и продолжая поддаваться) на высокие тронноисходные посулы и велеречивые призывы к достижению собственных благ за счет порабощения и ограбления соседних (то есть себе подобных) народов и государств; у летописцев и комментаторов, бравшихся вроде бы с предельной правдивостью освещать суть исторического развития человечества, тоже имелись те же (если бы они не ступили на стезю тронхолопства) сто двадцать веков, чтобы основательно разобраться в происходивших на их глазах (часто и с их участием) явлениях и высветить то, что должно было быть названо ими злом, и получить четкое и ясное обоснование, но они, на мой взгляд, даже не пытались достичь цели, втянувшись в многотысячелетнее состязание в первохолопстве, то есть за право так называемого академического (антинародного) угодничества перед охватившей ныне весь мир фараоновской державностью. Вот так выглядит наша история, если рассматривать ее в реальном воплощении, а не в легендах, вымыслах и домислах, то есть не в искажениях подтасованных под правду и канонизированных, с одной стороны, Божьим промыслом, а с другой — строго научным будто бы, но, по сути, тоже канонизированным в святость подходом к освещению древнейших, древних и новейших эпох, — да, так выглядит итог всей исторической деятельности людских сообществ, в которой, отойдя от естественных начал и закономерностей бытия — «славные Гипербореи» — и заменив их рукотворными — системой господства и рабства, — вылившимися в безжалост-

ное и беспощадное хищничество, человечество не решило ни одной из стоявших перед ним проблем как в плане личного, семейного, так и общественного бытоустройства. Чтобы убедиться в этом, достаточно, думаю, лишь реалистическим взглядом посмотреть на безумства прошлого (уходящие в глубь череды веков) и еще большие безумства настоящего, как все прояснится, и никакой академический вердикт уже не сможет заслонить открывшейся правды. Но, провозгласив себя реалистами и материалистами (очередное ловко сработанное защитное ограждение), мы не сделали ни шагу в сторону воплощения этих понятий и продолжаем двигаться в том же традиционном русле исторических и философских (просветительских) оценок, какие в свое время, то есть на заре «цивилизации», были благопристойно (иконостасно-пьедестально) провозглашены и канонизированы первопроходцами ныне придавившего человечество могильной плитой так называемого «прогресса и процветания». Я бы хотел, чтобы не путали здесь прогресс технический, которого человечество вполне могло бы достичь при любом альтернативном хищничеству мироустройстве, с устройством общественных отношений и упорядочиванием общественного бытия, то есть с той стержневой (ее можно назвать и социальной, и нравственной) основой, от состояния которой всегда зависела, как будет зависеть и впредь, достойная или недостойная жизнь личностей, людских сообществ, государств, и тут, надо сказать, мы со времен пирамид, да, именно со времен пирамид не только не достигли хоть какого-либо прогресса, но так и не смогли перешагнуть за пресловутую черту господства и рабства (фараоны и рабы); мы лишь прилагали усилия, воспринимая поводырские посулы за истину, к совершенствованию того, что фараоны заложили в основу предложенного ими хищнического миропорядка (полагаю, народы должны эту часть вины взять на себя и вслед за поводырями покаяться перед человечеством за свое преступное ротозейство), а если вернее — стагнировали все то, что должно было привести и во многом привело уже мировое сообщество к самоубийственному концу. Думаю, не будет преувеличением сказать, что большинство людей во все времена приходило к таким или подобным выводам, которые, впрочем, по разным причинам, в том числе и по возрастным, ибо на краю могилы, когда плоть охвачена немощью, человек уже не способен ни к каким решительным действиям, — да, по разным причинам оставались неоглашенными; в таком же положении пребывают люди нынешнего поколения, именующие себя высокоразвитыми и высокопросвещенными, но какова же, однако, сила традиции, если даже осознание того, что деятельность тронных особ, деятельность так называемых «богоизбранных» личностей, кланов личностей, народа, народов и государств, рвущихся к трону мирового господства, уже почти поставила человечество на грань необратимых катастроф (сегодня понимают это все — от простолюдина до правителя и от правителя до простолюдина), — даже осознание неминуемого краха не останавливает нас в гонке безумств и параноических устремлений. Однако что же происходит на самом деле, кто лишил нас разума и навлек на нас слепоту, если даже очевидное и осознаваемое нами остается для нас пустым звуком и мы, как и наши пращуры, продолжаем верить не в то, что являлось и является реальной действительностью, а в то, что преподносилось и преподносится нам в виде церковных и научных истин и оседает в нас, в нашем сознании, как единственно возможное и верное толкование событий прошлых и текущих веков? Видимо, в нашем восприятии теперь уже настолько смещены понятия реальной и сконструированной теологами, историками, философами жизни (разумеется, в сторону сконструированной), что мы готовы скорее истощиться в бдениях перед иконостасами, чем поверить себе, в свои способности, силы, разум и встать на защиту своих простолюдинских (народных) интересов.

II

Народы, вступающие в открытую борьбу с тронным насилием и тиранством, если и добивались каких-либо успехов на пространстве веков, то успехи эти носили лишь временный характер, и вслед за ними опять наступала мрачная полоса господства и рабства; народы, которые эту же проблему брались

решить путем смирения и послушания, полагая (согласно библейскому канону о непротивлении злу насилем), что подобным юродством смогут снискать либо Божье, либо монаршье сострадание, и вовсе оставались ни с чем и обрекали грядущие поколения сородичей на еще более беспросветные нищету и бесправие. Наверное, за минувшие столетия и тысячелетия ученые мужи да и церковники могли бы обратить внимание на эту закономерность и хотя бы попытаться выяснить, в чем она заключалась; но вместо этого они с необыкновенной легкостью (по крайней мере у меня складывается такое впечатление) ухватились за то поверхностное, что словно бы само просилось им в руки, — противоборство добра и зла, созидательных и разрушительных начал жизни, — и, не познав правды, а соблазнившись лишь правдоподобием, нарекли это правдоподобие (противоборство) законом жизни (законом движения) и положили его в основу становления и развития человеческого бытия. Согласно этому закону, названному учеными мужами основополагающим и естественным (хотя, что касается естественности, тут можно еще поспорить, ибо в гармонии развития природы нет сизифова труда и всякое эволюционное или революционное явление в ней непременно заканчивается пусть иногда малыми, но всегда качественными изменениями), борьба народа и власти кажется нам и объясненной, и приемлемой, и оттого мало кто задумывается над тем, что сопровождаемая в веках бесчисленными жертвами блдений и сеч, она напоминает сизифов труд по беспримерной безрезультатности итогов; мне кажется, тут есть над чем задуматься и историкам, и философам, и теологам (при условии, конечно, если своим «научным подвижничеством» они вознамерятся все же добиться истины), ибо в трагических попытках простолюдинов отстоять свою независимость есть же в конце концов некая направляющая величина, назовем ее так, под воздействием которой они вновь и вновь, оказавшись в сетях заблуждений, либо порываются достичь невозможного (из носителей плоти — в обладателей духа, если по Аристотелю, то есть из бесправия во власть, что противоречит уже не только аристотелевской догме, но и природной будто бы и божественной заданности), либо, борясь со злом, борются не с деревом зла, не с корнями, питающими это дерево, а лишь с его плодами, рассеивающимися по лону Земли и прорастающими повсюду нищетой, кабалой, насилием, угнетением. Конечно, жизнь есть движение, движение возникает из противоборства сил, и я отнюдь не собираюсь оспорить здесь эту вполне вроде бы материалистическую формулу мироторжества (как, впрочем, и мироразрушения), но хочу только еще раз заметить, что формула сия может быть верна только в том случае, если противоборство заканчивается успехом какой-либо одной из сторон и приводит к качественным изменениям, тогда как в противоборстве народа и власти за тысячелетия ни народу, ни власти не удалось одержать верх (тут уж, надо сказать, не до качественных изменений, да и можно ли от сизифова труда ожидать их?), и если мы все еще продолжаем видеть в означенном противоборстве движение и не замечать застagnированности в рамках господства и рабства, то это отнюдь не означает, что действительность подчинена законам нашего воображения, а не законам жизни. Ведь мы никогда не идем дальше понятий добра и зла, когда беремся рассуждать о противоборстве народа и власти, в то время как силы эти по заложенным в них потребностям равно несут в себе заряд жизнеутверждения; власти пекутся о своем тронном благополучии, созидая лишь то, что ценно для них, и потому в деяниях своих не видят и не могут увидеть никакой предсудительности, народы, пытающиеся отстоять свое представление о бытии, полагают (и не без основания, а, напротив, с еще большим, может быть, основанием), что выходят на священную схватку и что более правого дела, чем восстановление справедливости, у людей не было, нет и не может быть; происходит, в сущности, не противоборство неких злых и добрых сил, определенных, с одной стороны, промыслом Бога и дьявола, как говорят церковники, а с другой — объективной природной закономерностью, как утверждает наука о миро-

здании и мироустройстве, но самоутверждение двух жизненных начал, одно из которых имеет естественную основу: это народ, народы с их утраченной самобытностью и ностальгией по господствовавшей некогда среди них социальной («славные Гипербореи») справедливости, и ностальгией эта как раз и подвигает их на решительные схватки, тогда как второе начало — власть! — являясь порождением классового расслоения, то есть от и до созданием рукотворным, кинулось, пренебрегая всеми природными (устоявшимися, эволюционными) закономерностями и подминая и уничтожая все, что оказывало сопротивление, обретать нужный для себя плацдарм жизни. Да, я готов ради более глубокого уяснения еще раз повторить, что борьба шла и продолжает идти не между добром и злом, о чем неустанно твердят теологи, историки, философы, ставя в один ряд с древом народной жизни, возникшим в результате эволюционных (естественных, природных) процессов развития человечества, новоотпочковавшееся на меже классового расслоения древо власти, порожденное алчным поводярским разумом, а между древнейшими и новоиспеченными (рукотворными) устоями жизни, то есть между той сложившейся социальной формацией, в которой исключалась сама возможность господства и рабства, и так называемым «новым порядком» (думаю, вполне уместно употребить здесь это понятие), привносившим в самобытную жизнь народов как нечто безальтернативное и великое именно систему господства и рабства, и такая борьба, с какой стороны ни рассматривай ее, не только не могла способствовать развитию и тем более служить теоретическим обоснованием исторического процесса, но, напротив, представляла и предстает на пространстве веков смертоносным молохом развала, разрушения и удушения. Но ни ученые мужи, ни человечество в целом, словно бы боящееся (по неведомым причинам) разочароваться в суждениях своих иконостасно-пьедестальных иерархов знаний, несмотря на то, что в общественных отношениях людские сообщества давно и прочно заведены в тупик, — ни ученые мужи, ни человечество в целом не предпринимают ничего, чтобы выйти из этого исторического тупика. Если рассматривать картину жизни с точки зрения ее теоретических (канонизированных) обоснований, то она будет выглядеть следующим образом: добро борется со злом (и не всегда это народ против монархов, но чаще монарх, возбудивший подданных против соседнего правителя и соседнего народа) и, как явствует обычно из официальных источников, побеждает, иначе откуда бы взялись иконостасы, пьедесталы и прочие и прочие атрибуты царской, дворцовой славы (достаточно, думаю, сослаться здесь на Книги царств из Ветхого завета Библии, на «Всемирную историю четырех империй» Блаженного Августина да и вообще на всемирную историю в ее современном изложении), — откуда бы взялись эти монументы нашего поклонения, если бы вопреки здравому смыслу не подтасовывались факты истории и деяния коронованных особ, провозглашаемые иерархами от исторических, философских, теологических знаний деяниями во имя народа и на благо его (хотя смысл их всегда сводился лишь к наращиванию могущества тронов), не венчались бы славой великих и добрых свершений? Такова писаная история, она героизирована до предела, в ней, как бисер на ниточке, нанизаны победы, победы, победы; победы царей над царями, народов над народами, простолюдинов над монархами, когда людские массы выходили на штурм бастилий под предводительством вождей, точнее, будущих новоявленных монархов, и правомерно ли считать эти кровавые побоища победами добра над злом, как они до сих пор подаются на просветительский стол толкователями исторического и текущего бытия? Ведь после каждого такого кровопролития цари оставались при своих, а народы при своих интересах, то есть дворцовое барство как процветало, так и продолжает процветать, а хижинная нищета, закольцованная рабством, только еще сильнее придавливает простолюдинов; людские массы предстают перед вопиющим обманом и, распознав его, вскипают новыми возбуждениями, чтобы после принесенных бесчисленных жертв (в революцион-

ных ли схватках, в царских ли походах) опять оказаться перед уготованным для них коварством поводырей, и выходит, что человечество, в сущности, не только не продвигалось вперед в упорядочении общественных отношений и общественного бытия, ибо за провозглашенными победами обычно следовали господство и рабство, но, как свидетельствуют события эпох, оно было прочно посажено в кровавую карусель истории, в которой со времен классового расслоения не было и нет благонаправленного поступательного движения, а есть только это кроваво-карусельное вращение вокруг стержня фараоновской державности, превратившее жизнь людских сообществ (жизнь простолюдинов) в сплошной бесконечный трагизм. Человечество не живет, нет (в том смысле, в каком мы и сегодня, теша себя иллюзиями благоденствия, воспринимаем свое бытие), а лишь, упоенное понятиями свободы, равенства, братства и надеждами на достижение всеобщей справедливости, безостановочно перемалывает себя в войнах, походах, разграблениях, порабощениях, в нескончаемых национальных и религиозных схватках, братоубийственных побоищах, экономических удушениях, тогда как святость целей, заложенная в эти схватки и разграбления и подаваемая народам в пламенных и обольстительных риториках, — святость этих целей предстает лишь величайшим обманом, на который и сегодня попадают народы, берущиеся за оружие, и все вновь возвращается на круги своя под фанфарные звуки славопений великим и невеликим тиранам, приводящим людские толпы к их иллюзорно-озвучивающимся победам.

III

Кто запустил эту кровавую карусель истории и кому выгодна ложь, возводимая в ранг истины вокруг этой кровавейшей карусели? История человеческого бытия, если прислушаться к ученым мужам (да и церковникам с их насильно навязываемыми канонами), есть мгла, куда опускаются века, чтобы, захоронив там все свои страшные истины, оставить для потребления только ту зыбкую память о них, из которой можно было бы, с одной стороны, извлекать (разумеется, на потребу обстоятельствам, обычно диктуемым или продиктовываемым интересами тронов) лишь общие контуры происходившего, а с другой — иметь полную свободу в оценках и толкованиях тех или иных конкретных событий, придавая им совсем не то значение, какое накладывали они на ход истории, тех или иных конкретных поводырствующих личностей или поводырствующих народов, мертвой хваткой насаждавших, как это со всей очевидностью предстает теперь, среди людских сообществ свою «великую» (хищническую — от древнеегипетского первородства) цивилизацию, — да, да и еще раз да, история человеческого бытия, если прислушаться к ученым мужам (да и церковникам с их насильно навязываемыми канонами) есть полная и кромешная мгла, куда опускаются века, или, образно выражаясь, кусок пластилина в руках поднаторевших за тысячелетия в фальсификационном мастерстве умельцев, из которого можно, не опасаясь разоблачений, по крайней мере со стороны удерживаемых в невежестве простолюдинских масс, вылепить все, что возводило и продолжает возводить в идеал систему господства и рабства и ввергать массы своим подслащенным обманом в преступное и неостановимое ротозейство. Конечно, в официальных источниках мы не найдем такого утверждения, ибо ни Церковь, ни ученые мужи, давно и прочно занявшие свою нишу в ряду искажителей и фальсификаторов истории, не заражены саморазоблачительством, но я ведь не столько призываю к осуждению того, что уже сделано иерархами от знаний, живет и удерживает нас в застagnированной системе господства и рабства, то есть не столько к осуждению подаваемого из века в век пластилинового правдоподобия, извлекаемого из тьмы ушедших да и текущих эпох в некоем подобии правды, сколько к тем реалистическим оценкам, которые продиктовывались и могут продиктовываться действительным ходом нашего исторического развития. В конце концов ес-

ли подойти реально к обсуждаемому вопросу, то окажется, что далеко не все, что интересует нас в нашем историческом процессе развития, бесследно похоронено во мраке пращурных (их называют еще доисторическими) веков; люди в той или иной мере всегда оставляли следы своей деятельности (свидетельством классового расслоения, к примеру, как нельзя лучше является состояние всей нашей нынешней политической, экономической и духовной жизни), в том числе и констатированные в летописных сводах, исторических повествованиях, философских и теологических трудах, из которых всегда можно извлечь путем очищения от искажений и фальсификаций реалистическую или, во всяком случае, близкую к реалистической основу (или подоплеку) совершавшихся событий, так что, обобщенно говоря, исторический процесс человеческого развития пребывает настолько во мгле, насколько все мы, наштапованные за века святоцерковными и святонаучными истинами, привыкли воспринимать его; именно потому историческая тьма нам давно уже кажется ясностью, а историческая ясность, возводимая в ранг ереси, страшит и отталкивает именно откровенной прямоотой и ясностью, и мы, вооруженные до зубов, как говорится, понятиями из азбучного словаря фараоновского обмана, который, кстати, ежеэпохально пополняется в соответствии с возрастающими потребностями тронов в угнетении масс, если и приходим к пониманию лжи, в какой жили, живем, и кем и для чего навязывалась нам эта ложь, то лишь на краю могилы, когда ничего уже исправить нельзя и когда остается только смириться с той страшной (простолюдинской) неизбежностью, наступающей, впрочем, все с большей и большей жестокостью каждое новое поколение пребывающих в рабстве личностей и народов. Если бы мы, отбросив предвзятость, взглянули на наше историческое прошлое (да и текущую действительность), то без труда могли бы заметить, что никаких ни царских, ни простолудинских побед над злом не было и нет, поскольку зло как торжествовало, так и продолжает торжествовать на Земле, и что из этой первой исторической ясности следует неопровержимый вывод, что борьба народа и власти ни с какой стороны не втискивается ни в церковно-канонный, ни в научно-канонный догмат о противостоянии добра и зла; власти, именующие себя добром, то есть той богоизбранной силой, которой предназначено, да, именно предназначено, нести свет и наставлять простолудинские массы на разумную (опять же в согласии со своей дворцовой стратегией) деятельность, и в то же время воспринимающие эти опекаемые ими массы как зло, вносящее беспокойство в их безоблачное царское бытие,— власти, хотя и борются с этим злом, но отнюдь не для того, чтобы одержать полную и необратимую победу над ним. Их ничто так не устраивает, как неясность, подвешенность состояния (с перевесом, разумеется, на их сторону), и в поисках механизма, с помощью которого можно было бы на века застегнуть сие дающее им или, вернее, позволяющее право верховодить массами, перемежая мир с войнами, войны с миром (в конце концов ведь всегда можно найти объект зла, чтобы отвести от себя подозрение, всегда можно оболгать соседний народ или народы, объявить их врагом рода человеческого и натравить на них воинствующие толпы),— да, в поисках такого стагнирующего механизма, с помощью которого как раз и было застегнуто длящееся из столетия в столетие противоборство народа и власти (приравненное к противоборству добра и зла, хотя суть этой нескончаемой схватки состоит в другом), властители не столько обратились к силе всепокоряющего меча, сколько ко всепокоряющей силе слова, к духовному — через паутину фальсифицирующих жизнь идеологических, религиозных и философских учений, дезориентировавших и продолжающих дезориентировать массы в познании исторического и текущего бытия,— насилию и порабощению народов, повязав их системой неких божественных, с одной стороны, и природных, то есть научно будто бы обоснованных, предназначений, которые затем, возведенные в ранг аксиоматических догм, тихо, незаметно вроде бы названных третьей властью, мертвой

хваткой (из-под тронов, словно из подворотни) зажали человечество и не отпускают и не собираются отпускать его. Церковь и ученые мужи с их супер-академическим статусом формально считаются отделенными от государства, то есть от власти, а еще вернее, от услужения ей; они вроде бы независимо возникли и независимо действуют на пространстве веков, соглашаясь лишь с интересами правды, которую сами же отыскивают и утверждают, и если, не углубляясь в подробности их видимой независимости, посмотреть на «эпохальную» деятельность сих раковых наростов на общем теле человечества, то бытующее в народах мнение о религиях как об оплоте простолюднских масс и об ученых мужах как о подвижнических глашатаях истин покажется и естественным, и неоспоримым. В подтверждение своих независимых (не будем забывать: словно бы независимых) действий церковники и ученые мужи обычно ссылаются на то, что в противостоянии народа и власти всегда придерживались, как, впрочем, придерживаются и теперь нейтральных позиций, и позиции эти давали и дают им право равно будто бы оценивать как деяния народа, народов, которые в борьбе с властителями часто выходят за рамки цивилизованных отношений, иными словами, устраивают дворцовый и околдворцовый террор (достаточно вспомнить французскую, робеспьеровскую гильотину или нашу большевистскую, ленинскую ЧК), так и деятельность властителей, тоже в своем геноциде против народов склонных забывать о своей роли богоизбранников; короче говоря, в определенных случаях, то есть в зависимости от своего вроде бы (но с непременной оглядкой на троны) разума они готовы вознести то народ, народы на пьедестал добра, что обычно начинается бурной и заканчивается скоротечной риторикой, то поводырствующие личности, чтобы придать им иконостасно-пьедестальную значимость, и при этом-то весьма и весьма сомнительном равенстве (пожалуй, только откровенный слепец не сможет разобраться, в чем тут дело) они не устают выставлять себя прямыми и верными защитниками простолюднских масс. Этот их оправдательный довод, кажущийся нам простым, ясным и убедительным, базируется и в самом деле на вполне будто бы очевидных исторических фактах, из которых следует, что если бы иерархи от Церкви и от наук позволили себе решительно занять чью-либо сторону в противоборстве народа и власти, то одна из сторон непременно одержала бы верх, и торжество народа, народов или властителей неизбежно обернулось бы полным и необратимым застоем жизни (ведь без борьбы нет движения, а без движения замораживается сама суть человеческого бытия); разумеется, ни церковники, ни ученые мужи не глаголят откровенно об этом своем главном подвижничестве, но весь их статус независимых, нейтральных посредников держится именно на этом фундаментальном постулате, который, впрочем, не оспаривается лишь потому, что принадлежит к числу хотя и не оглашенных, но железных, как мы бы охарактеризовали их теперь (в смысле естественных), закономерностей. Однако если обратиться к реальному ходу исторических событий и предположить, что, кроме объявленного вечным двигателем противоборства добра и зла, есть и другие механизмы, обеспечивающие движение жизни, основанные не на рукотворных, а на действительно естественных закономерностях, которые были в свое время опорочены (классовое расслоение) и выброшены на задворки истории, то перед нами откроется совсем иная картина действий, предельно наполненная драматизмом для народов и торжеством для дворцов; народам нужна победа, они стремятся к ней, ностальгически осозная, что она не только не обернется для них неким предрекаемым «застоем жизни», но способна действительно привести ко всеобщему («славные Гипербореи») благоденствию, но «подвижничество» церковно-научных иерархов как раз и не позволяет им достичь желаемого успеха, и, думаю, едва ли можно тут говорить о каком-либо иерархическом нейтралитете; властителям же ни с какой стороны не нужен успех (с чего бы им уничтожить свою столь благодатную во всех отношениях хлебную ниву?), и тут вольно или невольно ученые мужи и церковники

со своей стагнирующей жизнью догматической теорией, мало сказать, становятся на сторону коронованных особ, но, по существу, выполняют (холопски выполняют) рассчитанный на бессмертие в веках заказ тронов. Пугая человечество «застоем жизни», как если бы оно и в самом деле прогрессировало со времен фараонов в налаживании общественных отношений и устройстве общественного бытия, они, то есть церковники и ученые мужи, в сущности, замораживали древнеегипетский вариант господства и рабства, торжествующий ныне под благозвучным названием «цивилизация» и дающий возможность дворцам и храмам нескончаемо набирать могущество, чтобы править миром, и не позволяющий простолюдинам ни при каких обстоятельствах оправиться от нищеты и подняться с колен; условность понятий добра и зла, открывающая возможность обращать кровавейшие деяния, спровоцированные стремлением властителей к мировому господству, в справедливые будто бы войны народов за свои человеческие права, а истинную борьбу их с тиранством возводить в ранг беззакония и противоправства (черное называть белым, а белое черным), — условность эта (в то время как противоборство народа и власти есть смертельная схватка угнетенных с угнетателями и носит самый что ни на есть политический и социальный, а не абстрактно-теоретический, уложенный в рамки добра и зла характер), с помощью которой любое историческое событие можно одновременно представить и как стремление к добру, и как злонамеренное, преступное деяние против человечности (к примеру, ведь чем-то оправдывались же костры инквизиции, представлявшие собой не иначе, как геноцид против народного, в данном случае европейского, здравого смысла, походы крестоносцев, направляемые и благословляемые ватиканскими церковными иерархами, или упоминавшийся уже здесь молох гильотин, ГУЛАГов, духовных и экономических удушений, приводимый и сегодня в действие, но только уже другими поводырящими личностями и кланами личностей), — да, условность эта как раз и является той привносимой теоретиками от церквей и наук пластилиновой основой, которая, во-первых, дает, о чем уже говорилось выше, каждому новому правителю вылепливать свой, устраивающий его макет исторического и текущего процессов жизни и, во-вторых (и что следует, очевидно, считать самым важным), позволяет удерживать состояние общественных отношений и общественного бытия в рамках их изначальной фараоновской заданности.

IV

Человек действует от слова, от восприятия и внушения (что, впрочем, в равной степени можно распространить и на народ, народы), и это врожденное ли, выработанное ли в процессе эволюционного развития свойство, позволившее пращурным нашим предшественникам сообразоваться в общество (ведь еще Аристотель заметил, что человек есть «существо общественное») и не претерпевшее, как свидетельствует история, даже под прессом хищнического мироустройства никаких изменений (разве мы сегодня не столь же доверчивы к властителям, как и наши исторические и доисторические предки к своим родовым и племенным вождям и шаманам?), — да, это-то врожденное или скорее эволюционно выработанное свойство, позволившее нам приобщиться к общественному бытию, как раз и оказалось той уязвимой «пятой» простолюдинских масс, обнаружив которую (на заре фараоновской державности) иерархи от исторических, философских, теологических знаний, к тому времени уже достаточно повязанные трондохлопотом, без каких-либо, думаю, колебаний начали использовать в прямых интересах коронованных особ. В основу своих так называемых научных и религиозных изысканий они положили не процесс развития людских обществ, не закономерности в устройстве общественных отношений и общественного бытия, а силу воздействия слова, то есть силу окрашенной в правдоподобие лжи, чтобы определенным образом направлять и стагнировать возможности к социальным и духовным (нравственным) проявлениям масс, и, надо

признать, настолько за века сумели преуспеть в этом своем порочном мастерстве, что выстроенная ими концепция мироустройства (мироздания, если в расширенном масштабе) во всех своих ответвлениях скорее представляет смирительную рубашку для простолюдинов, чем некую стройную, проливающую свет на ход исторического развития теорию. У человечества есть своего рода водораздел, то есть черта, названная классовым расслоением, от которого процесс развития людских сообществ резко меняет направление и с тропы естественных закономерностей ступает на тропу рукотворных, помеченных хищнической агрессивностью законов, и, чтобы примирить с ними простолюдинское большинство, на арену действий как раз и явились со своими «растолковывающими истину» постулатами поводырствующие отцы просвещения. Деятельность их, несмотря на грандиозную значимость (в конце концов не силой меча, а силой слова простолюдины удерживались и продолжают удерживаться в беспробудном рабстве), остается и сегодня за пределами исторического внимания, тогда как, я убежден, теоретические разработки отцов просвещения по укреплению могущества тронов заслуживают куда более глубокого изучения, чем периоды «царств и царствований», ибо мы сталкиваемся здесь не с чем иным, как со смирительной рубашкой, сотканной из лжепостулатов для подавления и усмирения простолюдинских масс, которая оказалась настолько нетленной, что и в наше проспешенное время продолжает душающей петлей держать нас в невежестве относительно реальных (с момента вступления на тропу рукотворных закономерностей) целей нашего исторического и текущего бытия. Разумеется, процесс становления хищнического мироустройства, то есть укоренения господства и рабства, как итоговой системы жизни людских сообществ, не был простым, быстрым и легким, каким в обобщенном, спрессованном до скелетных основ виде он может представать сегодня перед нами (естественно, после воспринятых нами тысячелетних целенаправленных внушений); у этого процесса, как и у всего, что составляет наше личное, семейное, общественное, государственное бытие, есть и своя предыстория, и межа, или черта (классовое расслоение), от которой куда правомерней было бы человечеству вести отсчет столетий и тысячелетий, чем от Рождества Христова, то есть от события, ни с какой стороны не повлиявшего (в отличие от классового расслоения) на укорененную уже к тому времени фараонами Египта систему хищнического мироустройства, и чтобы до конца выяснить суть не вытравимых в простолюдинах миролюбия, добронравия, доверчивости, эволюционно выработанных для общественной совместности и обернувшихся затем уязвимой (для них же) «пятой», и установить, и понять агрессивную суть властителей, от эпохи к эпохе подновляющих обретенную ими смирительную рубашку для удержания в повиновении закабаленных масс, думаю, излишне будет еще раз и уже с большей основательностью вернуться к тем доисторическим временам, когда в самобытную, идиллическую жизнь людских сообществ, как некое инородное метеоритное тело, стремительным всеразрушающим вихрем вклинилась фараоновская система господства и рабства, стержнеобозначившаяся властью, и переложила наше бытие с орбиты естественного (эволюционного) развития в русло рукотворных закономерностей со всеми вытекающими из произвола поводырского разума необратимыми последствиями насилия, войн, разрушений и разорений. Народ (людские массы, простолюдины) и после этого вихревого вторжения не смог вытравить из себя тех врожденных или скорее обретенных эволюционным путем проявлений миролюбия, добронравия, доверчивости, без которых невозможно было бы его приобщение к общественной жизни; он остался верен своим естественным, вернее, ставшим естественными инстинктам самосохранения, и вся борьба его против тиранства определилась, как определяется и теперь, именно этой естественной закономерностью, которая, сделавшись теперь предметом насмешек и унижений (мерой отсталости, тугодумства, недоразвитости, второразрядности и третьеразрядности в исторической оценке не приемлющих хищническое мироустройство людских сообществ), остается, в сущности, тем единственно обнадеживаю-

щим человечество «светом в конце туннеля», тем реальным ориентиром, двинувшись к которому мы еще могли бы предотвратить сгустившуюся над нами угрозу небытия. Но история, «подвижнически» сочиненная в веках и преподнесенная учеными мужами и церковниками для общественного потребления, не только не поднимает, повторяю, этот насущный вопрос жизни (хотя бы для того, чтобы возбудить к нему интерес общественности), но старательно, усердиями именно своих иконостасно-пьедестальных умников обходит его стороной, словно такового никогда не существовало и не существует, и оттого ностальгически заряженные на идиллическую жизнь нации и народы, мировосприятием и миротолкованием которых человечество должно было бы гордиться и возводить в образец как непреходящую ценность, пребывают в загоне, их третируют, разоряют, обездоливают, превращают в рабов на собственных землях, тогда как хищничество, нарядившись в одежды, да, в буквальном смысле слова нарядившись в одежды миролюбия, добронравия и доверчивости, скопированные с этих наций и народов (волки в овечьих шкурах),— хищничество уже более ста восьмидесяти веков, считая от фараоновских пирамид, правит бал за стенами своих крепостей, кремлей, замков, дворцов, храмов, упиваясь неизбежностью созданной им системы господства и рабства. Простой люд, отсеченный от самобытных корней жизни теориями иерархических троноприслужников, оказался словно бы в одночасье в некоем историческом вакууме, когда все, отобранное у него силой меча (главным образом право на свободное развитие) и опороченное и раздавленное словом, то есть внушениями церковников и ученых мужей, продолжало еще жить в нем, как обычно живет во всем сущем, несмотря ни на какие природные или рукотворные катаклизмы, и привнесенное хищничеством, неприемлемое, но тысячелетиями навязываемое в виде научных и божественных предначертаний, разъедающим душу и тело тленом проникало в сознание и закреплялось там чадающей головешкой (вроде бы не горит, но и не затухает, а только наполняет разум смогом недоумения и растерянности),— да, когда два этих информационных потока, я бы так охарактеризовал их, столкнувшись и противоборствуя, рушат и растаптывают изначально целостное восприятие естественных основ человеческого бытия, народ, народы словно бы опускаются в вакуум целей, то есть впадают в то состояние метаний, выливающих в конце концов в сизифов труд, в каком и сегодня, оболганные, осмеянные, униженные, не умеющие сориентироваться ни на исторической площадке веков, ни даже на площадке текущей жизни, смиренно тянут кабальную лямку нищеты и бесправия. В итоге если одновременно взглянуть на прошлые и текущие столетия и тысячелетия, то простолюдинские массы предстанут перед нами не только обездоленными, загнанными в беспросветное рабство силой поводырского меча, но и дезориентированными и обезволенными канонными постулатами церковников и ученых мужей, продолжающих и в наше время ткать все ту же для народов смирительную рубаху из подслащенных идеалов равенства, братства, миражного благоденствия, которые ввиду явной лживости и бесконкретности, то есть оторванности от действительных (естественных) идеалов жизни, ностальгически терзающих простолюдинские души, всегда оказывались недостижимыми и работали и работают на процветание дворцов и храмов.

V

Думаю, нельзя не признать странным (и это по меньшей мере), что свобода, равенство, братство, как, впрочем, и миролюбие, добронравие, доверчивость, должные вроде бы составлять естественную основу человеческого бытия, да и составлявшие в эпоху «славных Гипербореев», сегодня подаются народам в виде неких научно и божественно будто бы предначертанных истин, которые предлагается познавать, за которые якобы нужно бороться, как за некие неоценимые и неведомые прежде человечеству ценности. Но ведь совершенно очевидно (ибо факты есть факты, и ни росчерком пера, ни волевым решением тронов их нельзя ни отменить, ни изъять из нашего исторического прошлого), что, прежде чем навязывать

простолюдинскому большинству эти известные ему постулаты, нужно было сперва отнять их у него, опорочить, растоптать сапогами хищничества, предать забвению, и процесс экспроприации, я позволю себе так выразиться, длившийся не одно, не два и не три тысячелетия на арене исторического развития и обративший власть в могущественную силовую структуру, а простолюдинское большинство в нищих, бесправных и безгласных рабов,— процесс этот, явно носивший социальный, то есть политический, экономический, нравственный, характер и переведенный иконостасно-пьедестальными иерархами в безликое противостояние добра и зла, в котором и властители, и народы получили равные права именоваться и вершителями добрых, и вершителями злонамеренных дел,— процесс этот, должный вроде бы стоять в эпицентре всех исследовательских работ по выявлению роли естественных и рукотворных (от произвола поводырского разума) закономерностей в устройстве нашей частной и общественной (государственной и межгосударственной) жизни, пребывает в забвении, как некое непаханное поле по обочинам магистральной дороги, пролагаемой, впрочем, нами же в мир ложных представлений о сути и целях человеческого (и вселенского) бытия. Что это, ошибка или преднамеренность действий? Если ошибка и если она не связана с изначальной тронной (фараоновской) заданностью, то странно, почему до сих пор не открыта и не исправлена, а если связана, тогда все становится на свои места и эстафетная преемственность в мире церковного и научных толкований исторического развития народов обретает некую зловещую прозрачность не в противостоянии народа и власти, отраженное в абстрактных понятиях добра и зла, а в перманентно-целевой цепи силового и духовного порабощения масс, возведенной затем в знаковое значение некой высшей (божественной, природной) предначертанности. Поводырский разум, обретший свободу действий, безнаказанность, бесконтрольность, принялся в процессе самоутверждения творить то, на что никогда бы не смогли решиться гармоничные силы природы (и что наиболее четко было зафиксировано затем в понятии «Карфаген должен быть уничтожен»), и если у кого-то возникают сомнения в правдивости такого утверждения, дескать, история темна и в ней все неясно и неопределенно, то я посоветовал бы таким скептикам обратиться к текущей действительности, к нынешнему процветанию дворцов, храмов и беспредельной нищете простолюдинов, то есть к очевидному для всех нас явлению, которое, имея исторические корни, было характерно для всех прожитых эпох и более чем зеркально отражает ход развития человечества. Но этот-то горький итог как раз и не признается ни историками, ни философами, ни теологами; они, как это следует из их бесчисленных трудов, склонны видеть жизнь и судить о ней лишь в неких общих чертах ее развития, дескать, старому предначертано умирать, а новому укореняться и обретать значимость (хотя в разбираемом вопросе мы имеем дело с совершенно несопоставимыми величинами, когда то, что заменялось: идиллическая система бытия, основывавшаяся на миролюбии, добронравии, доверчивости, и то, чем заменялось: хищническое мироустройство, диссонансом вносившееся в эволюционный ход развития людских сообществ,— ни по каким параметрам не соприкасались ни по исходной своей заданности, ни по конечным целям), и в согласии с этой канонной формулировкой находили и находят в торжестве хищнических начал лишь некую естественную, природную предопределенность. Но что же происходило в реальной действительности? В реальной действительности, то есть на пращурном рубеже становления человечества, который во временном исчислении, возможно, намного превосходит все последующие (порубежные) столетия и тысячелетия, отмеченные укоренением фараоновской державности (перетеканием из империи в империю стержневой основы господства и рабства, о чем было уже подробно рассказано во второй книге этого повествования),— в реальной действительности происходила или, вернее, обозначилась в исходной своей несовместимости смертельная схватка двух противостоящих начал жизни, кстати, в самых жесточайших формах продолжающаяся и по сей день, а если проще, доступнее: человечество позволило втянуть себя в самую крутую по своим последствиям авантюру социального и нравственного переустройства (ведь вспышки подобного авантюризма да-

ют о себе знать и сегодня), которую, на мой взгляд, нельзя объяснить ни отмиранием старого и утверждением нового, ни тем более противоборством добра и зла; мировое сообщество (понятие, вполне приложимое и к тем временам), уже тогда испытывавшее на себе двуединое давление: с одной стороны, запуганное устрашающими карами небес (божьиими карами), а с другой — обольщаемое устрашающими посулами властителей (в конце концов нельзя же всерьез полагать, что подобный прием является лишь прерогативой нынешних правителей и что к нему не прибегали старшины родов, вожди племен, шаманы), — мировое сообщество, вступив в фазу самых драматических за всю свою историю социальных и нравственных потрясений, выводилось, да, иначе не скажешь, выводилось кланами назревших к тому времени поводырствующих особ за пределы влияния естественных закономерностей и вводилось в новоиспеченную среду рукотворных (от произвола поводырского разума) устоев общественного бытия; человечество, в сущности, с мирного, эволюционного пути развития переступало на рельсы бесконечных и неостановимых кровавых переустройств, но, оказавшись в этих новых для себя (и неприемлемых с точки зрения простолюдинского большинства) условиях жизни, в которых все продиктовывалось и продиктовывается либо силой меча, либо ложным (от дворцовых персон) словом, человечество тем не менее, внемля холопствующему хору церковных и академических иерархов, продолжает видеть во всем случившемся и происходящем некую то ли божественную, то ли просто загадочную предопределенность. Предопределено все: и власть, и система государственности, обирающая простолюдинов, и порабощающее, завершающееся уничтожением (удушением, убиением) целых народов, наций, рас, и беспредельно, начиная от времен пирамид, героизируется в историях «царств и царствований», величественно вставляется в иконостасы и возносится на пьедесталы славы и бессмертия. Однако нельзя отрицать, что у церковников и ученых мужей не было повода для подобного знакового теоретизирования; в конце концов они не могли и не могут не видеть, что успех в противостоянии народа и власти действительно всегда оказывался на стороне правителей, и именно для того, чтобы не вдаваться в разоблачительные для тронов исторические (пусть даже пращурно-исторические) подробности, толкователи человеческого бытия, призванные холопски обслуживать коронованных особ, схватились за эту вполне правдоподобную и вполне реалистическую будто бы трактовку. Говоря о предопределенности успеха одной из сторон в противостоянии старого и нового (несколько смешно, конечно, что миролюбивые традиции, миролюбивые устои жизни отнесены здесь к старому и отмирающему, а хищничество, возросшее на системе господства и рабства, — к новому, нарождающемуся, прогрессивному), иерархи от знаний не утверждают, нет, а только дают понять, что всего лишь зафиксировали то, что представлялось и представляется им незыблемой природной (да и божественной) закономерностью, неподвластной в своих проявлениях ни человеческой воле, ни человеческому разуму; по крайней мере такое объяснение давно и прочно укоренилось в нашем сознании, и мы не отдаем себе отчета в том, насколько эта историческая ложь, продиктованная интересами тронов, оказала и продолжает оказывать влияние на общий ход человеческого развития, служа на протяжении веков самым могущественным обоснованием творимого на Земле иконостасно-пьедестальными поводырями насилия.

VI

В этой главе я позволю себе еще раз вернуться (хотя многим это может показаться ненужным, только отягощающим текст разъяснением) к возникшим на заре человечества лжеучениям, получившим затем статус канонных представлений о мироздании, и взглянуть на прошлое и настоящее не с точки зрения общей истории, то есть не с позиций совершившегося и совершившегося в становлении общественных (от рубежа классового расслоения) отношений и общественного (на основах господства и рабства) бытия, а в плане познания той важнейшей составной общего хода развития, вписавшейся в историческую ткань жизни, которая, как и тронная власть, или, точнее, как

власть вообще, смогла за века в процессе самосовершенствования не просто обрести самостоятельное, приравненное к промыслу Божьему значение (ведь хотим мы или не хотим этого, но во всех своих и семейных, и общественных, и государственных побуждениях опираемся на одни и те же навязанные нам с древнейших времен некие церковно-научные, ставшие затем житейскими постулаты), но и получить право на бесконтрольное и безотчетное, согласованное лишь с земными венценосцами, зомбирование простолюдинских масс. Разумеется, у меня нет оснований претендовать здесь на абсолютную достоверность предлагаемой версии (впору бы и самому воскликнуть, что «страшна история, темны ее страницы...»), но да простится мне сие самовольство, на которое иду и которое, надеюсь, все же поможет приоткрыть, или, вернее, воссоздать предысторию господствующих ныне церковно-научных теорий, сведенных в некую стройную вроде бы систему знаний, с помощью которых, с одной стороны, закономерно будто бы возвеличиваются и стагнируются противоестественные человеческим устремлениям условия и условности нашего земного существования, а с другой — беспардонно и безоглядно прославляется все, что связано с кровавыми и кровавейшими (в столетиях) деяниями поводырствующих личностей и поводырствующих народов. Я понимаю, что мы вольны принимать и вольны не принимать известное высказывание, что действительная история предается забвению, а ее сочиненный вариант, дворцово обрاملенный нимбом святости, становится стержневой основой нашей веры и памяти, — да, мы вольны принимать или не принимать эту бытующую истину, которая в зависимости от тронопотребностей то словно бы выволакивается на Божий свет и подается как исчерпывающий аргумент в возникающих церковных или научных спорах, то вновь задвигается в непроглядную тьму небытия, как нечто совершенно неприемлемое в исследовательских целях ни в смысловом, ни даже терминологическом значении. Многие полагают, что подобное маятниковое восприятие истины продиктовывается обстоятельствами жизни, но если бы обстоятельства эти вытекали из действительно естественных (природных) закономерностей, то мир со всем его сущим и не сущим, живым и окаменелым, материальным и духовным, наделенным инстинктами и разумом, — мир наш, как осколок вселенского бытия, был бы совершенно иным, — неустойчивым, не знающим ни пристанища, ни цели и мечущимся в поисках истины; возможно, нечто подобное и происходит во Вселенной на пространстве миллиардов веков (одни планеты нарождаются, другие умирают и втягиваются в черные дыры, как уверяют астрономы, что скорее можно отнести к предположениям, нежели к реальной действительности), но что касается земного существования, то здесь маячным метаниям подвержены прежде всего людские души, души народов, попадающих (словно в черные дыры) в цепи кабальных притеснений (и отнюдь не под воздействием естественных, но под воздействием рукотворных закономерностей), а это уже совсем другая, новейшая, как я бы назвал ее, история с преобладанием духовного над материальным, слова, которое может быть правдивым, правдоподобным и откровенно ложным (в зависимости от нужд зомбирования), над действием, миражных посулов над реальной действительностью, и — с чего-то же начиналось, с каких-то первых теоретических глыб, которые закладывались еще пращурными духовными поводырями в основу как религиозных, так и научно будто бы подтвержденных учений, пропитавшись коими как некой господствующей (предначертанной) истиной, человечество вопреки естественной, природной заданности оказалось не просто поставленным в маятниковое восприятие жизни, то есть в состояние метаний между попеременно вспыхивающими миражными целями (что как раз и делает нас прямыми заложниками дворцово-исходной лжи), но прямо-таки вынесенным на панель выхолащивания из нас, составляющих простолюдинское большинство, ностальгически теплящихся еще остаточных представлений об идиллической, то есть действительно предначертанной эволюционным ходом развития для че-

ловчества, мирной и благоустроенной жизни. Историки и философы не одно уже столетие и тысячелетие твердят: «Классовое расслоение, классовое расслоение...» (я не упоминаю здесь о другой вековой меже — всемирном потопе и Ноевом ковчеге, ибо только реально, а не мифически зафиксированные события могут дать более или менее точное представление о пращурных истоках нашего бытия), но как только дело касается сути этого расслоения, этого социально-нравственного поворота людской жизни, в глубоких речах и писаниях иконостасно и пьедестально поводящих иерархов вдруг словно бы наступает штиль, и все за этот многотысячелетний период ломки идиллически укоренившихся общественных отношений и общественного бытия — все лишь сосредоточивается на констатации расслоения, что, дескать, да, таковое было, и что факт этот может говорить нам разве лишь о неизбежно ступенчатой смене эпох. По сути дела, за бортом внимания историков и философов остается одна из самых судьбоносно-драматических страниц истории, и столь дружное и последовательное умолчание о ней всех наших прошлых и нынешних отцов просвещения, на мой взгляд, более чем красноречиво свидетельствует о жестокости и продолжительности состоявшейся схватки идиллических и хищнических (соответственно природно обусловленных и рукотворных) начал бытия. Однако, придав исследовательскому забвению сей судьбоносно-драматический рубеж человеческой истории, иерархи от знаний, вполне представляя себе, что любое умолчание есть мера временная и что вернее всего было бы тут правдоподобное объяснение, взялись за поиски такого объяснения и в порыве своего холопствующего услужения тронам не нашли ничего лучшего, как сойти со стези реального восприятия действительности на стезю ложных (воображенных, подтасованных) представлений о ней. Насилие (классовое расслоение), совершенное над человечеством, требовало оправданий, и, чтобы теоретически обосновать глобально-поработительский террор, развязанный его поводящими вдохновителями (многопокольная плеяда князей, герцогов, царей, императоров, канцлеров, премьеров, президентов), нужно было идеологически обслуживавшим троны отцам просвещения прежде всего найти и опереться на некую очевидную и в то же время незыблемую формулу жизни, и в качестве таковой была взята формула отмирания старого и утверждения нового, которую, на мой взгляд, как раз и следует считать тем первым «философским камнем», заложенным в фундамент будущих божественных и научных теорий (лжетеорий), который, являя собой некую вроде бы стержневую правду вселенского развития, открыл затем простор для всякого рода исторических и сиюминутных манипуляций в толковании привносимых в естественный, эволюционный ход развития жестких, не свойственных природной гармонии рукотворных закономерностей. Теперь давайте посмотрим, насколько правомерным было прилагать эту аксиоматичную «формулу жизни», действенную лишь в рамках естественных закономерностей, к непредсказуемому, лишенному природной гармонии рукотворным (от произвола, еще раз повторю, поводящего разума) условиям бытия? Ведь процесс классового расслоения, каким бы мы ни представляли его и как бы ни пытались приравнять к явлениям естественного (природного, эволюционного) порядка, остается привнесенным, навязанным человечеству процессом искусственного разделения людей на имущих и неимущих, властей предрержащих и бесправных, господ и рабов, и едва ли сегодня кто-либо осмелится утверждать, что народ, народы, то есть простой люд, подвергавшийся закабалению, являя собой старую и отмирающую, вернее, должную отмереть ипостась бытия, а власти предрержащие — ипостась новой, нарождающейся (потому и сопутствовал ей успех) силы жизни. Если бы это было так, если бы закон отмирания старого и утверждения нового, нарождавшегося был бы действительно приложим к процессу классового расслоения, то старое, то есть народ, народный уклад жизни, основанный на началах миролюбия, добронравия, доверчивости (одним словом, «славные Гипербореи»),—

старое должно было бы отмереть и давно бы уже почить под могильными плитами истории, а новое, нарождавшееся, то есть хищническая система господства и рабства, получившая свое полное завершение уже ко времени первых древнеегипетских пирамид, — новое, нарождавшееся, обозначенно дворцовым и храмовым благодеянием, утвердиться на Земле некой всеохватной (под стать народному бытию) системой прогрессивного мироустройства; но то, что произошло в действительности, когда за право господства столкнулись естественное и рукотворное начала жизни, то есть, по существу, силы из двух противоположных миров, а не старое и новое в развитии одной концепции жизни, — то, что произошло в действительности, ни с какой стороны не сочетается с принятой и канонизированной на тысячелетия вперед теорией становления и развития человечества. Если к старому, отживавшему отнести народ (речь идет, не надо забывать, о периоде классового расслоения), то он не почил под могильными плитами истории, а живет, здравствует, хотя до предела обобран, унижен в своем достоинстве, закабален и бесправен и даже время от времени поднимается на борьбу за свои узурпированные права (хотя и методом сизифова труда, о чем ниже пойдет еще обстоятельный разговор), а это уже никак не втискивается в рамки канонизированной «отцами просветительства» теории отмирания старого и утверждения нового. Если же брать за основу не народ, народы, а народный (идиллический) уклад жизни, известный в истории, повторяю, как уклад жизни «славных Гипербореев» (без господства, без рабства, без раздоров, грабежей, войн, насилия и закабаления), то и этот уклад не почил смертью старца, а был только задавлен мечом и оклеветан словом — тронным, возведенным в значение божественного предначертания, но живучесть его, подпитываемая глубинными историческими корнями естественных закономерностей, оказалась настолько неистребимой, что и по сей день составляет базовую основу (я уже не говорю о ностальгической) существования простолюдного большинства.

VII

Все явления жизни связаны между собой цепью преемственности, так по крайней мере утверждают историки, философы, теологи, начиная с пращурных времен, и с этим вполне можно было бы согласиться, если бы развитие человечества, как и развитие природы, шло и подчинялось единой эволюционной заданности; но в то время как природа остается и сегодня (там, где она не затрагивается людским произволом) в рамках эпохально-установившихся отношений лада и гармонии, человечество, равно наделенное как разумом созидания, так и разумом разрушения, решительно разорвав (классовое расслоение) цепь преемственности естественных, самобытных основ бытия, вышло в одностороннем, как мы бы сказали сегодня на языке дипломатов, да, именно в одностороннем порядке из общих природных договоренностей, чтобы по своему усмотрению строить свою судьбу; теперь мы отчетливо представляем себе, насколько роковым, насколько пагубным (во всяком случае, для простолюдного большинства) было это решение, поставившее нас, в сущности, перед свершением библейского предсказания — апокалипсиса; люди, написавшие в Новом завете о неизбежности конца света, думаю, отнюдь не были ни провидцами, ни богами, они просто-напросто видели в победоносном шествии хищничества (победоносном шествии фараоновской державности, шествии системы господства и рабства) такую эпидемно-неостановимую разрушительную силу, основанную на обретении богатств, славы и власти, такую страсть к мировому господству (с Богом-отцом или Богом-сыном в прислужниках), которая, однажды поселившись в дворцовых и храмовых палатах (в душах поводырствующих особ), не уймется даже после того, как земля устелется пепелищами городов и покроется трупами людских сообществ. В сущности, сбывается не библейское предсказание, а внесенная в самобытную жизнь людей рукотворная — поводырская — заданность, и тут, полагаю, не надо обладать каким-либо особым прорицательским даром, чтобы, глядя на современный мир, мир войн, раздоров, грабежей, насилия, господства и

рабства, увидеть и понять, что происходит. Но, к сожалению, мы не приучены доверять себе, своим чувствам, мыслям, а приучены внимать царским посулам и наставлениям церковных и светских (от исторических и философских наук) иерархов, у которых всегда и на всё припасены тронноугодные канонизированные ответы — настолько, впрочем, вроде бы приближенные к истине (ложь, прикрытая правдоподобием), что человечество, оскопленное подобными теоретическими внушениями, сегодня предстает перед миром, пожалуй, еще более убаюканным неизбежностью творимого престольными кумирами беспредела, чем в свое время (время пирамид, время зарождения фараоновской системы господства и рабства) были убаюканы наши пращурные предки всеядно приложимой к любым процессам бытия (прежде всего к классовому расслоению) формулой отмирания старого, отживающего и укоренения нового, нарождающегося. Нет, нет, я снова и снова готов повторить, что апокалипсис — это не выдумка досужих церковных пастырей, решивших прославить себя в веках чудовищным предсказанием, а реальность, вычлененная из хищнических реальностей бытия, но, вместо того чтобы, обратившись к этой открывшейся нам реальности, предпринять действенные меры к реформированию всех жизненных устоев, укоренившихся в общественных отношениях и общественном бытии со времен египетских пирамид, и приостановить стремительное сползание человечества к самоубийственному концу, — вместо этих здравых мер, которые позволили бы человечеству выйти на стезю всеобщего благоденствия (несбыточная мечта, надежда, коей только и живо простолодюинское большинство), отцы просветительства, всегда жившие и продолжающие жить с оглядкой на коронованных персон, обсевших светские и церковные престолы, избрали апокалипсис жупелом запугивания, смысл которого заключается в том, чтобы, с одной стороны, выглядеть перед массами простолодюинов такими бескорыстными правдovesщателями, такими святыми наставниками, предупреждающими мир о грядущем небытии (но ведь дело не в простолодюинах, а в поводырях и тех канонизированных ими теоретических толкованиях, коими, как охранными глыбами, только еще плотнее окольцовываются дворцы и храмы), а с другой — чтобы, наводя страх приближающимся концом света (словно в этом приближении и в самом деле есть что-то естественное, неминуемое, неизбежное), принудить простой люд к еще более усердным молитвенным бдениям, дабы не было у него ни времени, ни желания реалистически взглянуть на то, что совершалось в веках и совершается сегодня с ними и вокруг них. Жизнь людей, как ни прискорбно прозвучит это, загнанных в лоно фараоновской державности, давно уже превращена владыками мира, то есть «богоизбранными» личностями, кланами личностей, народом, народами в единонаправляемый (единорежиссируемый) драматический спектакль, который вполне можно назвать шабашем безумств; шабаш этот и сегодня продолжается с тем же ускорением, с каким он переступал пороги столетий и тысячелетий, концентрируясь в позолоченных оболочках могущественных империй, и хотя нынешнее безумство в стержневой своей основе даже отдаленно вроде бы не напоминает процесс классового расслоения (финишная стадия, разумеется, должна же хоть чем-то отличаться от начальной), но мы и к этой стадии умудряемся прикладывать найденную теоретиками на заре человечества всеохватную формулу отмирания старого, отживающего и укоренения нового, нарождающегося, не желая замечать, что к старому и отживающему относится жизнь, а к новому, нарождающемуся, — разрушение и смерть, то есть апокалипсис, как предрекает библейское пророчество. Откуда у нас эта слепота? Стоит ли за слепотой человечества некая естественная заданность, на что продолжают намекать иконостасно-пьедестальные иерархи от наук и Церкви, или все упирается в те рукотворные традиции, навязывавшиеся опять же учеными мужами и церковниками, за которыми при желании легко можно разглядеть тронноугодный запрограммированный догматизм? В этом не так уж и трудно определиться, хотя, повторяю, никому из иерархов от знаний словно бы и в голову не приходило заняться этим важнейшим явлением жизни, и, чтобы хоть как-то заполнить образовавшийся пробел, позволю себе еще раз вернуться к самым глубинным истокам хищнического мироустройства — к периоду классового расслоения. Перешагнув этот роковой для себя

рубеж, человечество, как уже говорилось выше, перешло из стадии естественного развития в стадию развития, диктуемого произволом поводырского разума, когда истоком общественных процессов стали уже не изначально-заданные эволюционные закономерности, а совсем иные, вытекавшие из нужд новоиспеченной системы господства и рабства, нужд дворцового и храмового процветания, но духовные наставники и просветители, действовавшие от кумиров-поводырей и выставяющиеся ныне в ряду мудрейших представителей наций и народов, — наставники и просветители эти, олицетворявшие собой величие, мудрость и святость, пальцем не пошевелили, чтобы в оценках исторического пути людских сообществ исходить уже не из прежних (естественных, эволюционных) закономерностей, согласно которым все творимое престольными иерархами объяснялось просто и ясно (в конце концов ведь ни с Богом, ни с природой не поспоришь), а из новых, рукотворных реальностей жизни. Из предсказуемой и естественной жизнь превратилась в непредсказуемую и неестественную (по крайней мере для поработанного простолюдинского большинства), природная заданность уже ничем не верховодила, а все творилось по воле царствующих особ, царских притязаний, и, чтобы облагородить, оправдать и узаконить царские притязания в глазах простолюдинских масс, отцы просветительства как раз и пришли к выводу, что нет ничего лучшего, чем подвести под деяния коронованных особ подоплеку естественности; ведь сегодня каждый знает, что вся кровавая история человечества, начиная от классового расслоения, вершилась иконостасно-пьедалельными поводырями, но в героизированном варианте, в каком она подавалась и подается на просветительский стол жизни, она предстает перед нами как естественное, да, именно как естественное течение жизни, и феномен такого исторического перевертыша (исторического оборотня), в сущности, не только не несет в себе никакой загадочности, но до гениальности прост, открыт и доступен (кто бы и что бы ни говорил об этом) всему изрядно, впрочем, запутавшемуся в сетях дворцовых догм и лжеучений человечеству.

VIII

Историки, философы, теологи убеждены, что, положив в основу своих научных толкований закон отмирания старого и утверждения нового, нарождающегося, подсмотренный ими в действительно естественном течении жизни, они вроде бы дают самое реальное представление о процессах развития человеческого и природного бытия; возможно, я не был бы в отношении их убеждений столь категоричным, если бы они сами, начиная с пращурных времен, стойчески не придерживались избранной ими формулы, что жизнь есть движение от старого к новому (от дикости, варварства к прогрессу и процветанию, если в нынешней интерпретации), что все подчинено именно этому закону (ведь с природой вроде бы не поспоришь) и что если что-то в человеческом бытии и подлежит осуждению и исправлению, то только то, что противоречит общему естественному (хотя оно давно уже стало рукотворным) течению жизни, то есть является собой попытку выйти за рамки установившегося (то ли от Бога, то ли от природы) миропорядка, — да и еще раз да, историки, философы, теологи настолько убеждены в правоте своих теоретических выкладок, что через завесу этого глобально сотканного ими лжеучения, подменившего реальное восприятие действительности ее миражным эталоном, не могут (или не хотят, что, возможно, ближе к истине) разглядеть, что в историческом развитии человечества с тех пор, как оно перешло на стезю рукотворных закономерностей, происходят совсем иные процессы, чем отмирание старого и укоренение нового, вернее, чем тот логический самообман, каким мы привыкли довольствоваться, полагая, что соприкасаемся с истиной; в системе рукотворных закономерностей не предусмотрено ни старого, что должно отмирать, ни нового, что должно укореняться, и формула «жизнь — движение» давно обрела новое толкование, в котором смысл происходящего заключен не в противоборстве неких полюсных сил, а в степени поработания простолюдинских масс на историческом пространстве веков (что и преподносится как живое движение жизни) и в жестком стагнарова-

нии тронно-определенных (господство и рабство) устоев общественной и государственной жизни. Мы ищем в работах историков, философов, теологов истину бытия, чтобы, опираясь на нее, выстраивать общественное благополучие, тогда как вместо истины нам преподносят давно устаревшая (и скорее логическая, чем реальная) система некогда господствовавших эволюционных закономерностей, которые в практической жизни людских сообществ (прежде всего в практической деятельности поводырствующих особ) уже стали ничем в сравнении с диктатом властителей; традиция эта, если, конечно, ее можно назвать таковой, идет из глубины веков и, являясь и сегодня фактом действительности, прямо говорит нам, что у нас нет ни исторической, ни философской, ни теологической наук в том понимании, в каком они должны были бы существовать и освещать исторический процесс развития (ведь только реальное восприятие действительности позволяет правильно ориентироваться в насущном мире вещей и событий и соответственно реагировать на них), а есть только посреднические, я подчеркиваю, посреднические учения, призванные поставить знак равенства между тем, что на самом деле творилось и творится с человечеством на пространстве столетий и тысячелетий, и тронным заказом на интерпретацию этих творившихся и творимых престольными поводырями насилий над закабаленными массами, так что чему удивляться, если сегодня все мы пребываем в историческом невежестве и социальном тупике, запрограммированные не на восприятие реальной, а на восприятие миражной, то есть тронно-исходной, ложной действительности, и, главное, ни на ком вроде бы нет вины за это перманентно сопровождающее нас явление — ни на коронованных особах, ходивших с мечом на поработение народов, ни на дворцово-храмовых теоретиках, словесно определявших атмосферу политической, экономической, нравственной жизни людских сообществ. Разумеется, во всяком историческом деянии, особенно если оно носит рукотворный характер, должен быть хоть какой-то большой или малый, но непременно исторический смысл; спрашивается: а какой смысл закладывался нашими пращурными мудрецами в их заведомо ложные учения, которые, кроме путаницы в познании мира, ничего не могли дать простолюдинскому большинству? В конце концов нельзя же деятельность пращурных иерархов сводить только к холопскому прислуживанию тронам, к какому принуждали их обстоятельства жизни (тут, видимо, не обошлось без силового давления и устрашения); классовое расслоение дало толчок новому мироустройству, и в рамках этого мироустройства, как и во всем рукотворном, чем оно характеризовалось, шло не всегда, может быть, заметное, но четкое (между тремя претендентами: человечеством, властителями, простолюдинами) распределение благ жизни, и в это то обозначенный тремя единицами распределительный процесс как раз и включилась, претендуя по меньшей мере на равенство с властителями (что, впрочем, достаточно убедительно подтверждено ходом исторического развития), сила так называемых словозомбистов — культовых, а позднее религиозных и светских научных деятелей, — которая, заполнив пустующую нишу посреднических зомби-услуг, тут же усердно занялась своим религиозно-научным или научно-религиозным плутовством. Что получило человечество в результате этого религиозно-научного или научно-религиозного плутовства — века́ блужданий и, как следствие этих блужданий, выход к тупику (напоминаю, что я имею в виду прежде всего систему сложившихся общественных — на основе господства и рабства — отношений и устройство общественного бытия)? Что получила власть, зарождавшаяся как некая центрирующая и организующая жизнь поводырская сила — простор для бесконтрольного и беспредельного насилия и поработения масс, для своего дворцового благоденствия и бессмертия? Что получили простолюдины — нищету, бесправие, нескончаемое рабство? И, наконец, чего добились иерархи от просветительства своим посредническим (холопским) вторжением в распределительный процесс тогда еще только начавшего утверждаться нового (на основах хищничества, основах господства и рабства) миропорядка — права на мудрость, славу, царский стол или, вернее, вечное царское кормле-

ние, права на историческую значимость или, иными словами, права на почетные места в иконостасно-пьедестальной табели о рангах? Мир живет в ужасающей несправедливости, в ужасающей дисгармонии действующих на исторической арене сил, и, думаю, нелепо было бы предполагать, чтобы это состояние общественной жизни было настолько скрыто от людей (нищета всегда оставалась нищетой, а рабство рабством), чтобы они могли не замечать и не понимать, что творилось с ними и вокруг них; но запущенная в тысячелетиях стагнационная машина действий, устраивавшая сильных мира сего и прикормленную в их передних иерархическую элиту, — стагнационная машина действий с каждой эпохой только набирала обороты, так что человечество (прежде всего простолюдинское большинство), если представить образно, давно уже не может разогнуться под тяжестью наваленных на него теоретических изысканий, обращенных в догматы Церкви и научные постулаты; мы даже вроде бы и не замечаем никакой дисгармонии, а, напротив, убеждены (по эпохальным внушениям лжеистин), что в мире нет другой такой социальной системы, которая столь же активно способствовала бы развитию технического прогресса (будто в альтернативных хищничеству социальных условиях бытия человечество пребывало бы в невежестве и застое), а что касается бесконечных войн, насилий, разорений и притеснений со стороны властителей, то тут — что ж, действия эти сопровождали простолюдинов всегда, как некая естественная будто бы принадлежность к дару жизни, некая природно-заданная величина, пробуждающаяся и дающая о себе знать в тиранствующих личностях и тиранствующих народах. Мы, в сущности, живем этим обманом, примиряющим нас с нашей противоестественной во всех проявлениях, но провозглашаемой естественной (устами церковных и светских иерархов) действительностью, призванной одним обеспечивать достаток и барство, другим — существование в рабстве и нищете, и не отдаем себе отчета в том, что система господства и рабства, как никогда сегодня одобренная постулатами свобод и демократий, правит свой очередной победный бал, воссев поводырствующими личностями и поводырствующими народами на отобранных у простолюдинского большинства средствах жизнеобеспечения и подавая униженным и закабаленным массам со своих тронных (президентских, премьерских) высот упакованные в церковную и научную святость лжеучения о величественности пройденного человечеством (под их поводырским оком) пути, и о непревзойденной значимости ими же творимых ныне «созидательных» дел. Но если бы человечество, сбросив чары толкователей бытия, нашло в себе мужество реально посмотреть на прошлое и настоящее (хотя бы на отрезке от пирамид до небоскребов), то взору его открылась бы совсем иная картина жизни, как открывается иногда (при реставрационных работах) под наслоением красок первоначальный, полный неподдельного драматизма замысел художника, поражающий не надуманной, не сконструированной для нагнетения страстей, что иногда прямо-таки кричит с полотен и фресок религиозного толка, а реальной действительностью. Возможно, ни престольные поводыри, закладывавшие фундамент своего бессмертного владычества над простолюдинскими массами, ни пристроившиеся к ним поводыри духовного влияния на массы, эстафетно затем передавшие свой плутовской навык по цепочке входящих в господство и рабство веков, не задумывались над тем, что они закладывали в основу человеческого бытия, а просто-напросто, как делается это и сегодня властителями дворцов и храмов, старались как можно надежнее решить стоявшие перед ними проблемы возведения и укрепления тронов; им, держателям престолов, нужна была не победа над простолюдинами (в смысле их полного уничтожения), а беспредельная, равная божественной власть над ними, и они превратили свою борьбу в нескончаемое и страшное перманентное действие, всесторонне поддержанное и оправданное лжеоценками и лжетолкованиями кроваво развернувшегося исторического процесса развития, и эта, да, именно эта заложенная ими драматическая для людских сообществ основа жизни, как не представлялась им драматизмом тогда, так не представляется и теперь, что легко подтверждается тру-

дами современных отцов просвещения. В творившихся и творящихся ими деяниях отцы просвещения видят не драматизм, а естественное течение жизни, тогда как для простого люда, оказавшегося в ловушке хищнического мироустройства, процесс усиления тронной власти, процесс поголовного и, в сущности, необратимого рабства, в какое тысячелетиями вгоняли его, уже в самом начале, когда закладывались основы нового (после классового расслоения) бытия, носил драматический характер; они не столько мечом, сколько словом — Божьим или научным, равно ставившим их в подчиненное, бесправное положение, — отстранялись от борьбы с новым порядком, в которой им нужна была полная и бескомпромиссная победа, и переводились (благодаря именно внушениям церковных и светских толкователей истин) в то же перманентно-стагнационное состояние, в каком властителям было выгодно держать их, и то, что для дворцовых особ было и остается благом, для простолюдинского большинства является и сегодня нераспознанной и неоглашенной драмой. Рискну поделиться здесь еще одним своим соображением, что, возможно, властителями в свое время была совершена простейшая подковерная, как мы бы назвали ее теперь, сделка, по которой престольные поводыри получали право на рукотворный диктат миром, а толкователи исторического процесса брались (за определенную, конечно же, мзду и место в иконостасно-пьедестальном раскладе величия) придавать рукотворному диктату статус естественности, и подковерная сделка эта, закодированная в древнейших тайнописях, является и сегодня для властителей мира неизменным руководством к действию.

IX

Ни историки, ни философы, ни теологи и сегодня не отвергают некогда положенную их пращурными предшественниками в основу житнетолкования формулу отмирания старого, отживающего, и укоренения нового, нарождающегося, несмотря на то, что этот естественный закон природы, как показывают прожитые человечеством века, ни с какой стороны (в реальном бытии, где верховодил уже всем поводырский разум) не приложим к периоду рукотворного развития людских (от египетских пирамид до нью-йоркских небоскребов) сообществ; жизнь и церковные и научные толкования о ней настолько отличаются друг от друга, что если с равно-реалистическим восприятием подойти к их оценке, то окажется, что речь идет о совершенно разных мирах, в которых совпадает только то, что в них фигурирует одно и то же лицо — человечество, тогда как дело, какое оно, то есть это лицо, принуждено делать — копать могилу для братского захоронения своих социальных и духовных потребностей, должное вроде бы (при реалистическом восприятии его) остановить и отворотить их, настолько утыкано флажками созидательных начал, что могильная яма представляется уже не могильной ямой, а котлованом под фундамент грядущего всеобщего благоденствия; да, два мира: мир сомнений, страданий, духовного безволия и рабского повиновения (даже в рытье могилы для себя) и мир обманных посулов и несбыточных надежд, каким и сегодня, веря в него, живет подавляющее большинство человечества, загнанное в ярмо рабства и отрезанное от своих истинных корней жизни. И о каком отмирании старого и утверждении нового может идти здесь речь, когда нет ни старого, которое по всем эволюционным законам развития природы и человечества должно было бы отмереть, ни нового, что шло бы на смену как ступень реального продвижения к прогрессу и процветанию, а есть только людские сообщества, представляющие собой плоть жизни, и угнездившаяся на этой плоти власть в виде кровососущих тварей, считающих эту плоть основой своего жизнеобеспечения? На протяжении более ста восьмидесяти столетий безраздельно властвует на Земле система господства и рабства, пришедшая будто бы на смену самобытной идиллической жизни народов, как утверждают историки, философы, теологи, придавая этому рукотворному (классовое расслоение) расколу статус естественного течения жизни и забывая при этом объяснить, почему сей названный ими объективный закон природы

(закон эволюционного развития), столь ярко однажды проявивший себя в период классового расслоения, когда старое вроде бы заменялось новым, прогрессивным (но верят ли они сами в эту канонизированную ими аксиому?), — да, почему закон этот после классового расслоения потерял свою действительную силу и жизнь застопорилась, застагнировалась на всеохватном торжестве хищнического миропорядка? Миропорядок этот, то есть фараоновская система господства и рабства, обручно сковавшая человечество, уже более ста восьмидесяти веков угнетает и подавляет его; она давно уже, если верить канонной аксиоме иерархов от истории, философии, теологии, должна бы устареть и уступить место новой, альтернативной, которая позволила бы мировому сообществу, прежде всего простолюдинскому большинству, выбраться из политического, экономического и нравственного тупика жизни, в какой завели его «богоизбранные» поводыри и не менее «богоизбранные» толкователи поводырских деяний, но, увы, этого не случилось, жизнь в плане общественных отношений и общественного бытия топчется на месте, скованная, словно каторжанин в кандалах, системой господства и рабства, а это может означать только одно, что либо закон необъективен (хотя с этим трудно согласиться, ибо в естественных, природных условиях он и сегодня продолжает действовать, как действовал и в пращурные времена), либо действительность, к какой отцы просвещения пытаются приложить его, давно уже не та, какой продолжают считать ее, и что от естественного хода развития в ней давно уже осталось лишь наименование. Человечество, решившее жить по своему разуму (по произволу поводырского разума), в сущности, заморозило и омертвило процесс самосовершенствования, и, словесно наделив это омертвление «движением к прогрессу и процветанию», ввергло (себя же!) в научный и церковный самообман, а чтобы самообман этот не смущал прозревающие поколения, иерархи от человековедения начали в рамках «движения к прогрессу и процветанию», то есть, не отвергая канонизированную ими ложь, искать обоснования стагнационному, поскольку их невозможно было уже скрывать, процессам бытия. Великий Аристотель, например, придерживавшийся материалистического и диалектического толкования мира (впрочем, его вполне можно считать основоположником материализма и диалектики), вместе с тем окруженный стагнационными процессами бытия, не мог не видеть достаточно обнажавшихся уже в тот период противоречий между диалектическим объяснением действительности и ее стагнационной реальностью, и чтобы устранить это противоречие, разрушавшее логическую стройность так называемого «научного» подхода к познанию мира, не нашел ничего лучшего, как только признать систему господства и рабства предначертанной и необратимой; он, по сути, придал классовому расслоению, то есть насильственному переводу человечества с естественного пути развития на рукотворный, некую высшую природную заданность, аксиоматично заявив, что нет ничего естественней для людских сообществ, чем система господства и рабства, ибо каждый человек уже по своему рождению либо господин (носитель духа), либо раб (обладатель плоти), и тем самым, не поступаясь вроде бы научными принципами материалистического и диалектического толкования мира, на века вперед узаконил тронно-заданную застагнированность жизни. Другой великий диалектик — Гегель, — властвовавший умами поколений (ниже мы еще вернемся к его работам, ныне вновь начинающим обретать иконостасно-пьедестальную значимость), наткнувшись, видимо, на те же противоречия между диалектическим толкованием действительности и ее стагнационной реальностью, что и Аристотель, решил не искушать судьбу истинным научным подвижничеством и, следуя примеру великого грека, предложил свое, но уже более широкое толкование тронно-заданной застагнированности жизни, канонно заявив, что человечество поделено (тоже по некой природной заданности) на исторические и неисторические народы, то есть народы, призванные господствовать, и народы, обреченные на рабство, и опять вроде бы и диалектика соблюдена, и стагнирование обосновано. Именно эти философы, а не другие, нет, были вознесены волею коронованных особ (можно и помягче: с

согласия обитателей дворцов и храмов) на исторический пьедестал славы и значимости, и, думаю, нет нужды особенно расшифровывать здесь, за какие заслуги или, вернее, услуги (ведь в мире хищничества все продается и покупается, в том числе и, может быть, прежде всего — что откровенно прослеживается и в текущей действительности — ореол исторического величия, славы, значимости) сии «подвижники» удостоились такой неувядаемой и неисчерпаемой чести; их роль в эпохальном оглушении и духовном оскоплении народов и столь же эпохальном укреплении могущества тронов настолько велика и так, в сущности, прозрачна, что впору лишь поражаться, что она до сих пор остается вроде бы никем не обнаруженной и не осужденной (кроме тех, разумеется, кого умертвляли ядом, как Сократа, распинали на крестах, казнили на эшафотах и сжигали на кострах инквизиции), как остаются не просвеченными и не осужденными в истории два других эпохальных явления, действовавших под церковным и научным прикрытием в пользу тронно-заданной застagnированности жизни. Все главные религиозные учения (чтобы не было впечатления, будто я обращаюсь только к христианству) уже тем, что провозгласили мир, то есть все сущее в нем, и прежде всего человеческое бытие, промыслом Божиим, поставили непробиваемую стену перед самой возможностью самосовершенствования в сфере общественных отношений и устройстве общественной жизни; в учениях сказано, как проштамповано, что есть пастыри и паства, Бог и рабы Божьи, что в переводе на язык житейских понятий может означать только одно: есть фараоны и есть рабы, есть цари и есть подданные, чей удел обслуживать и ублажать царствующие персоны, и поскольку на всем этом (и светском, и церковном) лежит печать промысла Божьего, то и ни о каком отмирании старого, то есть укоренившейся системы господства и рабства, и утверждении нового, нарождающегося (ибо промысел Бога есть святость, которую никто и ни при каких обстоятельствах не может переступить), нечего и помышлять. Так что же в конце концов действительно лежит в основе исторического развития народов — стагнация тронно-выработанных (рукотворных) условий жизни или движение к «прогрессу и процветанию» по формуле отмирания старого и укрепления нового, нарождающегося, о чем неустанно твердят ученые мужи и церковные иерархи минувших и текущих столетий? И кому выгодно такое искаженное толкование исторического развития людских сообществ, когда в действительности народы испытывают одно — насилие, унижение, бесправие, нищету, рабство, а через теоретические обоснования этой жестокой, кровавой действительности им внушается, что все происходящее с ними в рамках системы господства и рабства есть не больше не меньше как некая заданная (по одним учениям — Высшим разумом, Богом, по другим — природой) естественная закономерность, обусловленная вечным противоборством добра и зла. Полагаю, что и в этой канонной формуле жизни, объясняющей (или определяющей, или поддерживающей) будто бы диалектический смысл «движения к прогрессу и процветанию», не трудно усмотреть все ту же завуалированную стагнационную модель жизни, в которой вечно господство, вечно рабство и вечна борьба между народом и властью (добром и злом в условных понятиях), не способная привести к успеху (опять же по божественной или природной заданности) ни одну из сторон.

Х

Если бы человечество знало, что живет не в условиях естественных закономерностей, а по законам, продиктованным произволом поводирыского разума, стержневой основой которых является не «движение к прогрессу и процветанию», как это столетиями и тысячелетиями зомби-внедрялось в нас, а стагнация системы господства и рабства подобно вечной и неизменной данности (то ли от природных, то ли от божественных источников), — да, если бы человечество знало эту тщательно скрываемую от него правду об историческом пути развития (как и из чего на самом деле складывались ныне столь торжествующие хищнические общественные отношения и хищническое общественное бытие), вернее, если бы не спле-

тенный иерархами от исторических, философских, теологических знаний обман в познании процессов людского бытия, кем эти процессы инициировались в реальной действительности и каким целям служили (и продолжают инициироваться и служить),— да, если бы человечество, прежде всего простолюдное большинство, знало истину о трагизме своего существования, оно давно уже могло бы принять те действительные меры, которые реально, а не на словах и в прожектах помогли бы ему избавиться от ложных устремлений. Но человечество отгорожено от этой исторической истины и ничего не знает о ней, поскольку источником познания мироустройства была и остается ложь, сотканная поколениями историков, философов, авторами «спасительных» религиозных учений, в которой они не то чтобы не хотят, но не могут (под всемирно-неусыпным поводырским оком) признаться и тем более разобраться с ней и отменить ее, но, напротив, с каждой эпохой на нее, то есть на торжествующую ложь, накладывается все новая и новая позолота утонченно-выверенных правдоподобий, и мы верим, восторженно аплодируя научным открытиям, особенно в области изготовления оружия массового истребления, даже не задумываясь о том, что именно оно становится сегодня главным инструментом в стагнировании системы господства и рабства,— да, верим, что, эстафетно переняв от фараоновского Египта ныне превозносимую до небес (хищническую по сути) цивилизацию, человечество более чем скромными шагами движется именно к «прогрессу и процветанию», тогда как на самом деле оно движется к апокалипсису, если придерживаться библейского предсказания, или к неминуемой экологической катастрофе, то есть к тому же апокалипсису, только выраженному иными словами и не с церковных, а с академических кафедр; мы не позволяем себе даже подумать, чтобы как в прошлом (начиная от классового расслоения), так и в настоящем в политической, экономической, нравственной жизни людей преобладало не движение к цели всеобщего благоденствия, а замораживание, то есть стагнирование, троннопродиктованного хищнического миропорядка со стержневой основой господства и рабства, выдаваемое за «движение к прогрессу и процветанию», как не позволяем подумать и о том, что в канонно воспринимаемой нами формуле отмирания старого и укоренения нового, нарождающегося (формуле, породившей и захватнические войны, и развалы и становления империй, и всеглобальные, да, почти всеглобальные порабощения, и народные бунты, революции, сводившиеся и сводящиеся, скажем так, чтобы не указывать лишний раз на роль тронов и тронных особ, к сизифову труду), не только нет ничего относящегося к рукотворно создаваемой действительности, что придало бы ей пусть хотя бы видимость естественного, эволюционного развития (ведь то, на чем воссоздано господство и рабство, не стареет, как уже упоминалось выше, и не умирает, а, напротив, лишь мужает и набирает могущество в стремлении к мировому господству),— да, как не позволяем себе подумать и о том, что борьба народа и власти, перенесенная (с помощью символических понятий добра и зла) в область вечного и безуспешного перетягивания каната, то есть в область мифического прогрессизма, не только не отражает того истинного значения, какое мы привыкли вкладывать в формулу «противостояние добра и зла», то есть противостояние народа и власти, но является лишь жалкой пародией или, вернее, насмешкой над усилиями добронравных и доверчивых простолюдных масс, стремящихся отстоять право на свободное, самобытное развитие. Мне не хотелось бы упрекать человечество за то, что данную ему радость бытия оно превратило в нескончаемую цепь кровавых насилий, цепь разврата, простолюдного обнищания, всеглобального духовного оскотления, унижения, рабства (а чего, собственно, мы хотим, если вверяли и продолжаем вверять свою судьбу поводырской алчности и поводырскому произволу?), но перед глазами вольно или невольно встает образ некоего ничего не производящего, кроме бед и страданий, вечного двигателя, который, имитируя свою деловую заданность, то есть то, что мы называем «движением к прогрессу и процветанию», лишь привлекает и пугает размахом своих раскрутившихся маховиков (маховиков силового, экономического, духовного подавления), обращая дар человеческой жизни в спрессованные пласты пыли и пепла, одеяльно окутавшие просторы Земли; наверное, найдутся ревнители, которым покажется неверной

подобная трактовка бытия, и в напластованиях пыли и пепла, то есть в том, что остается от прожитых (в страданиях и нищете, следует добавить) поколений, попытаются найти подтверждение канонной формуле старения, отмирания и обновления, но не спешите с выводами, господа; смена поколений — это еще не отмирание старого и утверждение нового в стержневой основе нашего рукотворного (да и любого рукотворного) бытия, ибо поколения, отстрадав свое, да, именно отстрадав, то есть так и не познав красоты и радости жизни, дарованной природой человеку, уходят в небытие, а система господства и рабства, кандално державшая их в кабале и невежестве, лишь усиливается процветанием дворцов и храмов, и это-то как раз и говорит не о движении, а о стагнированности жизни. Думаю, особо следует сказать о подставной значимости понятий добра и зла, коими подменены были суть и цель противоборства народа и власти. Народ и власть — понятия конкретные, выражающие полюсную противоположность двух начал жизни, и противостояние этих двух жизненных начал носит столь же конкретный характер, как и действительность (хищническая, надо иметь в виду), породившая и продолжающая порождать их; добро и зло — понятия относительные, дающие возможность варьировать их в оценках политических, экономических и духовных явлений, какими бы силами ни инициировались эти явления; престольными поводырями вкупе с поводырствующей дворцовой и околдворцовой элитой или потребностью народного бытия (так, для слова, ибо если что-то и делалось для удовлетворения потребностей народного бытия, то носило лишь временный, краткосрочный характер, тогда как то, что делалось для удовлетворения нужд дворцов и храмов, тут же канонизировалось в необратимую и неотменную святость царствующих и барствующих особ); в истории человечества только один из великих иконостасно-пьедестальных деятелей — Иисус Христос, — назвав власть абсолютным злом, попытался придать этому понятию (понятию зла) конкретное содержание, из чего автоматически следовало, к какой части человечества (разумеется, к простолюдинскому большинству) должно было относиться понятие «добро»; он сделал попытку вернуть символической формуле противостояния добра и зла ее изначальное смысловое значение — народа и власти, и, странно, да, именно странно, что человечество (ну, скажем, христианская его половина), получив от Спасителя такое откровение, не только не сочло нужным воспользоваться им, но, напротив, окружило его таким непробиваемым нимбом умолчания, как если бы Иисус Христос никогда не произносил этой лишь озвученной его устами истины, письменно запечатленной затем во всех четырех широко распространенных по миру (на множестве языков) евангелиях. С чем связано такое устойчиво-эпохальное действо, нетрудно догадаться, ибо для тронов и тронных особ нет большей святости, чем незыблемость их царских престолов, и в этом плане сколько бы Церковь ни твердила о своей самостоятельности, но применяемый ею столь непробиваемый молчаливый обструкционизм к откровению Христа, когда в священных книгах прочитывается лишь то, что подкрепляет и оправдывает стагнационную политику (стагнационное толкование) тронов в познании человеческого бытия, и опускается то, что служит или может служить разоблачению сути все еще продолжающей укрепляться хищнической (фараоновской) системы господства и рабства, — да, сколько бы Церковь ни твердила о своей самостоятельности, но факты истории и факты текущей действительности говорят о другом. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что пока торжествует система господства и рабства, вряд ли кому-либо будет дозволено заменить ложный «философский камень», прашурно заложенный в основу так называемого научного и церковного мировосприятия и миротолкования, его правдоисточающим (и в этом смысле опасным для тронов) оригиналом; власть, добившись, по сути дела, бессмертия для себя, обесмертила и философскую (в светском ли, в церковном ли изложении) подоплеку своего господства, и формула «отмирание старого и утверждение нового» есть не больше не меньше как стержневая опора могущества и бессмертия тронов, а последующая расшифровка этой основополагающей формулы в виде символических понятий добра и зла (ее можно было бы назвать и первой основополагающей поправкой к закону о власти), — расшифровка лишь усилила

(приумножила) возможность беспардонной фальсификации исторического процесса развития людских сообществ.

XI

Не смена системы господства и рабства, которая, как видим, застагнирована на века и является (в рукотворных своих началах) самоубийственным бичом человечества, а смена королей, царей, императоров, вождей, премьеров, президентов подается нам как естественная закономерность отмирания старого и утверждения нового, и мы снова и снова, как безголобые рыбы в воде, попадаем на крючок этого обновления, веря в смену правителей, способных, или должных, или берущихся (по велению души, Бога или обстоятельств, подвигающих их на подобный «подвиг») в корне изменить политическую, экономическую, то есть социальную и нравственную, атмосферу жизни; цари умирают, рождаются, а обновления не происходит, дворцы остаются дворцами, хижины хижинами, и суть этого вселенского обмана, когда сменяются только тираны, рознящиеся между собой лишь степенью творимых насилий над простолюдскими массами, и не меняется суть стагнационных процессов, уже более ста восьмидесяти веков удерживающих людские сообщества в системе господства и рабства, — суть этого вселенского обмана как раз и составляет тайну живучести и процветания тронов. Вот и выходит, что жизнь, вроде бы обновляясь (с восшествием на престол новых и новых поводырей), остается замороженной в самых античеловечных (антипростолудинских) проявлениях, но ни историки, ни философы, ни теологи как не хотели, так до сих пор и не хотят замечать несоответствия между реально происходившими историческими событиями и их научно-светским и церковным толкованием, а, напротив, в порыве престижемания (можно и так, если завязать глаза на их тронно-холопское подвижничество) они, словно бы отыскав в недрах своего канонизированного во лжи мировосприятия и миротолкования некую бесспорную индульгенцию на творимый коронованными особами произвол, выкладывают ее на алтарь естественных (божественных) предначертаний, и наука о человеческом бытии (включая, разумеется, и религиозные учения) «обогащается» или, вернее, подкрепляется новой формулой движения жизни — естественным будто бы и бесконечным противоборством добра и зла, когда беспардонная стагнация социальных и нравственных устоев хищничества покрывается иллюзией перемены, и обманутому человечеству ничего не остается, как только, веря и разочаровываясь в ложносозидательных началах жизни, уповать на некую мифическую силу добра, способную (несмотря на все свои тысячелетние безуспешные усилия) встать над злом и подавить его. Интересы народов и властителей никогда не могут быть соединены, их разделяет эпохальный антагонизм, застагнированный рукотворно создаваемой (поводырски создаваемой) жизнью, и когда мы воспринимаем антагонистические стороны в их реальной значимости, мы проникаем в суть вопроса (в суть противостояния интересов народа и власти) и получаем возможность, да, по крайней мере возможность прямого и плодотворного воздействия на исторический процесс бытия; обряжая эти же антагонистические стороны в мифические одежды добра и зла, мы не просто отсекаем себя от реального восприятия действительности, но вслед за эпохальными иерархами в области оценок и толкований человеческого бытия возводим — кирпич к кирпичу, кирпич к кирпичу — стену невежества, за которой (и это будет уже необратимо) ни одно поколение из простолудинского большинства уже никогда не сможет разглядеть упрятанную в дворцовых и храмовых тайниках истину жизни. То, что ясно в противостоянии народа и власти, сейчас же обретает историческую неясность, едва только переводится в разряд мифического противоборства добра и зла, ибо возникает вопрос, какую из противоборствующих сторон следует называть добром, а какую злом; в истории нет прецедента, когда бы монархи, коронуясь на престолы, объявляли своей целью творить зло, как не за-

фиксировано случаев, когда бы восставшие народы не оправдывали свои деяния добрыми намерениями, а это означает, что историки, философы, теологи, берущиеся комментировать исторические события (в том числе и самые кровопролитные — мировые войны двадцатого столетия), могут выглядеть объективными и беспристрастными и в том случае, когда принимаются прославлять монархов и полководцев (и, разумеется, ведомые ими на бесчинства народы) и когда стремятся, да, именно стремятся, чтобы не навредить возвеличиванию новых рвущихся на престолы поводырствующих особ, найти правоту в деяниях масс; в методе этом не только нет ничего научного в том понимании, в каком с пращурных времен мы привыкли воспринимать его, но с его помощью освещение исторических явлений ставится в то маятниковое положение, когда все зависит от диапазона колебаний (разумеется, в ограниченном пространстве, то есть в рамках укоренившейся системы господства и рабства) насущных потребностей тронных и околотронных особ. Ученые мужи — историки, философы, искусствоведы — констатируют в своих многочисленных (узконаправленных, я бы добавил) «научных» трудах, что в процессе развития цивилизации, то есть системы мироустройства от древнеегипетского (фараоны и рабы) первородства, человечество будто бы вдруг и будто бы странным образом отказывается от реалистического восприятия мира и вступает в так называемую эпоху символических значений, дающих вроде бы совершенно новое (и абсолютно ложное, надо бы уточнить) представление об исторической и текущей действительностях; они не датируют этот порубежный момент в развитии и становлении людских сообществ (видимо, по примеру классового расслоения, о котором известно только, что оно было в истории человечества и что от него удобно вести отсчет социальным и нравственным явлениям жизни), как не обращаются и к его истокам, удовлетворяясь лишь теми поверхностными объяснениями, которые указывают на фундаменталистские религиозные учения, в свою очередь, возникшие будто бы из религиозных потребностей масс, тогда как в действительности все происходило иначе и продиктовывалось не потребностями вышеназванных учений, всецело, впрочем, обязанных тронам своим существованием, и уж, конечно, не религиозными потребностями масс (историческая фальшивка, сочиненная для оправдания силой навязывавшихся в те времена среди народов фундаменталистских учений), а самими что ни на есть насущными потребностями тронов, которым необходимо было иметь теоретическое обоснование проводимой ими политики порабощения и угнетения, дабы, творя произвол, представлять и перед современниками, и перед историей в ореоле защитников и поборников всеобщего благоденствия. Так что человечество самостийно или стихийно ни от чего не отказывалось и ни на чем не настаивало, тем более на переориентации с реалистического на символическое восприятие и толкование мироустройства, а было поставлено тронными особами и прислуживающей им дворцовой и храмовой элитой в положение паствы (церковной и светской), должной с верой и надеждой взирать на златоглавые подворья своих повелителей, а чтобы хоть как-то упредить антагонистические проявления в народных массах, перед миром людских сообществ явилась, образно говоря, нетленная в веках скрижаль со съемными ярлыками или мандатами на право исторических деяний в рамках противоборства добра и зла; полагаю, если продолжить в том же образном представлении, поводырствующие, царствующие особы именно в силу своего поводырствующего, царствующего положения первыми ухватились (да, собственно, для них и было приготовлено все это) за мандат на право творить добро и, прикрываясь им (по крайней мере так свидетельствуют истории царств и царствований, в подражание которым сочинялись все последующие вплоть до нашего двадцатого столетия варианты всемирной истории, кои, как и «Всемирную историю четырех империй» Блаженного Августина, вполне можно именовать историями самопоглощения империями империй), — да, прикрываясь этим мандатом, то есть ослепляя им невежественные массы

простолюдинов, присваивали и продолжают присваивать любым своим деяниям (в большинстве направленным против человечности) статус великих и созидательных. Конечно, я понимаю, не все было так просто, как может представляться теперь, с отдаления веков, потребовались усилия десятков поколений правителей, заботившихся об укреплении (и долголетию) тронов, и усилия прислуживавших им светских и церковных (они тогда уже представляли собой двуединую ветвь тронхолопства) иерархов от знаний, чтобы все в мироустройстве людских сообществ сообразовалось так, как сообразовалось и почти в целостности дошло до нас; но ведь я и не задавался целью зеркально отобразить тот период развития человечества, когда реальное восприятие жизни подменялось ее символическим толкованием (прежде всего потому, что история не сохранила нам нужных свидетельств, как это было и с классовым расщеплением, и со многими другими важнейшими для установления истины судьбоносными явлениями на пространстве эпох), а попытался воссоздать лишь механизм закладывавшегося тогда всеглобального обмана, в каком затем на протяжении ста восьмидесяти веков жило и продолжает сегодня пребывать человечество, поработенное древом власти; история не объясняет, почему противостояние народа и власти надо было переводить в символическое (и перманентное к тому же) противоборство добра и зла, как и не открывает причин, почему власть (любая и во все времена), представляющая собой абсолютное зло, всегда оказывалась и перед современниками, и перед историей в роли созидателей и поборников всеобщего благоденствия, а простолюдинские массы, заряженные ностальгией по идиллическому бытию, отнятому у них, оклеветанному и преданному забвению, сколько ни бьются за свою правду (ведь народы сами по себе никогда не творили зло, и это тысячекратно подтверждено ходом исторического развития), лишь закрепляют за собой звание бунтарей («русский бунт, бессмысленный и беспощадный», как сказал поэт, забыв, видимо, что эпитеты эти вернее было бы приложить к крепостничеству, царившему в России, и крепостникам) и возмутителей спокойствия и порядка. В чем правомерность и в чем неправомерность этого явления? Ни ученые мужи, ни церковники никогда всерьез не задавались этим вопросом, ибо для них правомерно все то, что совершалось и совершается в естественном будто бы, а фактически продиктованном поводырями течения жизни; правомерны деяния царей, выступающих (во все времена) в одеждах добродетелей человечества, и неправомерны деяния народов, встающих на защиту своих жизненных интересов. И в чем же тогда заключается суть противостояния добра и зла (народа и власти), если противоборствующие стороны, начиненные (условиями хищнического бытия) социальным и нравственным антагонизмом, вдруг словно бы меняются в своих исторических ролях, и властители, творящие зло и насилие, оказываются поборниками добра и справедливости, а народы, лишившиеся и теоретически, и реально своего стержня жизни и поставленные в положение, когда им нужно доказывать свою негорбатость (думаю, смысл этого житейского выражения не надо расшифровывать), предстают лишь бунтарями, как было уже сказано выше, возмутителями спокойствия и порядка?

XII

Власть — явление изначально двуличное, ибо в самом зарождении ее нет ничего от естественных (природных, эволюционных) начал бытия, связанных (по крайней мере для человека и человечества) с понятием созидания жизни; она — явление не кроветворящее, если так можно выразиться, сообразуясь с любым живым организмом, а кровососущее, и единственной питающей основой ее можно назвать лишь людской труд или скорее результаты труда, силой, уговорами, обманом отбираемые для поддержания дворцовой жизни, и такой способ существования, равный или почти равный по беспределу и святости божественному, если бы он не прикрывался златотканой из лжи и обманных посулов ризой, то есть тронноугодным толкова-

нием творимых тронами же деяний (в обиходе толкования эти объединены в религиозный и научный догматизм), — такой способ существования, способ жизнеобеспечения, который иначе и не назовешь как вампирным, если бы он не был прикрыт златотканой из лжи и обманных посулов ризой, то мир людских сообществ (мир простолюдного большинства) жил бы совсем в иных социальных и нравственных условиях и понятие «созидание» соотносилось бы не только с пастырским (царским, поводырским) значением той или иной «богоизбранной» личности, или клана личностей, или народа, решившего правдами и неправдами (и в своих, разумеется, интересах) навязать человечеству единственно будто бы достойный с в о й образец мироустройства, но соотносилось бы с правом любого народа на самобытное (в рамках национальных возможностей и традиций) развитие. Но мир сегодня предстает как никогда застagnированным в рамках тронно-выработанных рукотворных закономерностей, и если такое утверждение кому-то покажется неправомерным, то давайте обратимся хотя бы к фактам текущей действительности и посмотрим, осталась ли хоть у какого-либо народа возможность на свободное, самобытное развитие. Нет, все мы варимся в одном котле хищнического мироустройства, основанного на фараоновской системе господства и рабства, и все то, что воспринимаем как движение жизни (движение к прогрессу и процветанию) — дворцовые перевороты, бунты, восстания, революции, — все это, однообразно повторяемое из столетия в столетие, если и можно назвать движением, то лишь по кругу, на который в свое время был безжалостно поставлен простой люд и с которого ни при каких обстоятельствах не позволят ему сойти; народы, утратившие национальную самобытность, вряд ли могут считаться народами, они превращаются в слоняющиеся по земле безродные толпы, способные разве что на рабский труд да на разрозненные разбойные деяния, вспыхивающие и угасающие, как петарды в ночном небе, а потому интернационализм, к которому так отечески призывают из дворцов и храмов, не только не способствует, но перекрывает, я бы добавил, наглухо перекрывает суть свободного развития людских сообществ и является главнейшим механизмом стагнации безродства, единообразия и хаоса, столь необходимых для воцарения тронного абсолютизма и бессмертия. В конце концов что же дает застagnированность дворцовой жизни ее высокородным обитателям и застagnированность жизни хижинной ее бесправному, нищенствующему большинству (вопрос отнюдь не риторический, ибо одно дело знать, что мир разделен на богатых и бедных, господ и рабов, и совсем другое — заглянуть в истоки и в механизм действий, позволяющий незыблемо удерживать в тысячелетиях кроваво навязанную человечеству систему хищнического мироустройства); думаю, не ошибусь, если скажу, что кто только сегодня, как, впрочем, и в далекие пращурные времена, не ругал и не поругивал власть за ее двуликость (ведь на броское слово, броское выражение простолюдины всегда были горазды, но, едва дело доходило до действий, все разом затухало, испарялось и возвращалось в привычную колею рабской обывательщины); однако, не сомневаясь в правоте своих поругиваний, люди допускали и продолжают допускать одну существенную ошибку: они адресуют свои нарекания и упреки не власти вообще, а лишь тем или иным действующим правителям, подзабывшим будто бы, для кого они существуют, и что с заменой этих неугодных царствующих персон на других, добрых и милосердных, вся наша простолюдская жизнь получит новое освещение; для простонародья подобное восприятие и толкование сущности власти вполне представляется правомерным, естественным и объяснимым, поскольку насущные потребности бытия в их жизнедеятельности превалируют над историческим осмыслением творившихся и творящихся вокруг них и с ними явлений, чего нельзя сказать об ученых мужах — историках, философах, теологах, — в чьих многочисленных трудах по исследованию бессмертного феномена власти, вошедших в государственные идеологии, невозможно найти даже намек на изначальную и затем глубоко укоренившуюся порочность власти, а если точнее, на то, что тронное зло заключено не столько в приходящих и уходящих коронованных личностях, сколько в избранном кровососущем образе жизни, в однажды обозначенных и затем застagnированных пороках, нитями сходящихся к златолитым коронам и тронам и возвра-

щающихся от них пучками ложноослепительных сияний, испускаемых на народ, народы неким грядущим всеобщим благоденствием. Создается впечатление, что суть власти, не властителей, нет, которые будто бы если и творят беспредел, то лишь в силу неких тиранских пристрастий, способностей или возможностей, а именно суть власти давно и необратимо упрятана в хранилища дворцовых тайн, и стражами у этих хранилищ бессменно, на века, на тысячелетия оказались выставленными так называемые исследователи и толкователи (осмыслители или, вернее, трonoосмыслители) всех без исключения социальных и нравственных явлений минувших и текущих эпох; теории их, отточенные и по вертикали, и по горизонтали в трonoпотребном правдоподобии, не только не позволяют людям непосвященным, то есть со стороны, из простонародья, вторгаться со своими реалистическими потребностями в мир возвышенных царских свершений (в конце концов ведь тронная подспудность так же неприкосновенно-свята, как и церковная), но и не позволяют, как показывает действительность, вторгаться и самим иерархам от знаний в охраняемую ими цитадель тайн, то есть переступать за черту, за которой может рухнуть как мифическая богопредначертанность коронованных особ (мифическая обоснованность института власти вообще), так и ореол мифического подвижничества самих духовных наставников. В таких условиях, естественно, ни властители, ни героизирующие их деяния иконостасно-пьедестальные летописцы, сумевшие так изложить историю развития человечества, что все в ней, по сути дела, оказалось перевернутым с ног на голову, не станут подпиливать сук, на котором держится их благополучие, и никогда ни перед кем не откроют своего врожденного двуличия, как способа вампирного существования, хотя способ их беспредельно прост: тиранствуя, не открываться перед народом, народами в своем тиранстве, а представлять перед ними лишь в роли великих защитников, наставников, отцов-благодетелей, рассеивая таким образом и о себе, и о своих деяниях, а главное, о предназначении власти, великую и притягательную ложь. За весь период со времен классового расслоения, времен древнеегипетских пирамид, когда окончательно сформировалась хищническая система мироустройства (фараоны и рабы, господство и рабство), история не зафиксировала ни одного случая, когда бы коронованные особы, действовавшие в рамках рукотворных закономерностей, отступились от двуличной политики в своих монарших свершениях; собственно, это была не политика, а система жизни, система их дворцового благоденствия, которая позволяла им, однотипно действуя на пространстве тысячелетий, и творить реальную историю, то есть укоренять (и путем кровавых насилий, и путем миражных посулов и религиозных устрашений) хищническое мироустройство, и продиктовывать ее «достоинства» в церковных и научных изложениях; троны и сегодня остаются застagnированными в этой своей однотипности действий, которая четко, если приглядеться к ней, проступает во всех текущих деяниях правителей, какими бы новшителями покрывалами из позлащенных и подслащенных идей ни заставлялась их ставосьмидесятивекковая врожденная двуличность. Власть есть величина постоянная, тогда как властители являются всего лишь величиной переменной, действующей в рамках единой оболочки власти, и для того, чтобы добиться перемен к лучшему в кабальной жизни простолюдинского большинства, нужно, чтобы гневные протесты масс адресовались не поводырствующим (тиранствующим) личностям, а были бы обращены против стержневой, базовой сущности власти. Что касается народа, народов, объединенных в простолюдинское большинство, то и они оказались втянутыми в однотипность действий, и если подмена реалистического противостояния народа и власти символическим противоборством добра и зла обернулась для правителей застagnированным ими дворцовым благоденствием, то для простолюдинского большинства — вечным и необратимым, как показывает история, рабством. Борьба масс за свои насущные интересы была сведена до одноразовых (похожих как две капли воды одна на другую) схваток со злом, то есть с той конкретной тиранствующей личностью, воссевшей на престоле, от которой будто бы только и исходило и зависело тиранствующее начальство, и каким бы успехом ни венчалась такая схватка, на смену сброшенному тирану приходил новый, и все возвращалось на традиционно-замкнутый круг жизни с ее дворцовым великолепием и

хижинной нищетою; для коронованных особ такая застагнированность на протяжении всех ста восьмидесяти веков была опорой их благоденствия, они обрастали роскошью и могуществом, и хотя от однотипности их деяний, которые относительно общечеловеческих надежд и устремлений тоже вполне можно было бы назвать сизифовым трудом, веяло самоубийственным застоєм, запахом разрушений, мертвечины и тлена (ведь и на церковном, и на научном уровне официально признается, что мир ускоренными темпами движется к апокалипсису), но, обуянным успехами власти, им казалось, как кажется и теперь, что и за пределами дворцов и храмов царит такое же благоденствие, в каком пребывают они, или по крайней мере должно царить, ибо для простого люда достаточно зреть состояние дворцовой жизни, чтобы, заражаясь надеждой, ощущать свою причастность к недоступным для него благам бытия. Так создавалась и создается иллюзия всеобщего благоденствия, то есть надежда и вера в то, что правители, определившись наконец в своей достаточности, повернутся лицом к народным массам и жесткая застагнированность жизни под пером толкователей человеческого бытия обретает черты движения к «прогрессу и процветанию». Но мы не осознаем этого обмана, да, беда наша именно в том, что не осознаем или не можем осознать, что в основе всех наших бед лежит как сизифов труд коронованных особ и их тронных приспешников, запрограммированных лишь на дворцовое благополучие, так и сизифов труд простолюдских масс, сориентированный (в отличие от царских обретений) лишь на необратимую нищету и бессмысленные (ради мнимых успехов) и неисчислимы жертвы.

ХIII

Есть еще одно великое или величайшее заблуждение, в которое вовлечено мировое сообщество, и заключается оно в двух равно воспринимаемых нами объяснениях существа жизни — церковном и научном; Церковь (в данном случае я вкладываю в это понятие весь спектр религиозных учений, начиная с шаманских под бубны плясок, предсказаний оракулов и кончая современными проповедями иудаизма, буддизма, христианства и мусульманства) исходит из того, что все в человеческом и природном бытии от промысла Божьего, и вольно или невольно, но скорее всего вольно создает или преподносит, что вернее, свято-оправдательную основу для укоренения стагнационных усилий (тронно-стагнационных) в ходе исторического развития людских сообществ; наука или науки — историческая, философская и примыкающие к ним литература, искусство, живопись, зодчество, то есть сфера непосредственного и ничем не прикрытого дворцового обслуживания, — положившие в основу своих теоретических изысканий закон эволюционного самосовершенствования всего сущего на Земле, то есть закон естественного течения жизни (в становлении общественных отношений и устройстве общественного бытия, к примеру, он сводится к политике тех или иных поводырствующих личностей, которые либо, не уловив господствующих тенденций развития, встают против течения и терпят фиаско в своих тронных начинаниях, либо, напротив, попав в струю, то есть поняв и приняв эти тенденции, кои со времен классового расслоения обосновались в русле укоренения фараоновской хищнической державности, возносятся на пьедесталы славы для вечного поклонения), — да, наука, науки, положившие в основу своих теоретических изысканий закон эволюционного самосовершенствования всего живого и неодушевленного на Земле, проще говоря, закон естественного течения жизни, по сути дела, вслед за Церковью, но уже с научной святостью подводят человечество к мысли о некоей высшей природной заданности, перед которой надо только смириться (смириться, главное, с системой господства и рабства как с естественной заданностью), понять ее и следовать ее закономерностям (чем, я задаю себе вопрос, не идентичная с церковной оправдательная аксиома для стагнирования жизненных процессов бытия?). Эта историческая парадоксальность, кажущаяся на первый взгляд безобидной (ну и что из того, что одна половина человечества верит в церковное, а другая в научное объяснение мироздания, или, сказать иначе, одна половина пребывает в церковных, а другая в так называемых научных заблуждениях, ведь от такого раздвоения умов ничто в мире вроде бы не рухнет, чему положено торжество-

вать согласно естественному течению жизни — торжествует, чему положено увядать — увядает),— парадоксальность эта лишь на первый взгляд кажется безобидной, тогда как она сыграла и продолжает играть самую зловещую роль в истории развития человечества. Конечно, я понимаю, что подобная категоричность, чтобы она не повисла пустым звуком, должна быть подкреплена теми или иными достоверными историческими фактами, и если кому-то покажется недостаточным ужасающее состояние текущей жизни, истоки которой уходят в глубину пращурных веков (следуя по нисходящей к тем пращурным векам, мы без труда можем обнаружить, что как в поведении властителей, самоокруженных дворцовым процветанием, так и в поведении народа, народов, бьющихся за свое хижинное выживание, ничто или почти ничто с тех времен не изменилось, что, впрочем, и дает основание полагать, что все, что с нами происходит сегодня, так или иначе — в реалистическом восприятии, разумеется,— зеркально соединено с прошлым и вытекает из него),— да, если кому-то покажется недостаточно убедительным предложенный самый наглядный пример истории — состояние современной жизни в ее сравнительном с прошлым варианте,— то давайте перейдем от общего обзора всемирной человеческой истории (обзора внесенных в нее искажений и лжи) непосредственно к становлению и развитию, с одной стороны, церковных, а с другой — научных толкований земного и вселенского бытия. Начнем с того, что ни религиозные учения, о чем уже говорилось выше, ни так называемое научное объяснение мировозникновения и мироустройства не имеют ничего общего с реальной историей, с теми естественными (на первом этапе) и рукотворными (после классового расслоения), то есть внесенными в процесс человеческого развития, закономерностями, какими определялись и продиктовывались социальные и нравственные параметры жизни; мы полагаем, что, принимаясь за изучение устоявшихся догматов Церкви, переступаем черту откровения и приобщаемся к абсолютной истине, тогда как всего лишь насыщаемся атмосферой лжи и превращаемся в стадо божьих овечек, не способных ни на какие действия без вожака стада, без пастыря, общающегося (разумеется, через молитвенные бдения) с Богом и передающего нам его аксиоматичные мудрости, среди которых главными считаются смирение, покорство и еще раз смирение, смирение и покорство,— да, нам кажется, что мы приобщаемся к истине, тогда как в действительности примираемся с институтом господства возмнивших себя «богоизбранными» личностей и институтом рабства, наложенным на простолюдное большинство, то есть с той жесточайшей реальностью насилия над волей и достоинством человеческого естества, волей и достоинством людей, объединенных в сообщество, которое (лишь от того, что оно исходит от Бога) должно восприниматься как великое испытание, открывающее нам путь к вратам вечного рая. Что здесь от действительности и что от принуждения? Что от естественности и что от рукотворной (тронной, поводырской) заданности? И на какие созидательные деяния могут подвигнуть народ, народы подобные религиозные учения? Мы точно так же полагаем, что, обращаясь к так называемым научным догмам о развитии человечества, вступаем в храм священных академических истин, тогда как на самом деле приобщаемся все к той же, известной нам по религиозным учениям, лжи, изложенной разве что с бóльшим (по отношению к реальной действительности) правдоподобием, чем делает это Церковь, но, в какой бы упаковке ложь ни подавалась, она всегда остается ложью, способной не продвигать, а лишь тормозить или, вернее, стагнировать общие процессы развития человечества в их стержневой (общественные отношения и общественное бытие), рукотворной, что особенно важно подчеркнуть здесь, заданности. Да, мы мечемся между двумя этими толкованиями мироустройства — религиозным и научным, светским,— попадая личностями, народами (в зависимости от тяжести бед или житейских послаблений) то в одну из поставленных перед нами ловушек лжи, то в другую, чтобы, разочаровавшись и обезверившись, то есть пройдя через разочарования и безверие, вновь кинуться в поисках истины либо к величественным иконостасам и святоисточающим (будто бы святоисточающим) алтарям, либо в храмы наук, где в противоположность ритуально-церковной позолоте (ритуально-церковной роскоши) с ее канонно-психологическим воздейст-

вием опрокидывается на нас книжная мудрость веков, и если быть до конца открытым в этом сравнении, то надо признать, что удавка так называемой книжной мудрости, которую мы самонакидываем на себя, обращаясь к залежам вековых научных догм, куда сильнее сковывает и держит нас в сетях рукотворно-продиктованных ложных истин, чем обладающая некой чудотворной силой удавка религиозных учений. Я часто задаю себе вопрос: для чего, если мы не до конца убеждены, что Земля (как, впрочем, и Вселенная) и все сущее на Земле (как, впрочем, и во Вселенной) есть не что иное, как промысел Божий,— да, для чего, если червь сомнения гложет нас даже при виде золотолитого распятия — символа величия христианской веры, должного внушать нам (да и внушавшего из столетия в столетие), что существует другая, высшая и более справедливая жизнь, чем земное испытание («смертью смерть поправ»),— да, для чего, если религиозные учения только обременяют и сковывают нас путами смирения и послушания и если все вкупе взятые молитвенные бдения, то есть часы, дни, месяцы, годы, десятилетия, столетия, тысячелетия, отданные церковным ритуальным службам, не только не принесли никакого облегчения простолюдному большинству, но легли на него ярмом духовного (религиозного) рабства,— да, для чего, повторяю еще раз, при всей сомнительной полезности религиозных учений человечество буквально утыкало землю большими и малыми, кафедральными и приходскими церквями, мечетями, костелами, синагогами, молитвенными домами, которые уже самой своей канонно-архитектурной изоциренностью, золотом куполов, крестов и звоном колоколов призваны напоминать пастве о божественных основах бытия? Кому-то же угодно или скорее выгодно было возводить все эти дорогостоящие «шедевры зодчества», как принято в миру, да и не только в миру называть их, все эти (вот уж в чем нельзя усомниться) «украшения» столиц, городов, сельских и промышленных поселений, привлекая к этому делу лучших — от мрамородобытчиков и мраморообработчиков до именитейших зодчих, художников, мастеров по чеканке и литью золотых и серебряных риз, окладов,— да, да, кому-то же выгодно было, чтобы простой люд, искавший защиты от материальных и духовных притеснений властителей, переступая пороги этих святилищ, не только не получал хоть каких-либо реальных познаний об устройстве общественных отношений и состоянии общественного бытия, то есть о системе господства и рабства, в какой из тысячелетия в тысячелетие насильственно и обманно удерживаются простолюдские массы, но, впитывая в себя очередную порцию заготовленной лжи о земном и вселенском мироустройстве, выходил из стен церквей, мечетей, костелов и синагог с обновленной верой в Божью предначертанность своего рабского (все от Бога, от Его милосердия) существования. Я не причисляю себя ни к богоискателям, ни к атеистам и, как и все, отчаянно мечусь между равно бытующими среди людских сообществ религиозным и научным восприятиями и толкованиями человеческого бытия и тем более не ставил и не ставлю целью развенчать ради развенчания и опорочить ради опорочивания достижения человечества в сфере религиозного и научного самопознания, но мне всегда казалось, как кажется и теперь, что если религиозные учения явно работают на тронноугодное, троннозаданное стагнирование хищнических устоев и не позволяют простолюдному большинству ни на шаг продвинуться хотя бы в познании этого применяемого к ним стагнационного обмана, то суть такого исторического явления следует искать не в послушании и покорстве паствы, которая якобы жаждет иметь над собой Бога и не может без НЕГО (ведь как возникновение религиозных учений, так и возведение упомянутых выше церквей, мечетей, костелов, синагог, коими сегодня так густо утыкано земное пространство, официальная историография объясняет не нуждами тронов, но богоискательством, я бы добавил, рабским богоискательством масс), а в потребностях царской, дворцовой жизни.

XIV

Чтобы окончательно убедиться в бессмысленности, порочности, преступности религиозного просветительства, объединенного в понятии «вера» (вера в Бога, который за тысячелетия пальцем не пошевелил, чтобы хоть что-

то сделать для облегчения жизни простолюдинского большинства, вера в чудодейственную силу икон, собранных в переливающиеся золотом иконостасы, в мощи святых, подвижнически истязавших себя при жизни, то есть подававших пример самоотречения от земных благ во имя некоего вечного умиротворения в среде подобных себе бесребренников и праведников и продолжающих, будучи уже в прахе, воздействовать этим же примером самоотречения на невежественные массы простолюдинов; вера в молитвенные бдения, монастырское затворничество, наконец, в орудие казни — крест как символическое воплощение страданий и воскрешений, должное примирять личности, народ, народы с тронноналоженной на них социальной несправедливостью), — чтобы окончательно убедиться в порочности, в преступности этой сопровождающей нас от создания религиозных учений рукотворно-господствующей лжи, необходимо присмотреться еще к одной исторической картине действий, то есть к той пращурно-современной или современно-пращурной действительности, о которой, стремясь оградиться от ее разоблачительного потенциала, не хотят ни слышать, ни говорить ни церковники, ни ученые мужи, погрязшие в своих исторических и философских изысканиях, ни глашатаи от политических элит и так называемых просветительских зомби-образований. Мы привыкли к тому, что все, что связано с дворцами, храмами, церквями, — священо и не подлежит ни осуждению, ни тем более осуждению; догма сия, еще с пращурных времен внушенная простолюдинскому большинству, продолжает и сегодня, как ни грустно прозвучит это, с той же силой воздействия удерживать нас в некоем благочестивом, да, я так бы назвал его, неведении относительно истинного предназначения, с одной стороны, религиозных учений как таковых, а с другой — храмов, церквей, мечетей, костелов, синагог, которые давно уже, оставаясь номинально центрами религиозного поклонения и просветительства, могут с еще большим основанием называться центрами по накопительству богатств (несметных, если судить по Византии с ее православным первопрестолом или Ватикану, утопающему и ныне почти в сказочно-божественной роскоши), то есть теми же тронами со всеми вытекающими из дворцово-рамочной заданности абсолютизма господства и абсолютизма рабства закономерностями, какие, мы видим, приводили и приводят народы к полному и бесповоротному закабалению. Есть установившаяся в веках традиция, согласно которой храмы (возможно, потому, что значение их в нашем сознании интерпретируется непосредственным сношением с Богом или по меньшей мере с его святоисточающей передней), — храмы должны быть величественными уже по сути своего предназначения, хотя в истинном их предназначении, в котором мы не хотели или не смогли разобраться, заложена идея прямого, откровенного и бессменного служения власти и властителям, а чтобы понять это, стоит только перевести взгляд со златоглавых церквей на приземленное убожество хижин. Отличие, надо отметить, столь разительное, что кажется (как и при виде царских дворцов и простолюдинских хижин), что на едином пространстве Земли умиротворенно, повторяю, именно умиротворенно будто бы (и это единственное, что роднит их) соседствуют два альтернативно-социальных мира: мир довольства, роскоши, пышных культовых ритуалов, утренних, дневных, вечерних, ночных молитвенных бдений, то есть мир людей, именующих себя господними слугами, которые, не производя ничего, кроме славословия Богу и иконостасным святым, тем не менее, судя по их отяжелевшим животам и ожиревшим загривкам, не испытывают недостатка ни в барстве, ни в сытости, и мир нищеты, бесправия, рабства, нимбом убожества (пожалуй, точнее не скажешь) обложивший златоглавые храмы, и эта эпохальная статичность двух альтернативно-социальных миров, к сожалению или, сказать иначе, в лучшем случае вызывает в нас грустное настроение. Но мы не вдаемся в подробности, отчего возникают в нас грустные мысли и грустные чувства, то есть не пытаемся даже хоть как-то проанализировать истоки душевного состояния, словно боимся (кого, почему?) прикоснуть-

ся к той реальной действительности, которая, притаившись в своем драматическом покорстве, лежит за пеленой внешней умиротворенности и в которой главным персонажем вместо человека, вместо людских сообществ с их насущными нуждами, выраженными в сути человеческого бытия, нагло предстают лишь иконостасно-златоглавые храмы, вампирно вьезшиеся в свободное житие народов и поставившие эти народы в рабскую зависимость от своих свято-эфемерных учений. В сущности, мы лишаем себя объективного восприятия минувших и текущих явлений жизни, прикрываясь их некоей божественной или, вернее, богопредначертанной нераспознаваемостью, в то время как схема церковной власти и церковного накопительства, как и светской власти и тронного накопительства, предельно проста: на небесах Бог, на земле сотворенное им чудо жизни, и поскольку между Богом и сотворенным им чудом жизни (для каких целей? — к этому мы еще вернемся в процессе повествования) лежит неизмеримое пространство, мешающее непосредственному общению Отца с детьми, то, естественно, потребовались посредники — служители всех фундаментальных и нефундаментальных религий, — которые и соединили эту чуть было не обездолившую человечество (надо же было хоть как-то исправить ошибку Творца!) разорванную нить свято-спасительного небесного родства. Через руки этих церковных святопосредников (на то они и посредники!) должны были проходить дары, пожертвования, подношения, какие со дня возникновения храмов, златоглаво вылуплявшихся на хижинном пространстве Земли (но, возможно, лишь в продолжение традиций, заложенных в это мздоимство египетскими оракулами и древнегреческими жрецами), стекались к ним от простонародья, дабы ублажить новоявленное, сменившее языческих идолов божество, и дары и жертвования эти, поскольку доставка их святейшему адресату была не то чтобы затруднена, но просто-напросто невозможна (как, впрочем, невозможна и с развитием космических достижений), — дары и жертвования эти, собираемые, да, буквально собираемые с народных масс, оседали в храмах, церквах, мечетях, костелах, синагогах, насыщая сии посреднические центры несметным — с миру по нитке — богатством, среди которого или, точнее, в котором, не ведая никаких невзгод, проживали свои «подвижнические» жизни высшие представители набравших господство и ныне вполне обретших его религий. Церковные предстоятели (в данном случае понятие обобщенное) в отличие от светских самодержцев не ходили с мечом в народ за данью (хотя история знает и такие примеры), а предпочитали увещевать и устрашать простолюдинов словом Божиим, то есть действовать в русле религиозной риторики, и сие бескровное вроде бы, духовное насилие позволяло им, соединяясь целями с монаршим кровопусканием, держаться неким церковно-подвижническим особняком, словно они никогда и ни в чем не были зависимы от тронов, а действовали и действуют в согласии с предначертаниями Творца; коронованные особы, загонявшие народы в нищету своими беспощадными поборами, возводили за счет награбленных средств дворцы, отливали золотые троны, содержали дворню, армии, дабы оберегать и наращивать тронное могущество, пригревали славопевцев от литературы, искусства, живописи, зодчества, заботясь об увековечении своего поводырского величия, и точно по такому же сценарию, но лишь со ссылкой на предначертания Творца («Царствие Божие»), устраивалась в своих свято-посреднических обителях армия рясо-иконных подвижников. Они знали выгоду своего положения и, не оглашая ее, действовали, как, впрочем, продолжают действовать и теперь, в русле прямого обогащения, ибо богатство (хоть в светском, хоть в церковном толковании) есть власть, которая обретает черты особого коварства, если возводится над людскими душами; Церковь (здесь опять в обобщенном значении) стремилась к обладанию именно такой властью и, судя по всему, достигла цели, но кто может сказать, что от рубежа новых религиозных учений (главным образом от рубежа христианства и мусульманства) мир хотя бы на йоту изменился к лучшему, что меньше

стало войн, насилия, грабежей, испокон веку сопровождавших фараоновскую систему господства и рабства, систему хищнического миропорядка? Одно дело — религиозные учения и беспардонное, безудержное восхваление их умиротворяющих канонов, и совсем другое — воплощение этих канонов в жизнь как богоустроительных предначертаний, и, чтобы до конца уяснить, в чем тут кроется зло и в чем состоит истина, если она вообще присутствует здесь, следует прежде всего задаться вопросом: а для чего, собственно, Господь сотворил Землю и населил ее (в дополнение будто бы ко всякой иной сущей живности) человечеством? Чтобы люди, сообразовавшись в сообщества, могли жить в достатке, мире, согласии, благоденствии или чтобы, памятуя о Создателе, сносили ему дары и пели нескончаемую осанну? Но действительность показывает, что ни дары, тысячелетиями подносившиеся Богу, ни усердные осанны не доходили до него, и тут следует заметить, что если безудержное аллилуйство растворялось бесследно в поднебесье, то дары, пожертвования, подношения оседали (с миру по нитке) в храмах, то есть оказывались в руках церковных служителей, и этот механизм ритуального обогащения, как и механизм силового (тронного), сливаясь в итоговой значимости, как раз и являя собой главную и необратимую опору узаконенного порабощательства, из которого человечество ищет и не может найти выхода, а мы и по сей день продолжаем наивно полагать, что все благоразумное, благородное, справедливое, вечное исходит, с одной стороны, от богопродиктованных будто бы религиозных учений, а с другой — от богопомеченных на посредничество церковных наставников.

XV

Итак, нет познания мира через религиозные учения, а есть только познание лжи, есть только всеглобальный обман, подаваемый в обертках правдоподобия, и есть традиция заблуждений, признаваемая нами как система неких богоутвержденных, как это подается нам, понятий, или догм, или наставлений жизни, в которых заключена (будто бы заключена) суть человеческого бытия, базирующегося (о чем, разумеется, не принято говорить открыто и прямо) на двуединой фараоновской системе господства и рабства. Но если нет познания мира через религиозные учения (в чем все больше и больше убеждается человечество, хотя прозрение сие дается ему нелегко, ибо обрамлено великим, я бы так назвал его, сомнением — есть Бог? нет Бога? — неразрешимо из столетия в столетие терзающим нас), — да, если нет познания мира через религиозные учения, давно ставшие (чего мы либо не замечаем, либо не хотим замечать) стагнирующим механизмом социальной несправедливости, то остается только обратиться к науке, к тому альтернативному церковной догматике источнику знаний, который не то чтобы не грешит ошибками и упущениями, но по крайней мере (или вроде бы) не грешит тронхолопством, в чем последовательно заверяли и заверяют нас и о чем свидетельствуют жития этих иконостасно-пьедестальных от пращурных времен толкователей общественного бытия, о чистоте помыслов которых сочинено столько живовоздействующих на людское простодушие легенд, что, кажется, одних этих легенд уже достаточно, чтобы с глубоким уважением и доверием относиться к ним. «Да, — часто говорим мы себе, — наука есть наука, ученые есть ученые», — взбадривая в себе веру в святость и неподкупность этих альтернативных религиозной догматике представителей ученого мира, не догадываясь даже отдаленно, что имеем дело лишь с обратной стороной одного и того же явления, рожденного на рубеже классового расслоения и поставленного, как и Церковь, на холопское, да, именно холопское, услужение тронам. Я уже не раз говорил здесь и готов повторить снова и снова, что наилучшим подтверждением истины является жизнь, в которой все на виду — и дворцы, и храмы, и хижины, одним своим внешним видом, то есть роскошью и убожеством, способные сказать о минувшей и текущей действительности

куда больше, чем самые изощренные толкования о необходимости и неизбежности власти как некой организующей и центрирующей все в деяниях людей силе (формула, коей оправдываются любые кровопролития и насилия) и о неизбежности рабства как формы подчинения и смирения, то есть некой гармонии в общем устройстве бытия (внешний вид в данном случае предстает как законсервированный итог определенной заданности жизни); думаю, правомерность такого суждения не должна ни у кого вызывать сомнений, ибо — да! — дворцы и хижины действительно-таки являются прямым отражением (или выражением) эпохальных усилий тронов в обретении могущества и столь же эпохальной инертности масс по защите своих интересов, и тут вольно или невольно напрашивается вывод, что если мы хотим знать реальную историю человечества, то не должны опираться только на летописные своды (не случайно же в народе говорят, что бумага все стерпит), но прежде всего — на состояние жизни, в которой все текущее, очевидное имеет пращурные истоки и более, чем любая летопись, может приоткрыть завесу над истиной. Мы только что уяснили, что религиозные учения, по существу, ничего не добавили человечеству в познании мира, но, напротив, встали неодолимым барьером на пути социальных и нравственных преобразований; они настолько застagnировали мир в системе господства и рабства, настолько опустошили самую суть человеческого достоинства, что ни личности, ни народы, поставленные в положение рабов Божьих, давно уже не представляют себе, что такое свобода, воля, инициатива, разум, счастье созидания и торжество жизни, ибо сутью их бытия стало добывание хлеба насущного и выживание в рамках нескончаемых поборов и кабалы. Религиозные учения, пропитанные духом возвеличивания рабства, только и делали, что под церковные песнопения и колокольный звон примиряли простолудинские массы с неизбежностью нищеты и страданий (Христос страдал и нам велел), и чем больше вылуплялось златоглавых церквей и храмов на хижинном пространстве Земли (прошу простить за вынужденный повтор), тем глубже погружались народы в свой летаргический сон, самозабвенно уверовав, что не из дворцов и храмов, а только из хижин и с кабальным ярмом на шее можно войти в Эдем, то есть в мир вечного благоденствия. Для того, чтобы представить эту тягостную картину народной жизни, думаю, нет необходимости рыться в рукописных анналах истории или набираться мудрости через музейные экспонаты, когда весь исторический и текущий драматизм действительности — вот он, вокруг нас, помеченный барством и нищетой — и вознесшиеся к небу золотые купола церквей, храмов, и хижинное пространство, — и по вековой застойности этой храмово-хижинной реальности, способной болью разорвать любую крестьянскую душу, думаю, нетрудно предугадать всю холопско-стагнационную суть религиозных учений. Церковь — это не просто тупик в познании мира, но непревзойденный в руках коронованных особ инструмент бескровного (по крайней мере так принято полагать) закабаления масс, и жаль, что массы, да, именно массы, до сих пор не могут осознать этой несложной истины, а те, что прозрели или начинают прозревать, чувствуя фальшь в церковном могуществе, все больше обращаются на ученых мужей, которые, решительно вроде бы отвергнув поповские бредни (я не случайно прибегаю к этому известному выражению), остаются единственной опорой в тысячелетнем процессе самопознания нами своего бытия, то есть силой, способной дать реалистическое или, скажем, близкое к реалистическому толкование всему, что было и что происходит с человечеством. Между прочим, здесь следует заметить, что явление это уходит корнями к древнеегипетским оракулам и древнегреческим жрецам, которые одновременно воплощали в себе и значение духовных (божественных) прорицателей, и мудрость светских первоученых, что, впрочем, по тем временам было и возможным, и правомерным, ибо прорицательство не всегда основывалось лишь на сущих вымыслах, но во многом питалось из багажа

накопленных житейских истин (другое дело, каким образом и для каких целей использовались эти истины, особенно относящиеся к нравственной открытости личностей и народов), и в связи с этим можно сказать только, что ж, похвально, что в те же пращурные времена, когда закладывались религиозные представления о мире, зарождалась и научная альтернатива этому обману, сообразовавшаяся затем в систему исторических и философских знаний, и хотя при ближайшем рассмотрении этих гуманитарных наук (с приложенным к ним ремесленничеством от литературы, искусства, живописи, музыки, зодчества) нетрудно заметить, что создавались они прежде всего как необходимая дворцовая принадлежность (ведь надо было кому-то обелять деяния правителей и обрамлять их лики нимбами иконостасно-пьедестальной славы), но реальность пращурных веков от нас далека, а всеславное от древнейших времен «подвижничество» ученых мужей столь на слуху, что мы не то чтобы добровольно, но с искренней верой в постижение истины, вырвавшись из одной ловушки лжи — религиозной, тут же попадаем в другую — научную, и, восторгаясь с доверчивостью глупцов миражной картиной грядущего, не осознаем или, вернее, не можем осознать, что продолжаем оставаться все теми же обманутыми простолюдинами и в той же застагнированной словно бы вечно системе господства и рабства. Ведь точно так же, как вылуплялись златоглавые церкви и храмы на хижинном пространстве Земли, гордо вскидывались на этом же пространстве храмы наук с их парадно-неизменными греческими колоннами и портиками, и чем плотнее насыщалось хижинное пространство этими святилищами знаний, тем значительно увеличивался разрыв между желанием познать действительную суть человеческого бытия и возможностью (через бесчисленные так называемые научные труды пращурных и современных иерархов мудрости) сделать это. У меня нет статистических данных, чтобы, опираясь на них, представить хотя бы в процентной зависимости соотношение ученых мужей и простолюдинов, то есть тех, кто готовит и подает исторические и философские блюда на просветительский стол жизни, и тех, кто так ли, иначе ли вынужден (за неимением других) питаться сей духовной отравой и поколение за поколением уходить из жизни, так и не поняв ни ее смысла, ни своего места и предназначения в ней, как нет статистических данных и о церковных (религиозных) пастьях, в каком по своему количеству соотношении они находятся к простолюдинским массам, выступая перед ними в роли Божьих наставников (посредников), блюстителей Божьего порядка (что в переводе на житейский, светский язык означает: охранители системы господства и рабства), — да, у меня нет этих статистических данных, чтобы подсчитать нахлебников, угнездившихся на теле народной жизни (на хижинном пространстве Земли), которые, не производя, в сущности, ничего, кроме попугайничания в светско-церковной (научной и религиозной) риторике лжи, пользовались и продолжают пользоваться всеми возможными благами, и тут простая крестьянская рассудительность подсказывает мне, что если бы ученые мужи и священнослужители действительно думали о народе и стремились к познанию истины, то и одной сотой от этой армии иконостасно-пьедестальных светил было бы более чем достаточно, чтобы открыть и устранить причины, заводящие мировое сообщество в социальный и нравственный тупик. В данном случае я говорю только о гуманитарных науках — исторической, философской, теологической — с приложенным к ним ремесленничеством от литературы, искусства, живописи, музыки, зодчества, в которых безнаказанно можно перекрыть любую правду в ложь, а ложь в любое правдоподобие (во имя процветания дворцов, храмов и угнетения обитателей хижин), безбоязненно искажать, перевирать, подделывать, подтасовывать исторические факты в угоду любым монархическим, демократическим, республиканским режимам, то есть можно горами наворачивать ложь (что, впрочем, и делается иерархами от знаний) и не нести при этом никакой ответственности ни перед истори-

ей, ни перед современностью (чего, кстати, не скажешь о точных науках, которые, работая на военные доктрины тронов, то есть на кровопролитные побоища, тем не менее не могли и не могут соскальзывать в русло ложных открытий и подтасовок), а слыть великими «духовными отцами» и носителями сконцентрированной будто бы в них вековой человеческой мудрости. Я почти убежден, что найдутся из числа ученых мужей или церковников или объединившиеся от тех и других критики, которые попытаются отвергнуть и опорочить представленную мной здесь реальную картину нашего бытия, но, господа оппоненты, не торопитесь торжествовать, ибо я соизмеряю все с состоянием жизни, и если в ней сегодня главенствует та же система господства и рабства («цивилизация» от древнеегипетского первородства: фараоны и рабы), что была навязана человечеству сто восемьдесят веков назад, то это может означать только одно — полную застagnированность (при прямом и активном пособничестве отцов Церкви и мужей науки) всех социальных и нравственных аспектов нашего общественного и личного бытия.

XVI

Теперь, думаю, пора перейти от доказательств, опирающихся на реальное состояние жизни, к доказательствам, непосредственно вытекающим из всех известных с пращурных времен религиозных учений, это с одной стороны, а с другой — из исторических и философских трактатов, отмеченных как именами древности — Платоном, Аристотелем, так и учеными новейших времен или, вернее, новейшей истории — Гегелем, Кантом, Ницше, Карлом Поппером (разумеется, перечень далеко и далеко не полный, но это не означает, что я буду ссылаться только на их труды; между философами пращурного и философами новейшего поколений лежат эпохи взлетов и падений научной и церковной мысли, известные скорее своей иконостасно-пьедестальной зафиксированностью, чем реальной исторической значимостью, но и усилия этих церковных и научных деятелей не останутся за бортом данного исследовательского — пусть хотя бы и с общежитейских, народных позиций — повествования); но одно дело — власть Церкви, власть науки, взявшие в подданство духовный мир человека и человечества, чтобы вывести его на стезю благоденствия (ведь народы, как сказано в религиозных учениях, погрязшие в пороках от безбожия, нуждались в спасении, вот и явился к ним Спаситель, объявивший смерть бессмертием, врата в небытие — вратами к вечному блаженству, и рабство стало уже не рабством, а всего лишь земным испытанием веры в Бога, в его милосердие и в послушание и смирение перед его высшей волей), — да, одно дело — власть Церкви, власть науки, и совсем другое — слепое, безропотное подчинение простолюдного большинства этой без меча господствующей силе, не раз и не два доводившей целые людские сообщества до эпидемии фанатизма и массового психоза. Все кровавейшие события, пережитые человечеством, начиная с исхода стержня господства и рабства с истощенной и обглоданной фараонами древнеегипетской земли (можно добавить: с библейского описания эпохи царств и царствований), когда народы шли на народы, братья на братьев, отцы на детей, дети на отцов, когда стирались с лица Земли целые народы и государства, когда во дворцах справлялись и торжества, и тризны, а невольничьи рынки Востока и Присредиземноморья были до переизбытка насыщены живым товаром — рабами, сгонявшимися с порабощенных территорий (в конце концов современники тех кровавых безумств свидетельствуют, что не было более выгодной торговли, чем торговля рабами), — кровавейшие события эти, повторяющиеся затем во всех последующих тысячелетиях и накрывшие своей кроваво-пенной волной наше двадцатое столетие (две мировые войны, а для России еще и третья, гражданская), начинались не с противостояния народов, а с противостояния правителей, с их притязаний на европейское и мировое господство и с разжигания (с одной стороны, с церковных, а с другой — научных, академических

кафедр) «патриотизма» и ненависти, ненависти и «патриотизма», то есть того психоза, какой прежде всего является продуктом воздействия слова, воздействия тронно-угодных или тронно-заданных идей, коими пропитывались простолюдинские массы как неким сошедшим на них откровением и отправлялись захватывать, разорять, грабить, убивать себе подобных с полной уверенностью, что вершат не злодеяния, а величайшую справедливость (разумеется, ради своих интересов, которые, как свидетельствует история, чаще всего оказывались лишь иллюзорным: видениями грядущего благоденствия). Нет, я отнюдь не собираюсь снимать вину за драматизм истории с престольных поводырей, а хочу только подчеркнуть, что сами по себе монархи, сидящие на тронах, не создай они вокруг себя действенного аппарата зомбирования (прислуживающую им Церковь и готовых к услужению ученых мужей от гуманитарных знаний), не смогли бы ничего поделаться с далекими от претензий на господство простолюдинами; ведь любому силовому давлению всегда может противостоять столь же силовое противодействие, тогда как против слова, обрамленного Божьей или научной святостью, против обольстительных идей, способных взбудоражить память и открыть перспективу тотального, да, именно тотального, «обновления» (что особенно действует на простолюдинские массы, задавленные кабалой и нищенством), — против обольстительных идей, извлекаемых из религиозных учений и академических толкований, так до сих пор и не найдено нужное средство защиты. В конце концов что можно противопоставить религиозным учениям, златокупольно опутавшим мир людских сообществ, кроме как преступную сущность этих учений, известную, впрочем, с древнейших времен, с тех «мудрых» или, точнее, умудренных в подавлении воли народов и канонизации тронного и церковного кровопийства старцев, которые, обожествив свои древнеегипетские и древнегреческие (оракулы и жрецы) святилища, выстлали для человечества одну из страшнейших закабалительных дорог, дорогу духовного оскопления, и что можно противопоставить канонизированным текстам всемирной и национальных историй, которые, как и церковные догмы, вкладываются в нас, начиная со школьной парты и завершая академическими кафедрами, и в которых не только нет ничего от той исторической действительности, какую они должны были представлять, а есть только ее пропитанный ложью героизированный вариант, склонированный с иконостасно-пюдастального ряда поводырствующих персон, — да, да, что можно противопоставить канонизированным в аксиоматическую истину текстам всемирной и национальных историй, кроме как реалистическое освещение событий, пережитых и переживаемых человечеством, дабы оголенная, очищенная от всех правдоподобий ложь предстала перед мировым сообществом во всем своем омерзительном тронугодничестве и, стыдливо прикрывая свою обнаженную худобу, сошла с исторической сцены действий, но возможное на словах (несмотря на видимую вроде бы простоту) не всегда оказывается выполнимым на деле. Ни Церковь, ни науки, то есть ни религиозные учения, ни вторящие им, как увидим дальше, научные толкования процессов бытия не страшатся никаких разоблачений; ведь мы, произнося, к примеру, словосочетание «власть Церкви», далеко и далеко не представляем себе, какова на самом деле ее власть, до каких пределов она распространяется (по крайней мере распространялась еще до недавних времен) и какие у нее возможности противостоять силовым и духовным нападкам. Только ли костры инквизиции, пожиравшие ересь на площадях европейских городов, только ли глухое замалчивание (тут можно было бы привести в пример антихристианские работы Ницше), или святые отцы настолько уже обросли тяжестью церковных традиций, то есть накопили за века запас прочности, что могут позволить себе не замечать ни больших, ни малых разоблачительных уколов и, становясь в позу мучеников, еще более возвеличивать себя в глазах простолюдинских масс? О таком явлении можно было бы сказать, обратившись к народному выражению, что «собака лает, караван идет», и караван

действительно-таки, грузенный убийственными церковными догмами, ничего общего не имеющими с понятиями «жизнь» и «радость жизни», идет через столетия и тысячелетия, обезволивая и опустошая человеческие души, и остановить его можно не отдельными разоблачительными наскоками, которые, увы, не без участия самих Божьих служителей и, конечно же, с подачи и при активной поддержке коронованных особ (рука руку моет) преподносятся богопристойной пастве как бессмысленное и тщетное «собачье пустолайство», а всеобщим глубоким пониманием как исторического процесса в целом (с преступно прерванным на определенном этапе эволюционным ходом развития), так и внесенного в этот процесс и застagnированного в нем религиозного кровопийства. Рядом с понятием «власть Церкви» стоит понятие «власть науки», произнося которое мы точно так же не задумываемся над тем, что это за власть, каковы ее границы действий и, главное, чем она отличается от церковной и отличается ли вообще. Многие полагают, что, присоединив слово «власть» к понятиям «наука» и «Церковь», прибегают всего лишь к синониму, чтобы подчеркнуть ту степень значимости, какой обладают религиозные учения и научные толкования в общественной жизни людей; они делают это скорее неосознанно, интуитивно, то есть по опыту своих столкновений как с незыблемо-церковным, так и с незыблемо-научным догматизмом, и непосредственность выбора, когда влияние Церкви и влияние науки на массы связывается с тронными возможностями, тронной категоричностью и жесткостью (по принципу: каждый сверчок знай свой шесток), — непосредственность в выборе синонима уже сама по себе является доказательством в оценке властных возможностей отцов Церкви и отцов науки. Авторитет и незыблемость религиозных (церковных) учений опирается на изначально и жестко заданный консерватизм божественных догм и божественных предначертаний, иначе говоря, держится на стандартах, выработанных основателями и пророками иудаизма, буддизма, христианства, мусульманства, и эта застagnированная стабильность каждым своим ритуалом — златооблитыми иконостасами, златооблитой одеждой духовных предстоятелей, неизменным, то есть штампованным, аскетизмом иконно-апостольских ликов, отраженная на испитых лицах прихожан — кричащая, да, почти кричащая о божественной неизменности мира (неизменности системы господства и рабства), оборачивается в конце концов в душах прихожан ярмом нескончаемого и тяжелейшего, а главное, неизбежного, богозаданного рабства. Теперь давайте посмотрим с другой стороны: двадцать веков, если взять христианство, простолюдинское большинство подвергалось усиленной и насильственной церковной обработке, так что если говорить о власти религиозных учений, златокупольной сетью опутавших хижинное пространство Земли, то она не то чтобы воспринималась могущественной и безграничной (это само собой), но обладала и продолжает обладать (может быть, благодаря именно своей законсервированной статичности и постулату, провозгласившему смерть бессмертием) такой силой воздействия на неосведомленное простонародье, которая, самозаряжаясь через обольстительную церковную ложь, предстает вечным (божественным) наставником жизни.

XVII

Если Церковь в нашем сознании связывается с определенным и устоявшимся догматизмом, то наука, исповедующая вроде бы альтернативный взгляд на историю развития человечества (мироздания, мироустройства), воспринимается не иначе как неостановимый «двигатель прогресса и процветания», и мы, поддаваясь этому заданному шаблону восприятия, безоглядно, да, большей частью именно безоглядно, отдаем себя во власть ее предположений, рекомендаций и выводов. Я говорю не о частностях, а об общем процессе, в котором, разумеется, могут быть исключения, лишь подтверждающие правила, а правила таковы, что мало кто осмеливался предстать поборником

правды в царстве академической (троннозаконенной) лжи и черноты, подкрепленной постулатами государственного просветительства, а если и осмеливался, то его тут же либо перекрашивали в черный цвет, либо труды его бросали под каток анаподминающих «научных аксиом» и надолго, если не навсегда, предавали анафеме и забвению. Так было в прошлом, так происходит и сегодня, и если против такого просвещенческого, как я бы охарактеризовал его, насилия не возвышается голос общественного протеста, то причину столь странного, как это может показаться на первый взгляд, смирения или тихого, безропотного послушания следует искать не только и не столько в робости и безволии ученых мужей, которые, переступая пороги академических залов и кабинетов, бывают еще полны самых разных строптивных (амбициозных) мыслей, не только и не столько в традиционной пассивности масс, отчужденных от замыслов и свершений науки точно так же, как и от истинных целей и свершений Церкви, а прежде всего в той системе господства и рабства (фараоны и рабы), в которой был четко выработан и продолжает совершенствоваться двойной подход к проблеме познания человеческого бытия, равно действующий как во внутрицерковной и внешнецерковной деятельности святых отцов, выдающих прислуживание себе и тронам за прислуживание народу и Господу, так и во внутриакадемической и внешнеакадемической деятельности ученых мужей, тысячетлетиями извращавших и продолжающих извращать историческую действительность в угоду коронованным особам и дворцовым элитам, но преподносивших и продолжающих преподносить свои лжеизыскания как труднодобытую ими для всеобщего просвещения истину. Мы не вникаем в тайны Церкви, вернее, в тайны ее сговора с престолодержателями и тем более в амбициозность ее далеко идущих властных (изначально властных) замыслов, а лишь вкушаем позлащенные плоды этого отгороженного от нас так называемого «священнодействия», ибо удел простых людей состоит только в том, чтобы безропотно поклоняться иконостасным ликам, тут для них и начало, тут и предел, и чем меньше они будут осведомлены об истинных целях и делах церковных служителей, тем крепче угнездится в простолюдинах вера в Церковь и тем сильнее охватит их страх перед ее божественностью; схема, как видим, проста, то есть до предела проста, основателям ее не откажешь в гениальности, и поскольку ученые мужи не смогли или не захотели избрести для себя ничего лучшего, то и перенесли эту схему взаимодействия Церкви с властями и Церкви с народом на площадку своих так называемых научных святодеяний. Наука о прошлом и настоящем человечества (будь то историческая или философская) самопоставила себя в ряд первейших и важнейших прислужников тронов, и хотя никто с точностью не может сказать, насколько естественным или насколько насильственным был этот процесс смыкания престольных потребностей с зомби-возможностями исторической и философской наук (с дворцовой точки зрения по-иному и не могло быть, а с точки зрения здравого смысла, вернее, если судить по реальной действительности, по которой цари, монархи подчиняли себе все, что только могло укреплять их могущество, — с точки зрения здравого смысла можно даже предположить, что наука в той же степени, что и Церковь, если брать функции прислуживания, является прямым детищем коронованных особ), — да, хотя никто с точностью не может сказать, насколько естественным или насильственным был процесс смыкания престольных потребностей с зомби-возможностями исторической и философской наук, но важным остается то, что смыкание произошло и что в результате его мы получили не науку о человеческом бытии, а лженауку, не реальное представление о прожитых людскими сообществами столетиях и тысячетлетиях, а героизированный вариант царств и царствований, подтвержденный иконостасно-пьедестальным рядом отмытых от простолюдинской крови и превращенных (по выражениям постных лиц) в страдальцев за народ кумиров-поводырей. Наверное, можно было бы найти и различие во взаимоотношениях людей с Церковью и с наукой. В

религиозные храмы мы большей частью ходим лишь за тем, чтобы воздать славу Господу и покаяться перед ним за некие совершенные будто бы нами грехи, ибо в Священном Писании сказано, что человек изначально уже грешен в своем первородстве, в котором хотя и считаются бедность и смирение святостью, а насилие и богатство искушением дьявола, но истина сия настолько отделена от общенародной жизни, в которой торжествует над всем фараоновская система господства и рабства, что она, несмотря на Божью изреченность, существует сама по себе, а действительность с ее дворцовым накопительством и хижинной нищетой — всего лишь некое временное сумасшествие, длящееся, однако, уже более ста восьмидесяти веков, всего лишь наказание за грех первородства, в котором все мы должны денно и нощно каяться, дабы смилостивить Господа и получить от него прощение. Можно, конечно, сколько угодно возражать против такого толкования духовной роли Церкви в общественной жизни людских сообществ и приводить частности, доказывающие или показывающие ее в ином, благородном свете, но от этого стержневая стагнационная заданность ее, изначально еще продиктованная тронами, останется неизменной в главном своем антинародном проявлении. В храмы науки, казалось бы, мы идем не с покаяниями, а за получением знаний, но, как и в религиозных храмах, сталкиваемся с той же иконостасной стенкой, выложенной развее что из рукописных и книжных трудов великих и невеликих историков и философов древности и современности, в которых, несмотря на всю видимую разноголосицу, воспевается (в рамках стагнационного процесса) все та же система господства и рабства как некая естественная заданность, которая сопровождала и всегда будет сопровождать человечество (о чем как раз и пойдет речь ниже), кто бы, сколько бы и какими методами ни боролся с ней, что в житейском переводе означает: всегда были и будут господа, были и будут сонмы дворцовых прислужников, были и будут рабы — если и не в прямом толковании этого понятия, то уж, во всяком случае, по бесправию и нищете, коими и поныне остается повязанным простолюдское большинство. Здесь я вновь должен обратиться к реалиям бытия и главным образом к реалиям окружающей нас действительности, которая, сколько ни толкуй и ни перетолковывай ее, является наглядным итогом эпохальной жизнедеятельности людей; если выразиться аксиоматично, итог жизни есть не что иное, как закономерный итог общественных устремлений, которые могли быть естественными (эволюционный путь развития), если бы на меже классового расслоения не вклинился со своими революционными преобразованиями человеческий (поводырский) разум, человеческие (поводырские) властолюбие и стяжательство, могли носить смешанный естественно-рукотворный характер, когда природная жизнедеятельность пополнялась бы разумно-рукотворными усовершенствованиями, и у такого варианта имелись свои определенные базовые возможности, и, наконец, могли быть исключительно рукотворными и созидаться не на основах злодейства, то есть тронного порабощения, а на принципах удовлетворения народных потребностей, но все эти три возможных варианта жизнедеятельности оказались неприемлемыми для людских сообществ (прежде всего для поводырствующих особ), и они, то есть поводырствующие особы, избрали самый что ни на есть губительный для простолюдского большинства, для человечества в целом путь развития, о котором можно сказать, что он не просто рукотворно-злодейский (разумеется, прямолинейность и открытость такого варианта могли бы привести его к скорейшему падению), но начинен таким долговременно-утонченным коварством (злодейство под защитой мантии естественности), от которого некуда деться простым, добронравным и доверчивым простолюдинам. Мир погряз в хищничестве, и процесс этот неостановимо набирает обороты под малиновый звон церковных колоколов и бумажный шелест академических выкладок, в которых белое называется черным (история и философия в условных выражении-

ях), черное — белым, а ведь и у Церкви, и у вышеназванных наук было более ста восьмидесяти веков, чтобы разобраться в причинах, толкнувших человечество на путь господства и рабства, и, обнародовав их, привести жизнь людских сообществ к их естественной заданности. Однако этого не было сделано; со стороны Церкви не было сделано потому, что она сама являлась и застрельщицей, и участницей этого многоэпохального античеловеческого заговора и планомерно, на протяжении всех ста восьмидесяти столетий (здесь я имею в виду и эпоху древнеегипетских оракулов и древнегреческих жрецов, и эпоху языческого поклонения, и нашу — эпоху фундаменталистских религиозных учений), содействовала его осуществлению, как, впрочем, нельзя было ожидать правдивого толкования истории и со стороны ученых мужей, которые если и не были застрельщиками в разработке далеко идущих тронно-работительских планов, приведших единоутробных последователей фараоновской державности к мировому господству, но во все сто восемьдесят веков планомерного насаждения среди народов системы господства и рабства прямо и активно способствовали тронам. Если это не так, то где же тот продуктивный результат их усилий, который открыл бы глаза страдающему простолюдинскому большинству на истоки их нескончаемых бед и насилий, а если так, то напрашивается вывод, что науки (напомню, речь идет о гуманитарных), как и Церковь, давно уже, с пращурных, точнее, времен, стоят на якоре у одного и того же дворцово-стагнационного причала, и пока что нет признаков, что загремят цепи, что будет поднят якорь и что перед человечеством откроется наконец истинная суть его исторического и текущего бытия.

XVIII

Все, чего через религиозные учения и научные толкования человечество смогло достичь в познании миробытия, фигурально можно представить в виде двух параллельно бегущих линий, которые вроде бы никогда и ни в чем не соприкасались между собой, что могло бы навести на мысль об их единородстве, но в то же время и не отдалялись друг от друга настолько, чтобы в полной мере проявилась их полюсная заряженность; они близки в том, что действуют на одном и том же историческом поле и с одними и теми же целями — открыть истину человеческого бытия, но методы подхода к исследованию минувших и текущих веков настолько кажутся нам различными, что у нас не остается сомнений в их почти прямом и открытом противоборстве. Однако, если разобраться, альтернативность их столь же условна, как и научная ценность, возносимая ими же до реалистически-божественных высот, ибо и церковники (в обобщенном смысле), и ученые мужи (тоже в обобщенном толковании) сумели так пройти (со своей тронно-запрограммированной заданностью) по историческому пространству столетий и тысячелетий, то есть с такой иезуитской настороженностью, что ни один из важнейших вопросов человеческого бытия, о которых достаточно уже говорилось по ходу повествования, не только не был освещен (скажем, подобно библейскому описанию царств и царствований), но отвергался с решительностью, как отвергалось все, что способно было прояснить истину, объявлялось несущественным и хоронилось под грудой явлений проходных, второстепенных, явлений-однодневок, пустышек, которые хотя и производили впечатление на современников, но не влияли и не могли существенно повлиять на общий процесс становления и развития людских сообществ. Кому и для чего это было нужно, думаю, нет потребности повторяться здесь, ибо жизнь, превратившаяся в сплошное мученичество для большинства населения Земли, являясь и доказательством, и оценкой, давно уже сказала сама за себя, и если мы до сих пор все еще не можем услышать ее прорывающийся сквозь толщу веков страдальческий голос, то в своей затянувшейся глухоте (затянувшимся беспамятством) должны прежде всего обвинить себя, свои ротозейство и леность, вылившиеся в привычку ждать манны небесной, когда разверзнутся облака и несказанно прольется на

нас Божья благодать. Но реальная действительность показывает, что за тысячелетия существования религий, как и за тысячелетия существования научных толкований бытия, ни над одним народом, зараженным верой в бессмысленность, еще не разверзались облака и не снисходило с небес никакой Божьей благодати, а достигалась она либо ратными (через разбой, насилие, закабаление), либо созидательными (что происходило реже и завершалось жесточайшими разорениями и похоронами убиенных народов и их самобытных цивилизаций), — да, либо ратными, либо созидательными усилиями, и если этот вершившийся престольными поводьями беспредел может объявляться промыслом Божьим, то возникает вопрос, в честь каких заслуг человечество столь усердно аллилуйствует Создателю, не сумевшему (прежде чем браться за осуществление своего вселенского замысла) до конца продумать принцип построения общественных отношений, и в честь каких заслуг ученые мужи объявляют наше кабальное бытие «великой цивилизацией», а систему господства и рабства — великим достижением этой возникшей из древнеегипетского державного абсолютизма «цивилизации»? Полагаю, что едва ли кто-либо может сказать по этому поводу что-то вразумительное, что хотя бы в частичных своих объяснениях соотносилось с действительностью, а ведь религиозные учения существуют, как существуют и теологи, корпящие над святыми писаниями и тысячекратно за века перебравшие в них каждое слово, почитаемое ими божественным, каждый даже самый вроде бы незначительный знак, способный повлиять на восприятие, но структура жизни (структура господства и рабства) как была, так и остается неизменной, хотя прочтенными (только христианскими и только за последние двадцать веков) молитвами можно давно уже стослойным нимбом святости окольцевать нашу коленопреклоненную перед всесилием Господа планету. Что-то здесь не так: либо никакого Бога никогда не было и нет, а пришествие Спасителя, принявшего за нас мученичество на кресте и воскресшего, — всего лишь основополагающий миф для зарождения такой мощной религиозной веры, какой явилось христианство, либо, если ОН есть, то что же заставило ЕГО так безжалостно повергнуть человечество в самоубийственное заблуждение? Вопрос этот нельзя рассматривать только с позиций духовности, которая либо есть, если есть вера в Бога, либо ее нет, если вера иссыкает (кстати, шаблонное объяснение любых революционных выступлений масс); однако ни одна религия не возникла из духовных потребностей народа, народов, но все они произрастали из интересов правящих элит, а потому их следует прежде всего рассматривать как явления социального порядка в общей системе многотысячелетнего тотального угнетения простолюднских масс. Да, да и еще раз да, любая религия, и прежде всего христианская, на которую по определенным обстоятельствам я вынужден буду чаще всего ссылаться, есть кровный плод (или следствие, если точнее) социального неравенства, социального расслоения, созревший на условиях поддержки тронов в их поработительских действиях, и духовного, да, прежде всего духовного, примирения нищенствующего простолюднского большинства с их рабской участью, и весь ритуально-молитвенный антураж с провозглашением вроде бы понятных и близких всем житейских истин, превращенных в боговыстроенную догматику веры, наполнен скорее зрелищным (театральным) смыслом, чем реальным поучительством из опыта реального бытия. Здесь, наверное, следовало бы пояснить, почему церковная догматика, необязательная к исполнению для обитателей дворцов и обязательная для обитателей хижин, воспринимается простолюдниками как некая проникающая в душу истина и почему, несмотря на всю очевидную нелепость веры, она на протяжении веков так цепко удерживает в своих сетях все или почти все беднейшее население планеты (включая, разумеется, буддийский, иудаистский и мусульманский мир). Думаю, потому только (и предположение это, пожалуй, ближе всего стоит к реальной действительности), что базовой основой религиозных учений, во всяком случае, основой христианства, послу-

жило ностальгическое чувство людей по идиллическим, то есть бесклассовым — «славные Гипербореи» — временам, и созвучие утраченного прошлого с постулатами будущего (и не менее идиллического) благоденствия, путь к которому пролегает через послушание и смирение, — созвучие это, окрыляющее и сегодня обманными надеждами коленопреклоненные толпы прихожан, как раз и дает основание говорить о Церкви в общественной жизни народа, народов, государств как о носительнице некоей внеполитизированной, чистой духовности, в то время как истинное ее предназначение, которое легко можно вычислить из текстов религиозных учений, — истинное предназначение лежит в русле социальных конфликтов, а потому, повторю, и рассматривать ее исторические деяния можно только с позиций классовой принадлежности, то есть классовых симпатий и антипатий. Выше я уже говорил, что все социальные и нравственные беды человечества (простолюдинского большинства) ведут отсчет от периода классового расслоения, но сам процесс расслоения, длившийся, возможно, не одно и не два тысячелетия, — процесс этот (с чего он начинался и как все происходило) странным образом, да, можно сказать и так, самым странным (хотя и не странным, а вполне объяснимым) образом оказался наиболее неосвещенным в общей цепи происходивших по ходу развития человечества событий. Религиозные учения игнорировали его уже тем, что в промысле Божьем ему просто-напросто не нашлось места, а ученые мужи, чтобы не вникать в него, отвели ему роль некоего водораздела, или, вернее, горной гряды, по одну сторону которой осталась пройденная человечеством долина мрака и варварства (между тем в ностальгической памяти простолюдинского большинства она сочетается именно с идиллическим состоянием жизни), а по другую, на которую, спустившись с перевала, вступило человечество (приняв, добавим, как благо хищническую систему господства и рабства), простираются райские кущи «великой» от древнеегипетского первородства «цивилизации», поставившей мировое сообщество на стезю «прогресса и процветания», — да, да, таков смысл разделительной гряды, положенной между двумя мирами, идиллическим и хищническим, и такова штора забвения, опущенная над самым судьбоносным явлением в истории развития людских сообществ.

XIX

Почему это произошло? Наиболее убедительный ответ на поставленный вопрос дает нам сама история. Ведь трудно предположить, чтобы переход от одного состояния жизни, идиллического, к другому, хищническому, был осуществлен на добровольных началах; наверняка было насилие, наверняка лилась кровь и применялись самые изощренные методы принуждения вплоть до полного истребления непокорных племен, и прежде всего родовых старшин, являвшихся, возможно, самыми строгими радетелями старины, то есть тех укладов жизни, взраставших на началах миролюбия и добронравия, которые как раз и были прямым выражением естественного, эволюционного хода развития, и если бы не поводырский произвол, вторгшийся в эту естественную, эволюционную самобытность, мы жили бы сегодня совсем в иной цивилизации и не имели бы даже понятия о торжествующей ныне повсеместно на Земле системе господства и рабства, — да, как и всякая ломка коренных устоев народной жизни (подобно это и сейчас, что сегодня в очередной раз терзает Россию), классовое расслоение не могло не обернуться трагизмом для человечества, главным образом для простолюдинского большинства, и власть как новая ипостась в общественном бытии (как кровопийствующая надстройка), вышедшая победительницей из самого, может быть, кровопролитнейшего противостояния двух четко обозначившихся начал жизни, чтобы на века укрепиться в своих господских притязаниях, должна была прежде всего (если исходить даже из простейшей житейской логики) позаботиться о том, чтобы исторически смыть с себя пятно палача, то есть придать забвению все, что она творила с народом, народами и что грозило теперь неотступной злоедейшей тенью следовать за ее тронно-династическим

восхождением, а если подобное забвение окажется невозможным, то хотя бы придать означенному поводырскому переустройству некий исторически-благородный, естественный, а еще лучше, божественный характер, для чего и были задействованы сначала древнеегипетские оракулы и древнегреческие жрецы, соединявшие в себе одновременно и духовное, и научное начала, а затем религиозные деятели позднейших эпох, возросшие на постулатах оракулов и жрецов, и ученые мужи от пращурных до нынешних поколений, оказавшиеся столь же податливыми на тронхолюйство, как и святая, считающая себя безгрешной во всех отношениях Церковь. Итак, заказ был сделан (не в смысле отданных распоряжений, ибо власти-тели как тогда, так и теперь предпочитают, чтобы желания их предугадывались, и со щедростью обычно оплачивают подобные услуги), силы для исполнения предопределены, и дело теперь оставалось только за временем и мастерством, то есть за оракулами, жрецами, ревнителями языческих верований, апостолами фундаменталистских религиозных учений, а также за учеными мужами от перволетописцев и до нынешних иконостасно-пьедестальных светил, насколько искусно и в какие сроки они сумеют представить свои «исторические изыскания» на суд коронованных особ и дворцовой элиты. Процесс этот оказался настолько длительным и насыщенный своим религиозно-научным драматизмом, разгоравшимся в основном за первофаворитство в делах услужения тронам, что вполне бы мог стать предметом особого исторического исследования (разумеется, по степени влияния на ход развития человечества); растянувшись более чем на сто восемьдесят веков (по условному отсчету от эпохи Древнего царства, то есть от древнеегипетской первородности господства и рабства), процесс этот, как мы увидим ниже, до сих пор все еще так и не получил своего полного завершения, хотя все основные параметры его развития, точнее говоря, основные исходные точки или опоры, на которых возводилась и продолжает возводиться религиозно-историческая и научно-историческая (тронноугодная) ложь,— исходные точки или опоры остаются неизблемой основой всех стагнационно-прославляемых ныне начал нашего хищнического бытия. Тут я должен оговориться, что, поскольку рамки повествования не дают возможности углубиться в детали разбираемого процесса, что было бы и важно, и значительно, и интересно со всех точек зрения, ограничусь лишь изложением его стержневой заданности, что, впрочем, имеет свое «за» как метод исторического познания; в образном выражении процесс становления фундаменталистских религий представляется мне в виде ствола и разросшейся на нем кроны, создающей своей периферийной красотой впечатление величественности, умиротворенности, уюта, и мы, замороженно глядя на эту величественность и умиротворенность, забываем, что за проникновенно-обольстительной ее красотой, за таинственным шелестом ее ветвей и листьев, то есть за перезвоном церковных колоколов, молитвенными песнопениями, ритуальными службами, за перемигиванием зажженных свечей и лампад, золотоотливным блеском окладов и риз, собранных в иконостасы, и апостольски-страдальческими ликами святых, исполненными трагической сути дарованной Господом благодати, которую, впрочем, человечество должно еще заслужить беспредельным смирением и послушанием,— за всей этой повседневно умиротворяющей или по крайней мере должной умиротворять нас величественностью стоит, если посмотреть на оголенную основу древа, самая откровенная, переходящая из века в век политика подавления, закабаления, угнетения масс. Церковь и политика — явления вроде бы несовместимые; нам внушают это испокон веков, и мы давно уже не можем воспринимать окружающую нас действительность (в данном случае роль Церкви в общественном бытии), кроме как через призму этих внушений, полагая, что соприкасаемся с правдой, тогда как вместо правды перед нами всего лишь кронно-периферийный обман в сусальной, повторяю, оболочке величия, умиротворенности, уюта. Нам кажется, что через религиозные учения мы приобщаемся к величию Бога, в то время как всего только попадаем в его тень, теряя энергию жизни, волю, достоинство, и если в этой божественной затененности хоть что-то удастся нам узнать о себе и своем бытии, то символические познания тут же трансформируются в неизблемый образ «царствия Божия», то есть в то предполагаемое бессмертие, которого нет и не может быть в мире живых существ, но вера в которое как раз и позволяет мирить-

ся с земной (простолюдинской) страдальческой долей (вместо того чтобы умом, силой, волей отстаивать свои человеческие права). Историки и философы полагают, что мировое сообщество никогда не имело единой религии, что у разных народов и в разные эпохи возникали свои верования, окрашенные сугубо национальными особенностями, и что если и можно провести некоторую параллель между иудаизмом, буддизмом, христианством и мусульманством, то это лишь вполне объяснимая случайность, присущая многим и многим жизненным явлениям, возникавшим и умиравшим в процессе становления людских сообществ; что ж, возможно, светила знаний правы в своих утверждениях, но у меня складывается совсем иное впечатление, что, несмотря на разнообразие религиозных учений (что равно относится и к ушедшим в небытие языческим, и к ныне действующим фундаменталистским), все они произросли от одного корня, именуемого тронной заданностью, то есть поднялись на одном и том же замесе лжи, подслащенной миражным правдоподобием, а потому и рассматривать их нужно только как нечто целостное, представляющее собой однородный монолит канонизированных в божественные предначертания догм и постулатов. Мы глубоко заблуждаемся, когда полагаем, что религиозные верования возникли из потребностей людей найти разумное объяснение тому, что окружало их (что входило и входит в понятия «природа», «жизнь») и что представлял из себя человек в этом окружавшем его полном загадочных явлений мире, и поскольку человечество (во всяком случае, ученые мужи прибегают именно к этому обобщенному выражению) не обладало на тот период необходимыми знаниями, чтобы дать всему реалистическое толкование, то на этом-то рубеже незнания (рубеже первозданности) как раз и зарождалась вера в некое высшее существо, которое только и могло управлять процессами жизни. Разумеется, я не собираюсь отрицать этот ставший уже хрестоматийным «научный» постулат, хотя и построен он более на внешних признаках явления, чем на корневой основе, а хочу лишь заметить, что подобным упрощенным объяснением возникновения религий мы, во-первых, отнимаем у пращурных предков возможность реалистического восприятия и толкования действительности, в то время как факты истории говорят нам, что переход от естественного, эволюционного хода развития к революционным (рукотворным) преобразованиям, то есть к классовому расслоению, обернувшемуся для нас системой господства и рабства,— переход этот есть не что иное, как реалистически-жесткое проявление человеческого (поводырского) разума, и, во-вторых, если бы верования и в самом деле возникали лишь из народных потребностей, то и служили бы интересам народа, народов, тогда как прожитые века свидетельствуют, что не было и нет таких религий, которые бы, не фарисействуя и не лицемеря, служили простолюдинскому большинству, а не царским престолом или, если по нынешним временам, президентским и премьерским тронам. Да, история религий именно такова, хотя в канонизированном изложении и выглядит по-другому, то есть куда более героизированно-пристойной, чем сама божественная пристойность, и, разумеется, ни иудаизм, ни христианство, ни мусульманство, чьи святые не случайно же и сегодня стоят плечо в плечо на одной и той же палестинской земле (в конце концов о чем-то же должно говорить нам такое средоточие?), не только не помнят и не хотят помнить о своих изначально-родственных связях, но, напротив, словно монархи, бьющиеся за трон мирового господства, полны кровной, да, почти кровной непримиримости друг к другу (разве не об этом говорят бесчисленные религиозные войны или крестовые походы?), и непримиримость эта, в которую втягиваются обычно простолюдинские массы, оборачивается прежде всего трагедией для самих простолюдинских масс. Схватки религий за всемирный духовный престол есть не больше не меньше как зеркальное отражение схваток монархов за трон мирового господства, и точно так же, как монархи, действующие на одном и том же историческом поле, равны или уравниваются между собой злодейством целей и методов, так и религии, у которых и поле действий одно, и цели одни, и одни и те же (лишь с текстовым различием формулировок) методы насилия и закабаления,— религии еще более объединены и в своих намерениях, и в действиях, и какие еще нужны доводы, чтобы понять правоту высказанных здесь мыслей.

XX

Известно или по крайней мере принято полагать, что и Церковь, и науки равно претендуют на реалистическое толкование миробытия. Реализм по-церковному — это промысел Божий, реализм по-научному — это эволюционный (с вклинившимся в него революционным) ход развития человечества. Однако в любом толковании, хоть в церковном, хоть в научном, реализм предполагает прежде всего достоверность в изложении событий и несовместим ни с умолчаниями, ни с искажениями, ни тем более с каким-либо домыслом или вымыслом, и если бы спасители и пророки, то есть сочинители религиозных учений и светские летописцы, придерживались бы хоть в какой-то мере этих ими же провозглашенных правил, то человечество могло бы иметь действительно реальное представление о своем и природном бытии. Но реализм провозглашенный (хотя бы и в рамках промысла Божьего или в пределах научной шаблонизации) далеко еще не реализм действенный. Ведь если промыслом Божиим возможно, как утверждают церковники, объяснить все, что совершалось и совершается на Земле, то почему тогда всеми, да, именно всеми религиозными учениями оказался проигнорированным один из главнейших периодов нашей истории — период классового расслоения? Думаю, ответ следует искать в самих этих учениях, ибо религиозный фундаментализм, воспринимаемый нами в его нынешнем проявлении, как и любое событие современной жизни, имеет глубокие исторические корни, то есть по меньшей мере восходит ко временам древнеегипетских оракулов и древнегреческих жрецов, когда закладывались основы духовного порабощения, и хотя связь эта вроде бы незаметна и недоказуема, а точнее, не исследована, но она есть и проступает в единодушном умолчании первой и самой, может быть, революционной (ведь там, где насилие, там и кровь) за всю историю человечества перестройки в сфере общественных отношений и общественного бытия, положившей начало хищнической (фараоны и рабы, господство и рабство) цивилизации, хищническому миропорядку. В конце концов ведь в текстах религиозных учений не только нет ничего о классовом расслоении, но нет ничего и об оракулах и жрецах, которые, как уже говорилось выше, стояли у истоков зарождения всех ныне торжествующих духовно-фундаменталистских престолов, и подобная демонстрация безродности, когда предается забвению древо, взрастившее плоды отупления для масс, только сильнее оттеняет полную (тронно-заданную) безнравственность религиозных учений, их отношений к истории, к народу, которому за тысячелетия внушений смогли-таки навязать свою иезуитскую опеку, так что какое дело им до оракулов и жрецов, если сии прародители духовного насилия не укладывались или, вернее, противоречили замыслам Божьего промысла? Я говорю об этом потому, что древнеегипетские оракулы и древнегреческие жрецы, у которых имелись свои подобные предшественники, как раз и были тем древом, народившим горькие плоды духовного порабощения, кои затем, самоприумножась в потомстве, были поданы простолюдинскому большинству в виде деликатесных блюд на кровавом пиру жизни, и мы до сих пор вкушаем этот подслащенный яд рабства, восходя народами, да, целыми народами на Голгофу с распятыми на хребтах, дабы, приняв мученическую смерть, возродиться к новой и уже вечной (в благодати) жизни. Однако история свидетельствует, что ни один народ, если не считать израильского, расселившегося на обетованных землях, — ни кельты в Европе, уничтоженные захватнической алчностью Рима, ни коренные жители Америки, павшие под пушками нахлынувших покорителей (беру только эти крупные примеры из новейших времен), — да, да, ни один из стертых с лика Земли народов, поднятых на крест с благословения или в лучшем случае при молчаливом согласии отцов Церкви, не вернулся ни к новой, ни к старой жизни, и если о чем-то и можно вести здесь разговор, то лишь об индугированности на столетия и тысячелетия вперед смертных приговоров, выносившихся нациям, государствам, цивили-

зациям, встававшим на пути продвижения фараоновских державников к мировому господству. В простонародье говорят «лиха беда начало», и это аксиоматическое выражение с полным основанием можно отнести и к древнеегипетским оракулам, и к древнегреческим жрецам, ибо именно они заложили в основу всего будущего религиозного фундаментализма право на безнаказанное (под прикрытием постулата о промысле Божьем) искажение истории. Ученые мужи полагают, что служители древних храмов были людьми независимыми и действовали, лишь исходя из своих интересов, когда конъюнктурно, то есть за определенную мзду, возвеличивали своими пророчествами одних монархов, главным образом устремленных к мировому господству, и обрекали на бесслаvie и смерть других, потерявших или только еще должных потерять престол, и подобным вмешательством в межцарские распри невольно будто бы влияли на ход исторического развития. Возможно, если глубокомыслие ученых мужей, извлекаемое ими из поверхностных наблюдений, признать за истину, все так и было, хотя корни оккультизма, и это теперь уже подтверждено историей, всегда были переплетены с корнями тронов, так что провозглашавшаяся независимость была лишь видимым проявлением той предполагаемой божественной власти, какой безудержно самонадеялись служители древних и древнейших храмов, тогда как в действительности они находились в прямой и строгой зависимости не столько даже от коронованных особ, сколько от системы господства и рабства, в которой, и они хорошо сознавали это, была отведена им своя почетная (для исполнения порабощительской воли монархов) ниша благоденствия, и святители лишь отработывали своими пророческими вещаниями полученное ими «доходное место» в набиравшем силу хищническом (см. Аристотеля) мироустройстве. Здесь я вновь (для подтверждения высказанной версии) должен обратиться к судьбно-рубежному периоду в нашей истории — классовому расслоению, которое во времена Древнего Египта, то есть в те самые времена, когда устанавливалась фараоновская власть на нильской земле и когда как насущная потребность этой устанавливавшейся власти в духовной обработке масс начали возникать, соперничая между собой, оракулы-предсказатели, самовозлагавшие на себя миссию посредников между людьми и Богом, монархами, Богом и людьми (позднее движение это преобразовалось в свято-могущественные предсказательные центры, ибо разрозненное служение тронам не устраивало и не могло устроить коронованных особ), — да, именно в те отстоящие теперь от нас почти на две сотни столетий времена, когда еще только складывались институты государственности, спаянные ныне в единый державный механизм насилия, в народной памяти еще свежи были воспоминания о кровавом переустройстве жизни; они звучали в живых пересказах, передавались через предания и легенды, а ведь память народа, народов — это не что иное, как суммированный трагизм поколений, эстафетно передающийся из столетия в столетие, и неспроста многие историки и философы относились и относятся к преданиям и легендам куда с большим доверием, чем к рукописным свидетельствам, ибо не монархи с окружающей их дворцовой элитой, а именно народ несет в себе историческую правду веков. Оракулы и жрецы, если бы они в своих святонаставлениях были искренними и независимыми (ведь они не просто вещали, возвеличивая или обесславливая тех или иных монархов, то или иное явление, но закладывали, четко следуя своей заданности, основы религиозных учений и научного толкования мира), то не могли бы не обратить внимание на жившую в преданиях и легендах народную память; но они словно по сговору, а возможно, и в самом деле по тихому, неоглашавшемуся сговору между собой и тронами проигнорировали этот достоверный источник предшествовавших эпох, и такой их поступок нельзя объяснить только житейской, скажем так, забывчивостью или безразличием к рабскому положению простолюдинского большинства; во дворцах шли бесконечные царские разборки, народы, ведомые тиранами, нападали на наро-

ды, заливая землю и наполняя реки кровью, разрушались самобытные цивилизации, целые людские сообщества загонялись в беспросветную кабалу, над хижинным пространством Земли стоял неумолчный стон, и вся эта гнетущая атмосфера человеческого бытия, несомненно, была хорошо известна служителям храмов, то есть самопоименованным вещателям божественных истин, и если при этом они оставались безучастными, то есть слепыми и глухими к страданиям масс, то причину такого их поведения следует искать не иначе как в прямой и жесткой зависимости от тронных особ и насаждавшегося этими особами хищнического мироустройства. По сути дела, оракулы и жрецы действовали заодно с властью, точнее, выполняли тронный заказ по историческому, я бы так охарактеризовал это явление, обелению и возвеличиванию коронованных особ, кроваво пометившихся и на рубеже классового расслоения, и в стагнации порожденной этим кастовым разобщением системы господства и рабства, и все то, что пращурно закладывалось ими в основу будущего религиозного фундаментализма, ставшего уздой и ярмом для простолюдинского большинства, как раз и является той изначальной ложью, на которой взросли и затем пышно расцвели непревзойденные по скрытости и последовательности своего обмана как религиозные, так и научные (светские, мирские) толкования человеческого мироустройства. Из вышесказанного можно сделать вывод, что оракулы и жрецы были первыми, кто, отступив от правды истории, проигнорировал в своих святовещаниях, предназначенных одновременно и государям, и народам, период великой ломки самобытных (эволюционных) основ жизни людских сообществ, когда предавался забвению идиллический и утверждался хищнический миропорядок; возможно, они приложили усилия и к тому, чтобы все видимые и невидимые улики, которые могли бы напоминать человечеству о жесточайшей драме веков (главным образом о кровавых деяниях правителей), были до предела сивелированы на историческом и текущем пространстве Земли (что, впрочем, и было блестяще выполнено ими и что к тому же доказывает их прямую тронную запрограммированность); они же, то есть мудрецы древнейших времен, которым и впрямь не откажешь в мудрости (хотя понятие это вроде бы несовместимо с троннохолопством), были первыми, кто задался целью (во исполнение дворцового заказа) вытравить из народной памяти все, что вызывало или могло вызвать ностальгическое возбуждение, и вложить в сознание простолюдинских масс страх и смирение перед божественным началом жизни. К такому выводу, думаю, может прийти каждый, кто возьмется судить о роли оракулов и жрецов не по отдельно провозглашавшимся ими святопостулатам, обремененным своей по тем временам великой и невеликой значимостью, а по общей (итоговой) направленности их действий, закреплявших вечное господство за поводырящими особами и вечное рабство за простолюдинскими массами.

XXI

Нам давно уже кажется вполне правомерным, что в историю развития человечества, как, впрочем, и в истории большинства отдельно взятых (главным образом европейских) людских сообществ, положена фактически история одного народа, некогда вышедшего из Египта на обетованные земли и давшего миру великую (от древнеегипетского первородства, ибо неспроста определенными силами безудержно и доньше прославляется нильская земля, представляющая собой стойбище фараоновских пирамид) культуру и великую (от того же первородства) цивилизацию. Иногда историки и философы, особенно новейших времен, позволяют себе вспомнить об этом странном явлении, согласно которому жизнь одного, да, именно одного библейского народа по каким-то вроде бы необъяснимым, а точнее, трудно объяснимым причинам была признана истоком и центром чуть ли не общевселенского просвещенного бытия (возможно, сей «научный» постулат о народе ведущем и народах ведомых как раз и подтолкнул

Гегеля к мысли, достойной аристотелевского звучания, будто человечество и по сей день разделено на исторические и неисторические сообщества, то есть на тех, кто закладывал основы современного, читай, хищнического мироустройства, и тех, кто не признавал новый порядок, противился и продолжает активно противиться ему), — да, время от времени ученые мужи современности действительно-таки обращаются к этому основополагающему, как гласит официальная историография, и весьма и весьма щепетильному вопросу, но по свидетельству самой же исторической науки дальше констатации факта никто так и не осмелился продвинуться в своих исследованиях. Однако вопрос этот отнюдь не риторический, поскольку именно в ответах на него скрывается историческая участь народов, чья жизнеспособность всегда зависела, как зависит и сегодня, от того, в какое положение ставятся эти народы: в положение ущербности, превосходства или равенства, при котором любой национальный уклад жизни одинаково признается легитимным, ценным, значимым и соответственно легитимными, ценными и значимыми признаются национальные истории как стертых с лица Земли, так и ныне здравствующих пока еще людских сообществ. Но равенства нет, а есть лишь превосходство, в какое испокон самопоставил себя библейский народ (именно тем, что, сохранив в письменном виде свою национальную историю, сумел, не без насилия над самобытными культурами других народов, придать ей общечеловеческое звучание), и есть положение ущербности, неполноценности, в каком оказались, в сущности, народы почти всех континентов (по отношению к библейскому), у которых путем насилия и истребления было отнято их историческое прошлое и взамен выдана история чуждых и во многом весьма сомнительных библейских скитаний, история далеких и жестких в своих проявлениях царств и царствований, представляющих собой единую и бесконечную цепь дворцовых тяжб, разборок и переворотов, из которых обычный, нормальный человеческий разум может воспринять только, что смысл жизни таится в непримиримо-кровавых схватках за богатство, славу и власть и что взаимоотношения между людьми и людскими сообществами находятся в прямой зависимости от «золотого тельца», который, как ни стараются церковники принизить и опорочить его, вступив в господство над душами, обстоятельствами, веками, эпохами, эрами и подменив Бога, то есть Творца «тверди и хляби» в его вселенских полномочиях (по крайней мере такой вывод напрашивается при малейшем сравнении реальной действительности с ее религиозным толкованием), сумел проникнуть своим развращающим меркантилизмом в святилища и храмы и обратить служение Господу в механизм личного и кланового обогащения. Такое именно впечатление оставляет Библия после ее прочтения, считающаяся одновременно и главнейшим летописным памятником истории (всемирной, разумеется), и дарованным Богом «Священным Писанием», что в общежитейском восприятии может или скорее должно означать, что «Книга книг» является отправной точкой как в реалистическом (научном) толковании миробытия, так и в божественном, символическом ее представлении, и мы, придерживаясь этого трафаретного мышления, уже не задумываемся над истинным значением сего «памятника веков» в судьбах личностей, народов, государств. Но если разобраться, то историческая ценность «Книги книг» состоит не в том, что она повествует о сотворении мира и человека, снимая тем самым вопрос о действительно реальных истоках земного (людского и природного) бытия, и не в том, что в ней канонизированы в божественные постулаты самые насущные житейские истины, всегда, как и теперь, составлявшие смысл и цель народной жизни, а в том, что она документально или почти с документальной достоверностью (Ветхий Завет) зафиксировала события тех первых после классового расслоения веков, известивших мир о пришествии хищничества (пришествии фараоновской державности), в мясорубку которых, как соучастники прелюдии к стовосьмидесятилетней общечеловеческой драме, были втянуты сперва народы восточного Присредиземноморья, то есть тех самых обетованных земель, коим как раз и суждено было, может быть, именно из-за этой мясорубки обрести некую всемирную святость и

стать изначально притягательным центром зарождения осознанной человечеством жизни и всеохватной теперь цивилизации. Хотим ли, не хотим ли мы признать это за истину, вещающую о библейском первородстве всех основополагающих явлений общечеловеческого бытия, но одно остается несомненным — зеркальная, можно сказать и так, или почти зеркальная достоверность в изображении тех драматических страниц «библейской истории», с которых, возможно, и следовало бы вести отсчет всех страдальчески прожитых и проживаемых нами в кабале и насилии столетий и тысячелетий. И все же, какой бы откровенной ни была старозаветная библейская правда, она не может подменять собой истории других народов — уже потому, что эти другие (в том числе или, вернее, прежде всего славянский), отрезавшиеся от своих корней и загонявшиеся в прокрустово ложе мировой библейской истории, были не наседающей, а обороняющейся стороной; они гибли, обращались в рабов, как обращаются в рабов и нынешними преемниками фараоновской державности, а это уже драматизм иного порядка, о котором летописцы истории, как и философы, ориентированные на героизированный царско-библейский или библейско-царский эталон изначально будто бы человеческого бытия, предпочитают либо не вспоминать, словно такового никогда не было, либо, если невозможно ограничиться приемом умолчания, лишь упоминают о нем, как о некоем не имеющем исторической значимости явлении. Как видим, научный историзм здесь вплотную смыкается с библейским, что как раз и позволяет ученым мужам сводить национальные истории народов к одному и з б р а н н о м у истоку жизни и цивилизации — кроваво-поводырским героизированным деяниям библейских племен. За бортом внимания и Церкви, и мужей науки остается еще одно обстоятельство, которое прямо указывает на односторонность или, вернее, половинчатость библейского реализма, вбравшего в себя лишь события постклассового периода и ни с какой стороны не затронувшего ни доклассовый период, ни само классовое расслоение, которое и доньше остается явлением неисследованным, кладезно таящим в себе разгадку всех наших эпохальных неурядиц и бед, но мне не хотелось бы вторично вступать здесь в подробности, о которых уже достаточно говорилось выше (и что, разумеется, характерно не только для христианского учения); важно понять другое: что подтолкнуло составителей Ветхого Завета к реалистическому изображению тех событий, о которых писали они еще по свежим, как говорится, следам; думали ли, как отзвонят их реализм, подслащенный героизацией поводырских деяний, когда канонными постулатами выйдет на проторы столетий, наконец, предполагали ли, что то, что создается ими, будет затем, через тысячелетия, положено в основу всемирной истории (к примеру, творение Блаженного Августина, в течение семи веков преграждавшее путь к познанию истинных истоков человеческого бытия), или в помыслах их теплилось только одно стремление — запечатлеть для потомков эпоху «великих» битв, побед и поражений, дабы бесследно не канули в Лету славные и бесславные «подвиги» монархов и введомых ими народов? Если их летописным пером действительно закладывалось будущее человечества, то следует признать, что пращурные провидцы эти были и впрямь наделены сверхчеловеческой (в пользу своих национальных интересов) дальновидностью и сверхчеловеческой же (по отношению ко всем другим народам, прозябавшим в своем идиллическом бытии) зловещей мудростью, во что, однако, трудно поверить; думаю, мудрость их ограничивалась своим временем, то есть, с одной стороны, целями хищнического (фараоны и рабы) мироустройства, уже тогда стремительно расплзавшегося по просторам не только присредиземноморских, но и европейских земель (опять же см. Аристотеля), а с другой — еще не утраченным в холуйском прислуживании чувством человеческого достоинства, о котором, кстати сказать, нынешние иерархи от исторических, философских, теологических знаний едва ли имеют хоть какое-либо понятие, и обстоятельства эти, предстающие перед нами сегодня в образе Сциллы и Харибды, как раз и принудили пращурных (библейских) перволетописцев искать выход в некоем эталонном уже для нас сочетании правды с целенаправленным, извращающим

эту правду вымыслом; чтобы соблюсти, скажем, хотя бы видимое достоинство, они отдали должное реализму, а чтобы ублажить требования властей предержавших (требования хищнического мироустройства), не могли не сделать реверанс в сторону тронов, то есть не обратить в героизм кровавые «подвиги» царствовавших особ, и, возможно, именно это, когда силовым поводомством покрывалась и оправдывалась драма народа, народов, и позволило последующим поколениям иерархов от светских и духовных престолов положить в образец истории человечества эпоху изначальных схваток за богатство, славу и власть библейских племен.

XXII

Библия для христиан — это святая книга, написанная будто бы не людьми, но ниспосланная свыше (как Коран для мусульман, буддийские религиозные письмена для буддистов и т. д.), а поскольку ниспослана свыше, то и все в ней (особенно что касается общественного устройства, основанного на божественной предначертанности господства и рабства), — все в ней обретает значение закономерности жизни, и мы, связанные, в сущности, по рукам и ногам этой закономерностью, никак не можем понять, что никто и ничего не посылал нам с небес, но что все, что окружает нас как в сфере светской, так и в сфере религиозной жизни, пропитанной от корней до листвы хищничеством, является плодом человеческой деятельности, не имеющей отношения ни к высшему разуму, то есть Богу, если таковой вообще существует, ни к естественному, эволюционному ходу развития, о чем на протяжении ста восьмидесяти веков твердят иерархи от религиозных и научных престолов. Положив в свое время на алтарь жизни идею революционного переустройства мира (как видим, волей-неволей опять приходится возвращаться к периоду классового расслоения), человечество, ведомое иконостасно-пьедестальными поводьями, в сущности, заложило первый камень в основание всеохватной, образно говоря, Бастилии, в казематы которой заточались и продолжают заточаться личности, народы, государства лишь за единственную провинность — стремление к самобытности и свободе. Я ничего не преувеличиваю и не преуменьшаю, все это более чем подтверждается исторической и текущей действительностью, и то, что французы по кирпичику разнесли ненавистную им тюремную цитадель, еще не означает, что освободили себя и мировое, как теперь полагают все, сообщество от фараоновского господства и рабства; нет, не освободили, а разве лишь с демагогической трескотней, гильотинным ужасом и неисчислимыми (безвинными) жертвами продемонстрировали известный в противостоянии народов и властителей сизифов труд, который оказался столь же бессмысленным и безрезультатным для простолюднского большинства, как и предшествовавшие, служившие лишь отправной точкой к еще более жесткому и бесчеловечному угнетению масс. В конце концов если Французская революция что-то и дала миру в политической, экономической и духовной сферах жизни, то лишь все тот же абсолютизм власти, но сконцентрированный теперь уже не в личностях монархов, а в руках финансово-промышленных олигархических кланов и групп, почти уже вступивших на трон мирового господства, так что простолюднскому большинству пора уже осознать, что Бастилию общественных отношений, укоренявшуюся в течение ста восьмидесяти веков дворцовыми и храмовыми державниками, невозможно разрушить лишь лозунговыми призывами к растаскиванию кирпичей; стены сей крепости, в которой заточены сегодня почти все народы Земли, возводились не столько на материальной, сколько на духовной основе (вспомним: «В начале было Слово»), а ведь убиение плоти никогда не влекло за собой убиение духа, идеи, идеала; люди, подымавшиеся на борьбу с властью, смещали и казнили властителей, веря, что именно таким действием смогут навсегда избавиться от тиранства; но тиранство, как феникс, вставало из пепла, ибо идея, или суть, власти, заряженная алчностью и насилием, оставалась жить, витать в воздухе, вырвавшись за пределы дворцов и храмов, и порождать новых и новых диктаторов и тиранов, деяния которых кровавыми кольцами десятилетий, столетий, эпох, эр продолжают и сегодня наслаиваться на стержень исторической жизни людских сообществ. У древа власти, как и у всего сущего на

Земле, есть своя корневая основа, и сколько ни ломай с этого древа веток и ни срывай листьев, ствол только ускоренней будет обрастать новой ядовитой кроной; так происходит в природе, так происходит и в общественной (рукотворной) жизни народов, с той только разницей, что о природном явлении все мы еще с пращурных времен хорошо осведомлены, тогда как во взаимоотношениях народа и власти, насчитывающих десятки и более тысячелетий, подобное же явление остается незамечаемым, главным образом со стороны простолюдного большинства; властители, когда им не удастся принудить тот или иной народ к покорству и рабству, лишают его самобытности, подрубают его исторические корни и доводят до уничтожения (таким образом фараоновские державники, как уже говорилось выше, обошлись с италиками, кельтами, бриттами, франками, индейцами Северной и Южной Америки и теперь намереваются обойтись со славянством); они стараются подрубать под корень основы народной жизни и действуют в этом направлении осознанно, жестко, если не сказать большего, в то время как простолюдины в борьбе за свои права и интересы не идут дальше обламывания веток, оставляя стержневую и корневую основы нетронутыми, и от этих основ, как от некоего витающего в воздухе идеала, разрастается с новой силой крона фараоновской (господство и рабство) державности. Могущество власти всегда прямо пропорционально ее силовым (армия), духовным (религиозные учения, Церковь, культура) и научным (история, философия, теология как поставщики обелительной исторической лжи и точные науки, разрабатывающие оружие истребления) возможностям, и если уж противостоят тронам, то борьбу надо начинать не с растаскивания кирпичей, как поступили французы, обобщив бессмысленный опыт предшествующих поколений, а с развенчания навязанных мировому сообществу ложных (политических, исторических, философских) идеалов человеческого, но, по сути, античеловеческого бытия. Религия (религии) — это не духовная потребность народов, а силовая потребность власти, и если исходить из такого исторического посыла, вытекающего из возможностей хищнического мироустройства, то все церковные толкования сотворения мира и смысла человеческого бытия, в которых человеку отводится роль раба Божьего, — толкования эти отнюдь не покажутся простым заблуждением пращурных пастырей, ибо именно они с течением веков приняли на себя миссию глашатаев слова, способного предвредить или, скорее, не столько даже предвредить, сколько оправдывать деяния кумиров-поводырей, и слово это, исходившее будто бы из божественных и академических истин (церковные иерархи, как и всегда, мнили себя только посредниками между людьми и Богом, а ученые мужи — археологами естественных догм), — слово это категоричной оценкой прошлого (чаще всего кровавого прошлого), похвалами настоящего, один к одному повторявшего деяния отцаривших свое поводырей, и предреканием столь же «прекрасного», исполненного всеобщего благоденствия будущего, да, да, слово это, как тысячелетний указатель движения (движения в стагнационный тупик), предвредило и продолжает предвредить ход, если, конечно, так можно выразиться, развития людских обществ. Но можно на это же явление посмотреть с другой стороны: властители творят историю (в соответствии со своими тронными интересами), церковные и научные толкователи придают этим деяниям смысл узаконенных либо божественным промыслом, либо естественным течением жизни свершений, и действенным итогом такого манипулирования исторической реальностью или, вернее, в результате такого (кстати, тщательно скрываемого от простолюдинов) манипулирования хищническая система господства и рабства обретает значение образца, значение идеала великой и цветущей (хотя бы и в посулах) цивилизации. Если поддаться религиозным внушениям, обрушивающимся на нас с церковных кафедр (речь идет главным образом о фундаменталистских верованиях), как, впрочем, и толкованиям ученых мужей человеческого миробытия, то окажется, что мы живем одновременно и по Божьим предначертаниям, и в соответствии с естественными (природными) законами развития, что в переводе на житейское восприятие означает, что если за всем сущим на Земле присматривает Бог, то творящееся с нами и вокруг нас творится с Его ведома, и не нужно сомневаться, что зло в конечном ито-

ге (власть, если по Иисусу Христу) будет подавлено и повсеместно восторжествуют добро и благоденствие (не успокоительный ли это «золотой сон» для человечества?), и соответственно если становление общественных отношений и общественного бытия идет в русле естественных закономерностей, как предлагают толковать хищническое мироустройство и всю нашу хищническую цивилизациюистики и философы от древнейших и до нынешних времен, то тем более ни отдельным людским сообществам, ни мировому сообществу в целом нет нужды сомневаться или хоть в чем-либо обвинять себя. Да, если поддаться этим религиозным и научным внушениям, то все мы должны осознавать себя не иначе как существами (Божьими ли, природными ли), находящимися под опекой добрых сил (в конце концов ведь ни Бог, ни природа не могут вредить своему детищу — человеку и человечеству), но, увы, управляют нами далеко и далеко не добрые (от Бога ли, от природы ли), а злые, то есть рукотворные (от произвола поводырского разума) силы, мы просто-напросто закольцованы в систему господства и рабства, и не из потребностей народного бытия, а из алчных потребностей тронов, и не живем, нет, в прямом понимании этого слова, а лишь подчиняемся продиктованному нам фараонами хищническому миропорядку, лишившему нас главного права — права на свободу и самобытность развития.

XXIII

Гегель считает, что движущей силой человеческого развития является свобода, тогда как и историческая, и текущая действительность показывают, что стремление к свободе есть только результат эпохально усиливавшегося (от времен фараоновских пирамид) закабаления личностей и народов, и чем основательнее и круче оно велось, тем с большей силой возникало стремление к свободе, выражавшееся в бессмысленных бунтах (вместо того чтобы подрывать под корень ненавистную власть) или в никчемной, но воинственной (интеллигентский вождизм или плутонародничество) риторике; люди явились и продолжают являться на свет как свободные существа, и если затем приходится им стремиться к свободе и бороться за нее, то это может означать только одно, что она была отнята у них, причем отнята насильственно и не по некоему «Божьему предначертанию», то есть не некой потусторонней дьявольской силой, а вполне реальными, земными притеснителями в коронах и нимбах, положившими в основу своего дворцово-храмового благоденствия систему господства и рабства. Чтобы править миром (а к этой цели стремились и продолжают стремиться все правители, начиная от древнеегипетских времен), надо было прежде всего психологически, нравственно надломить человечество, и сделать это можно было только с помощью духовного насилия, то есть с помощью так называемых религиозных и научных внушений (соответственно: исторической лжи и церковных устрашений), и две эти составляющие единого механизма власти, совершенствуясь в столетиях и тысячелетиях (разумеется, не в стержневой заданности, которая всегда оставалась, как остается и теперь, неизменной, а в хамелеонной перекройке и окраске прикрывающих стержневую основу одежд), — эти составляющие единого механизма власти, всю жизнь, начиная с классового расслоения, сопровождающие человечество, сегодня столь же четко различимы (к сожалению, только не для историков, философов, теологов) на фоне текущего (просвещенного, демократического, как мы называем его, — термины-то какие!) бытия, как различимы были и во времена древнеегипетских фараонов, и во времена библейских царств и царствований, и во времена Греческой и Римской империй, кровавую эстафету которых после европейских королевских дворов надежно перехватили и удерживают у себя в канун третьего тысячелетия нашей эры Соединенные Штаты Америки. Такова история народов и государств в ее истинном, очищенном от героизированных наслоений проявлении, и в этом бесконечно-драматическом застойном заливе дворцового торжества и хижинного бесправия иерархии от церковных и мирских толкова-

ний жизни как прокладывали, так и прокладывают заданный им и не раз презадававшийся затем коронованными особами (в том числе и современными фараоновскими державниками) глубинный фарватер к трону мирового господства. История становления религий в их нынешнем фундаменталистском варианте, как и история становления власти (становления тронов, думаю, почти уже подошедшего к заветной черте — мировому господству), является, может быть, одной из главнейших составных всемирной истории человечества; она отмечена тремя крутыми поворотами: от племенного шаманства к межнациональным и межгосударственным центрам оракулов и жрецов, затем от них к языческим верованиям, которые уже целиком охватывали людские сообщества, а от них к еще более жестким, если не сказать порабощительским (фундаменталистским) религиозным учениям, — такова по крайней мере стержневая основа исторического становления религий, равная или почти равная (по воздействию на жизнь) стержневой основе становления власти, хотя нельзя исключить и всевозможных побочных проявлений, отличавшихся самобытностью ритуалов, но действовавших в русле однородной дворцовой заданности. Однако ни одна из ныне действующих фундаменталистских религий не признает исторической связи не только с пращурным шаманством, действовавшим в упряжке с вождями племен, или оракулами и жрецами, сумевшими наложить свой кровавый отпечаток как на эпоху Древнего царства (Египет), так и на эпоху Великой Греческой империи и греческих городов-полисов, но и связи с язычеством — прямым прародителем всех или почти всех религиозных конфессий, что, кстати, наглядно подтверждается преемственностью многих ритуалов; не признает в силу разных причин, которые, с одной стороны, продиктовывались и продиктовываются обстоятельствами, в свою очередь вытекавшими и вытекающими из всеторжествующей системы господства и рабства, ибо всякий, кто хотя бы словом осмеливался противостоять ей, отправлялся в небытие (в конце концов ведь и правители, и церковники во все времена любили поизощряться в казнях над еретиками и бунтарями), а с другой — в силу престижных интересов самих религий, каждая из которых и сегодня предпочитает считать себя самой главной и самой правоверной, напрямую связанной с Творцом «тверди и хляби», позвякивающим ключами от дверей рая и ада. Как видим, религии прибегают к самоотречению от своих исторических истоков (исторических корней) неспроста; в противовес действительной истории, то есть в противовес истине, они выставляют историю божественную (историю промысла Божьего), в которой, по сути дела, сами предстают перед миром (разумеется, через свои учения) и зачинателями, и последователями высшей предначертанной святости, и выходит, что все, что было, скажем, до Рождества Христова, — ничто и лишь с явлением ЕГО (явлением четырех Евангелий) людям открылась сущая правда. Так по крайней мере предлагается нам воспринимать христианство, и мы, может быть, к нашему величайшему изумлению, настолько проникаемся религиозным видением истории, что даже отдаленно не осознаем, чем в действительности оборачивается для нас такое оскопленное познание жизни. Что при этом обретают церковники и властители, действующие в монолитном согласии, и что теряют простолюдины, затаенно внимающие храмовым проповедям (как когда-то внимали предсказаниям оракулов и жрецов), думаю, нетрудно догадаться; за бортом простолюдинского сознания остается все то, что могло бы приоткрыть завесу над кровавыми страницами изначального противостояния народа и власти и привело бы к мысли, что не всегда жизнь определялась системой господства и рабства, что человек изначально был свободен в своих житейских проявлениях и что, может быть, самое главное — отшел бы от себя «божественную предначертанность» хищнического мироустройства как дворцово-храмовую ложь, придуманную и внедренную в сознание простолюдинского большинства иерархами мирских и церковных престолов для своего благоденствия. Именно эта истина, которая

могла бы поднять любого раба или народ, обращенный в рабство, с колен и вдохнуть в него веру в достоинство и волю,— истина эта целенаправленно и упорно как бы вымарывалась, да, вымарывалась, если не сказать большего, из истории развития человечества, а потому и возвышенная до божественной предначертанности фараоновская система господства и рабства, благотворящая в пределах дворцов и храмов, продолжает и сегодня лишь усиливаться в могуществе своей власти. Теперь давайте посмотрим, что говорят по этому поводу историки и философы. Они не отрицают (в отличие от церковников) преемственную связь между шаманством, оракульскими и жреческими пророчествами, язычеством и религиозным фундаментализмом (с чего, собственно, начинается да чем и заканчивается их реализм), ибо для них она столь же естественна, как и во всех других сферах человеческого бытия; в ступенчатом развитии, то есть в движении от пращурной упрощенности к насыщенному догматами и постулатами совершенству (шаманы обращались к добрым и злым духам, а мы молитвенно к Святой Троице — Богу-отцу, Богу-сыну и Святому Духу), ученые мужи видят лишь подтверждение своей формулы, по которой количество всегда переходит в качество, и я отнюдь не собираюсь здесь подвергать сомнению эту некогда открытую наукой закономерность, которая если и не во всем, то по крайней мере во многом подтверждается как естественными, природными явлениями жизни, так и рукотворным (в политической, экономической, социальной и нравственной сферах) ходом развития, но хочу только заметить, что к становлению религий от примитивного шаманства к высокоорганизованному религиозному фундаментализму она не имеет никакого отношения. Не имеет потому, что, во-первых, ни шаманство, ни оракульство, ни язычество нельзя отнести к разряду «количественных накоплений» по отношению, скажем, к буддизму, иудаизму и тем более к христианству и мусульманству, духовная экспансия которых, распространяясь по миру, накрыла уже более двух третей человечества (в конце концов ведь совершенно очевидно, что и в теоретическом плане, и по охвату простолюдинских масс ранние религиозные верования несоизмеримо уступают нынешним колоссам веры), и, во-вторых, самое простое сопоставление пращурного тронхолопства с нынешним, современным, показывает, что в стержневой основе духовного пастырства не произошло никаких изменений; отправители культа как стояли, так и продолжают стоять на страже тронных и своих интересов, и нет никаких признаков, чтобы отцы Церкви повернулись лицом к народу, народам. Как видим, ученые мужи в своих якобы научных толкованиях о сути и корнях религиозных верований не так уж и далеко отошли от Церкви; они точно так же искажают историю, как и духовные наставники (духовные пастыри) народов, и мы уже говорили, к чему приводит искаженное видение истории. Сознательно или неосознанно (я более склоняюсь к тому, что сознательно) ученые мужи кладут в основу своих исторических построений ничем не подтвержденный (кроме страха перед стихией) ложный посыл, будто религиозные верования возникли из потребностей народной жизни, тогда как в действительности они возникли из алчных потребностей тронов, и доказательством такого видения событий является то, что ступенчатость развития религий один к одному совпадает со ступенчатым развитием и совершенствованием фараоновской системы господства и рабства и усилением власти как ведущей составной общественной бытия.

XXIV

Религия, культура, науки (просвещение) — три составные духовного развития человечества; но в то же время принято считать их неотъемлемой частью общенародного бытия (в житейском толковании и восприятии они представляются нам, с одной стороны, неким механизмом, прорубающим путь к всеобщему прогрессу и процветанию, а с другой — оберегателями и защитниками именно народного бытия, древних самобытных народных тра-

диций и нравственных ценностей), — три эти составные нашей жизни куда в большей степени, чем это можно предположить, являются первозданно-неотъемлемой частью тронной (от времен классового расслоения, времен фараонского державного абсолютизма) власти. Пращурные предки наши, открывшие для себя возможность безнаказанного насилия человека над человеком, людей над людьми, народов над народами, достаточно быстро усвоили, что для того, чтобы получить превосходство, нужно обладать властью, которая, в свою очередь, может добываться и удерживаться либо грубой (что характерно для раннего периода) силой, то есть мечом, беспощадностью и жестокостью (что и было впервые испробовано на древних египтянах), либо внушениями, то есть словом, приравненным к божественному изречению (власть Бога — это, дескать, не земная власть, ибо она милостива, но и беспощадна), и в соответствии с тем, как распространялась и укреплялась среди людских сообществ фараоновская державность, представленная и древнеегипетской системой господства и рабства, распространялись и совершенствовались, идя бок о бок с властью, изначальные (шаманство, оракульство, язычество) верования, сообразовавшиеся с наслоением эпох в могущественный религиозный фундаментализм, культура, так и не вышедшая за пределы дворцов и элитных кланов, мнящих и ныне себя единоличными знатоками, носителями и выразителями общечеловеческих ценностей; науки, главным образом историческая и философская, обращенные в перманентных поставщиков лжи, и просвещение как средство (средство новейших времен) тронно-угодной обработки масс. Родовых старшин, вождей племен вполне удовлетворяло (применительно к их кругу властных полномочий) шаманство, они еще не задумывались о государственном устройстве бытия, когда все средства жизнеобеспечения, включая и людские ресурсы (человеческий фактор, как теперь принято говорить) сосредоточиваются в одних руках, и тем более не помышляли о мировом господстве; они находили достаточным тот уровень воздействия на поработанных соплеменников, который не выходил за рамки колдовских плясок у ритуальных костров, и пляски эти под бубны и с определенными, нужными наставлениями служили им тем «божественным кодексом» послушания и смирения, который тогда уже, то есть изначально, нес в себе все основополагающие догмы и постулаты будущих фундаменталистских религиозных учений. Я уже не раз говорил выше, что все в мире имеет свои либо явные, либо скрытые истоки, как это, например, сегодня четко просматривается в случае с властью. Семья власти, оплодотворенное классовым расслоением, упав на благодатную вождистско-шаманскую почву (да, собственно, и к классовому расслоению человечество пришло через укоренившийся вождистский амбиционизм), не могло не прорасти сначала зачатками тронного могущества, а затем не сообразоваться в фараоновский державный абсолютизм. Фараоны, создав Древнее царство на нильской земле (первой обетованной земле, на которой явились сии «славные» праотцы хищнического мироустройства), уже не могли видеть в шаманстве того «кодекса» послушания и смирения, каким вполне удовлетворялись родовые старшины и вожди племен; абсолютизм власти, с каким они восседали на престоле своего царства, требовал иных рычагов духовного (религиозного) воздействия на поработанных простолюдинов, чтобы удерживать их в послушании и смирении, и, поскольку у престола не было достойных или, вернее, соответствовавших государственности фундаменталистских учений, решение этого вопроса на первом этапе развития фараоны приняли на себя; они просто-напросто самоназвались «детьми неба и солнца» (что, кстати, соответствовало их статусу пришельцев-завоевателей), то есть, по существу, полномочными предствителями Бога среди землян, а чтобы не выглядеть самозванцами, то есть чтобы легитимировать свое небесное происхождение, они понимали, нужна третья сторона, которая, общаясь с Богом, подтверждала бы (ежегодно, ежедневно, ежечасно пусть хотя бы и своими загадочны-

ми пророчествами) их божественное начало, и такой третьей стороной явились (будто бы сами собой, из потребностей народной жизни, как утверждают историки и философы, старающиеся обелить все поводырско-рукотворное, зловеще определявшее и продолжающее определять ход человеческого развития) известные в истории древнеегипетские оракульные центры (один к одному скопированные затем древнегреческими жрецами). Более сорока веков фараоны правили в Египте, и во все эти века абсолютного господства власти («век богов» — по изречению оракулов) и абсолютного рабства для простолудинских масс, отмеченного оракульским умолчанием, стагнационность античеловеческого мироустройства надежно обеспечивалась (о чем как раз и свидетельствуют века) симбиозом дворцово-силового (меч) и дворцово-духовного (слово, наполненное божественным смыслом) механизмов устрашения и подавления; но, как и на переходном рубеже от родовых и племенных отношений к фараоновскому державному абсолютизму, то есть к государственному устройству бытия (что являлось и является прежде всего насущной потребностью тронов, их поводырско-амбициозным замыслом и свершением), когда явный, вызывающий абсолютизм господства для царствующих особ и столь же явный, вызывающий абсолютизм рабства для простолудинских масс начал уже изживать себя и на смену ему на горизонте общественного бытия замаячил более совершенный, иными словами, скрытый за риторикой о всеобщем благоденствии все тот же фараоновский (по стержневой заданности) державный абсолютизм, на свет рождается язычество, которое хотя еще и не знаменует собой божественный прообраз государственности, но в то же время являет (по распространению или, вернее, по охвату масс) зачатки того организующего (из дворцов и храмов) властного начала, которое затем, сообразовавшись в догматы и постулаты фундаменталистских религиозных учений, войдет канонной основой в буддизм, иудаизм, христианство, мусульманство и станет духовной опорой новейших (с теми же тиранскими амбициями) фараоновских державников, устремленных к мировому господству. Период язычества так же неохватен, как и периоды оракульта и шаманства; его можно было бы обозначить рамками становления и расцвета Греческой и Римской империй; ведь олимпийские боги есть то же язычество, обросшее и наполненное мифологическими героями, представленными, однако, не деревянными и каменными идолами, а в образе людей, наделенных полномочиями миловать и карать, причем карать с жестокостью как личности, так и народы, государства за поступки, перечисляемые божественным «олимпийским установкам»; так действовали языческие Боги в Греции, и так же, переименовавшись, поступали в Риме, и за всеми языческими ритуалами, а их было достаточно и большинство из них носило общенародный характер,— за ритуалами этими, как некая предгрозовая насыщенность воздуха, уже просматривались кровавые контуры грядущих тысячелетий. Предчувствие есть знак истины, которому мы, впрочем, за века исторических испытаний так и не научились доверять. Все, чем обозначится затем новая эра: кострами средневекового церковного мракобесия (действие, направленное на истребление мыслящего потенциала европейских народов, подлежавших, подобно древним египтянам, фараоновскому порабощению), крестовыми походами, наводившими ужас на всех, кто оказывался на пути этих благословленных ватиканскими понтификами рыцарей крови, наживы и смерти, бесчисленными дворцовыми переворотами, знаменовавшими собой передел богатств, славы и власти, грандиозными и тихими, скрытыми, подковерными, как мы могли бы сегодня назвать их, религиозными противоборствами, стоившими народам неисчислимых жертв, локальными и мировыми войнами, сопровождавшимися революциями и братоубийственными побоищами,— все, все это, чему мы теперь оказались свидетелями, если придерживаться строго реалистических позиций, уже тогда не было предчувствием, а вытекало из вполне очевидных симптомов хищнического мироустройства, но голос

разума, как и сегодня, был настолько задавлен политической, экономической и социально-нравственной атмосферой жизни, нагнетаемой, с одной стороны, деяниями правителей, а с другой — догматами и постулатами религиозных и научных толкователей (лжетолкователей) процессов бытия, что не мог возвыситься над бесчинствовавшей в своих устремлениях к мировому господству фараоновской державностью. Так можно ли после этого говорить о некоей безобидной, даже будто бы защитной для народов исторической роли религиозных и академических воззрений? Ни шаманство, ни оракульство, ни язычество, от которого оставался только шаг до религиозного фундаментализма, не были верованиями с государственной значимостью; они не объединяли народ в некую однородную, подчиненную единым нормам послушания и смирения массу, но оставляли как личностям, так и людским сообществам пространство для проявления своего «Я» (в отличие, скажем, от христианства или мусульманства, в одночасье обративших свободный люд в «рабов Божьих»), и это явилось той главной причиной, из-за которой разразившийся державный абсолютизм был вынужден отказаться от услуг язычества и открыть двери своих приемных нарождавшемуся (и тоже будто бы из потребностей народного бытия, как утверждают иерархи Церкви и науки) религиозному фундаментализму.

XXV

Историки, философы и теологи считают, что язычество было отвергнуто человечеством потому, что оно не несло в себе никакой истины, а только вносило в умонастроения людей разброд и сумятицу, что было вполне закономерным для эпохи варварства, но что оказалось совершенно противопоказанным для новейших просвещенных столетий; что касается теоретической логики, то все в этом построении событий кажется верным и неоспоримым, кроме разве что одного — что считать веком варварства: фараоновский державный абсолютизм, господствовавший более четырех тысячелетий на нильской земле, но тогда язычество только зарождалось и главными духовными тронопособниками выступали оракульские и жреческие храмовые центры; период Греческой и Римской империй, когда вместе с расцветом цезарской власти достигло своих наивысших высот разбираемое здесь верование, — и что считать веком просвещения: когда римские полководцы, истребляя кельтов, завоевывали для себя Европу, или когда Карл Великий, создав на развалинах Рима свою «Священную Римскую (Европейскую) империю», двинулся походом на славянские земли и положил тем самым в основу пятнадцативековой политики европейских держав идею притеснения и истребления славян; столетние войны европейских королевских дворов, захватнические походы Наполеона, Гитлера, византийскую, а теперь еще и американскую духовные экспансии, нацеленные на полное искоренение славянской национальной самобытности, — да, да и еще раз да, что именно считать «веком варварства» и что «веком просвещения», если в общественных отношениях и общественном бытии на протяжении всех этих столетий и тысячелетий неизменно торжествовала, как торжествует и сегодня, признающая великой фараоновская система господства и рабства? Ученые мужи никак не отвечают на этот вопрос, поскольку никогда и не ставили его перед собой в такой плоскости; во взглядах на эпоху варварства и эпоху просвещения они до сих пор обнаруживают тот двойной подход (сегодня, впрочем, особенно широко и, я бы сказал, беспардонно применяемый во всех сферах общественного бытия), согласно которому то солидаризируются с церковниками, считающими, будто все, что было до «явления Христа народу», нельзя называть иначе чем веком варварских заблуждений и что только с принятием христианства для людей наступил «век просвещения», то вдруг, словно спохватившись, что наука предназначена для выполнения реалистической миссии, опускают разделительную планку чуть ли не ко временам классового расслоения, относя к дикости и варварству все, чем характе-

ризовались общественные отношения в доклассовый период, а к эпохе просвещенного бытия, естественно, то, что проявилось в устоях жизни после классового расслоения (система господства и рабства, хищническое мироустройство) и готовится еще проявиться (мировое господство под верховенством клана фараоновских державников, и мировое — по примеру Древнего царства — закабаление поголовно для всех простолюдинов Земли), если человечество не образумится в своих потаканиях поводярыским деяниям и не вернется к реалистическим оценкам исторической и текущей действительности. Церковники в предложенной ими разделительной версии были столь категоричными, что в свое время настояли вести летосчисление просвещенного бытия от Рождества Христова, тогда как ученые мужи, не опровергая церковников, называют истоком цивилизации (истоком просвещенного мира) Древний Египет, Древнюю Грецию и Рим, то есть как раз те тысячелетия и столетия, когда языческие верования, выплеснувшись за стены оракульских и жреческих храмов, достигли наивысшего расцвета в своем ливрейном прислуживании тронам, и вся парадоксальность этого разночтения состоит в том, что научная версия, ведущая отсчет нынешней цивилизации от фараоновского Египта, никак не согласуется с религиозной, берущей начало от Рождества Христова, но вместе с тем обе они продолжают существовать как равноправные истины и воздействовать на неосведомленные, тысячелетиями удерживавшиеся в историческом невежестве массы простолюдинов. Мне, например, совершенно непонятно, почему на эту очевидную парадоксальность (очевидную ложь) никто всерьез не обращает внимания; ведь если язычество, то есть варварство в церковном толковании, достигло расцвета в период Греческой и Римской империй, то чем тогда объяснить наше преклонение перед государственными и культурными достижениями (ценностями) этих империй? Со времен Древнего царства и до нынешних мир не внес ничего существенного в навязанную человечеству систему господства и рабства; фараоновская державность только совершенствовалась, и параллельно с ней совершенствовались оракульские, жреческие, языческие верования, выстилая дорогу религиозному фундаментализму, так что процесс развития религий, как и процесс развития человечества, не был ни ступенчатым, ни тем более разделенным на некие замкнутые в самих себе эпохи, или эры, как преподносят это церковные и академические светила; они дробят монолит жизни потому, что расчлененную правду всегда легче подменить вымышленным правдоподобием, беззастенчиво ссылаясь при этом в одном случае на промысел Божий, а в другом — на некие академические доказательства, тогда как в реальной действительности историческое и текущее бытие народов может делиться лишь на период естественного и период рукотворного (от произвола поводярыского разума) развития, да и то с оговорками, поскольку именно из доисторического вождизма и шаманства возникли и монархизм, и государственность по-древнеегипетски, то есть все то, что сегодня окружает нас на уровне как личной, так и общественной жизни. Ни церковники, ни ученые не затрагивают в своих трудах сути этого перманентного явления (по вроде бы непонятным, но, в сущности, вполне понятным причинам), хотя суть эта предельно проста; для того, чтобы в наилучшем виде подать «просвещенное» бытие (между прочим, каждая эпоха объявляет себя «просвещенной» по отношению к уходящей в небытие), надо было противопоставить своему тронному хищничеству нечто более жестокое и ужасающее, и таким противопоставлением, таким пугалом для человечества было объявлено доклассовое развитие; в трактовке религиозных учений подобная разделительная черта, мы видим, поднята на уровень возникновения религиозного фундаментализма, и если сравнить научное и церковное толкования, то нетрудно убедиться, что обе эти ветви «познания» действовали по одному и тому же сценарию и не оглядывались на историю, ибо мера искажения исторических фактов для них не имела никакого значения, они исходили из своих интересов, кровно повязанных с интересами тронов, и

таким образом с каждой новой эпохой человечество в познании своего миробытия лишь все больше отдалялось от истины и погружалось в трясину исторических тупиков, искажений, вымыслов, домыслов и откровенной лжи. Для чего нужно было так запутывать и оглуплять народы? Думаю, точнее всего может ответить на этот вопрос сама жизнь, поделенная (насилственно поделенная) на дворцовое барство и хижинное бесправие; ложь научная состоит в том, что доклассовый и классовый периоды развития, названные соответственно дикостью, варварством и просвещением и должны знаменовать собой восхождение человечества к прогрессу и процветанию, в исторической действительности не только не знаменуют вышеназванного движения (я имею в виду общественные отношения и общественное бытие, то есть степень не столько социальной, сколько нравственной удовлетворенности жизнью), но, напротив, если и говорят о чем-либо имеющем историческую значимость, то лишь о падении людских сообществ с высот естественного первозданного, идилического — «славные Гипербореи» — бытия в рукотворный хаос хищнического миропорядка, где правит сила (сила меча, сила слова, возведенного в разряд либо божественных, либо академических истин) и где уже почти ничего человеческого не осталось по отношению к личностям, народам, государствам, континентам. За века, за тысячелетия человечество оказалась словно бы выветренной из человечества; выветренной дуновением хищничества, вспыхнувшего на рубеже классового расслоения и докатившегося до нас уже могучим торнадо, устелив землю на своем сквозьэпохальном пути пепелищами городов и цивилизаций, но мы и сегодня делаем вид, что все эти рукотворно-разрушительные смерчи, терзавшие и продолжающие терзать людские сообщества, были не то чтобы неизбежными (битвы, битвы, битвы, обозначившиеся теперь полями великих побед и великих поражений), но, как доказывает наука, поднимали погрязшее в трясине варварства человечество с коленей на ноги и выстилали ему дорогу ко всеобщему благоденствию. Да, именно эта мысль лежит в основе научного толкования истории и, тысячекратно внушенная нам, заставляет нас верить, что пещерный век, а таковой был, этого никто не может отрицать, — что пещерный век был веком звериных отношений между людьми и людскими сообществами и что лишь с появлением государственности, то есть с возникновением Древнего царства, а по сути, с возникновением господства и рабства (вспомним: Древний Египет — «заря человечества»), начинают упорядочиваться общественные отношения и общественное бытие, иными словами, берет старт эра цивилизации. Я ничего не убавил и не прибавил к той стержневой основе, на какой выстроена признающаяся сегодня большинством человечества всемирная история, и если говорить об идентичности ее с исторической действительностью, то совпадающими точками (или вехами, или узлами) будут только хронологические даты событий, но не глубинное толкование их природной (естественной) и рукотворной (от произвола поводырского разума) заданности; возможно, я ошибаюсь, но у меня создается впечатление (после двадцатипятилетнего знакомства с вариантами всемирной и нашей, национальной истории), что ученые мужи больше всего боялись и боятся отступить от логической стройности в своих изложениях, нежели от реальной действительности, которая исторически и сиюминутно окружает нас, и одним из примеров такого академизма как раз и служит возведенная в догмат «научная» характеристика доклассового и классового периодов развития человечества.

XXVI

Да, сегодня мы вполне можем констатировать, что в написании всемирной да и национальных историй ученые мужи более всего боялись отступить от логики понятий, чем от логики жизни. В их фундаментальных трудах чаще всего фигурируют лишь два ориентира (или две вехи, или два понятия), которыми знаменуются периоды развития человечества: варварство и про-

свещение или же идентичные им эпохи пещерного, то есть дикого, и цивилизованного бытия, и при этом их не озадачивает то обстоятельство, что весь нравственный потенциал людских сообществ, то есть вся сохранившаяся в душах людей тяга к равенству, братству, согласию, миролюбию, добронравию, наконец, к стабильности и основательности жизни, зарождался и складывался именно в начальный, пещерный, как именуют его, период развития, когда все эти качества, или критерии, или общечеловеческие ценности, если в современном выражении, только и позволили людям сохраниться и выжить в суровых условиях природных катаклизмов (именно эти условия, приводимые Аристотелем, позволили великому греку назвать человека «существом общественным») и что в так называемый период «цивилизованного» развития, обусловленного войнами, нашествиями, порабощениями, не созидался, а только размывался весь накопленный за тысячелетия опыт идиллической — еще раз повторю: «славные Гипербореи» — жизни; размывался безнаказанностью власти, разбоев, грабежей, насилия, когда фараоновская идея господства над египтянами обретала вселенский размах, поводырствующие особы объединялись в могущественные кланы, на века закрепляя за собой право тиранства, но ученых мужей, самообъявивших себя непрерываемыми толкователями человеческого миробытия, не смущало и не смущает, что светлое в развитии людских сообществ (доклассовый период) они называют черным, а черное (цивилизацию от древнеегипетского первородства) светлым, ибо распространявшаяся ими ложь не затрагивала и не затрагивает их тронно-прихлебательских интересов, а что до народа, то они никогда не считались, как не считаются и сегодня, с его страданиями, тяготами, заботами, нуждами. Постоянство, с каким ученые мужи отторгают простолюдинское большинство от созидательного процесса истории (хотя вернее было бы сказать — разрушительного, в каком простому люду отводится обычно роль кровавых, да, именно кровавых исполнителей), имеет, разумеется, свои основания, и одним из таких оснований служит небезызвестное нам сегодня заложничество; еще на заре Древнего царства фараоны Египта, поставив науку, а вместе с ней и культуру на службу трону, сделали их заложницами режима, и этот статус с веками перерос в заложничество всего торжествующего ныне хищнического — господство и рабство по типу «фараоны и рабы» — мироустройства, и подконтрольное состояние это (тронно-подконтрольное) стало настолько естественным и привычным, ибо, по сути дела, мы все являемся сегодня заложниками навязанного человечеству хищнического миропорядка, что никому и в голову не приходит именно с этих позиций посмотреть на деятельность ученых мужей, как, впрочем, и на обслуживающую дворцы культуру. Однако я не склонен отбрасывать и другое обстоятельство, которое, складываясь веками, оказывало и продолжает оказывать воздействие на историческую ориентацию не только простолюдинов (хотя на них прежде всего), но и ученых мужей, коим, несмотря на их академическое величие, не чуждо, надо полагать, ничто человеческое. Ведь мы приучены к тому, что за каждым понятием, и тем более историческим, стоит определенная картина жизни, и когда слышим: «древность», «дикость», «пещерный век», то в воображении сейчас же возникает известный нам до мелочей образ именно первобытной, пещерной жизни, и мы чувствуем себя настолько убежденными, будто знаем истину, что всякая попытка изменить что-либо в этой «истине», то есть всякая попытка обратиться к действительным реалиям пещерного бытия, вызывает если не протест, то, во всяком случае, полное недоумение. Думаю, ученые мужи (хотя они стоически будут опровергать это) в той или иной степени поддаются под магнетизм определенных, ими же самими выдуманных понятий, и если доклассовый период развития припечатан трафаретом «пещерное бытие», то и все связанное с толкованием этого периода не может выходить за рамки опять же трафаретно представляемой нами действительности. Точно таким же воздействием обладает и понятие «цивилизация», и ученые

мужи, а вслед за ними и мы все, произнося это слово, связываем суть его не с тем, что в действительности происходит и происходило с нами и вокруг нас как в плане сиюминутного, так и в плане исторического бытия, а с навязанными нам (главным образом политиками, историками, философами) миражными представлениями о близком и возможном всеобщем благоденствии. Принято говорить, что наука не терпит лжи. Да, не терпит, кроме, разумеется, исторической и философской, которые, готов снова и снова повторять, выстраивались и выстраиваются исходя из логики понятий, а не из логики жизни, то есть по принципу умозрительности, когда достоверным признается не то, что было в реальной действительности (независимо от того, каким понятием обозначена эта действительность: веком просвещенного или пещерного существования), а только то, что выстраивается в логический ряд от определенной заданности. Так обстоит у нас дело с «научным» познанием человеческого мироустройства, но что же религия, открывает ли она путь к истине или, напротив, перегораживает его стеной своих божественно-неколебимых постулатов и догм? Ответ на этот вопрос могут дать сами религиозные учения, ибо они в той же мере, что и историческая и философская науки, основаны на магнетическом воздействии понятий. Если хищническое мироустройство альтернативой своим кровавым деяниям положило «пещерный век», соответственно оболгав и, по сути дела, изничтожив его, то христианство, к примеру (беру эту ветвь религиозного фундаментализма только потому, что она более близка и понятна мне), противопоставило своему «божественному началу» все, чему люди поклонялись до «явления Христа», и, обобщенно (и пренебрежительно) назвав древнейшие верования язычеством и наслонив на них все возможные и невозможные человеческие пороки, то есть буднично говоря, оклеветав (по аналогии с пещерным бытием), приступило к их повсеместному искоренению. Процесс этот мало изучен и еще менее описан в истории, поскольку новая вера, как предвестница всеглобального религиозного фундаментализма, оказавшись по локоть в крови (ведь главным методом насаждения религий всегда было насилие), не могла в запятанном виде предстать перед миром, и, чтобы обелить себя, ей нужно было как можно сильнее опорочить религиозные верования прошлого, то есть найти или изобрести свой для альтернативы «пещерный век», и такой альтернативой как раз и явилось язычество. С тех пор (может быть, потому, что борьба с язычеством, точнее, с остатками его еще продолжается) оно настолько пополнилось отторгающими людей от него неближцами, что независимо от того, что мы знаем о язычестве, упоминание о нем неизменно пробуждает в нас близкую к пещерному бытию картину, и мы уже не спрашиваем себя, что же на самом деле представляло собой это верование, как, впрочем, и словам «христианство» и «мусульманство» однозначно придаем равное или почти равное значение с понятием «цивилизация». Конечно, людям свойственно поддаваться магнетическому воздействию слов, понятий, явление это естественное, и для чего-то оно было выработано человечеством; но вместо того, чтобы исследовать природу и установить действительное его предназначение (в идиллические времена, во времена справедливости и реализма магнетическое воздействие слова наверняка играло положительную роль), явление это под воздействием вступивших в права хищнических начал бытия было и наукой, как мы только что выяснили, и религией использовано против человека и человечества: в науке — ложью о пещерном существовании и восхвалительной клеветой о благах «цивилизации», в религии — оговором языческих и обожествлением фундаменталистских религиозных учений и верований. Я не хочу заниматься здесь риторикой, а потому и не спрашиваю себя, для чего это было сделано; в истории на сей счет имеется достаточно много различных высказываний, и если по стержневой основе подытожить их, то окажется, что почти все они сводятся к одной мысли: чем меньше простой люд знает о себе и о своем прошлом, тем легче удержи-

вать его в повиновении и рабстве; такого мнения в свое время придерживался Аристотель, а позднее (и уже более откровенно) его последователи: Кант, Гегель, Ницше, вторившие иконостасно-пьедестальным полководцам, царям, императорам да и властителям нового порядка, возводящим экономические барьеры на пути простолудинского большеинства к достойному образованию; как видим, слова тронных особ и философов в данном случае не расходятся с делом, как они не расходились и во все предыдущие времена, и деятельность ученых мужей и церковников в познании человеческого миробытия служит, может быть, самым веским и неоспоримым подтверждением изложенных здесь соображений.

XXVII

Ложь научная в толкованиях пращурного да и сиюминутного бытия носит долговременный характер, ибо воздействие ее сказывается через века, а иногда и через тысячелетия, да и то в том недоказуемом вроде бы варианте, в каком она сегодня живет с нами, в нас и стагнирует, да, именно стагнирует (не только в нравственной, но и в экономической и политической сферах) навязанную человечеству фараоновскую систему господства и рабства; ложь религиозная или, я бы сказал, религиозное насилие (порабощение) связано с явлением очевидного порядка, поскольку искоренение язычества, то есть развязанная борьба с ним, во-первых, носила кровопролитный характер, и, во-вторых, вместе с язычеством истреблялась и национальная самобытность народов. Фараоновская державность, однажды вышедшая из обглоданного ею Египта на обетованную землю (т. е. в Переднюю, или Малую, Азию) и затем, обогащенная этим первым опытом, кинувшаяся распространяться на новые и новые подобные обетованные земли, царским, да, можно сказать и так, обозом перетаскивала за собой всю оформившуюся еще в Древнем Египте структуру власти, в которой главными приоритетами были, если исключить чиновничество, армия, религия, культура; дремавшие в своем доклассовом идиллизме народы, как пишут о том историки и философы, не представлявшие себе размаха накатывавшихся на них бедствий, если и оказывали сопротивление новой (хищнической) системе общественных отношений и общественного бытия, то оно было столь разрозненным, что не могло противостоять ни силовой, ни главным образом духовной (и задолго обычно предварявшей силовую) экспансии, и, по сути дела, державники от древнеегипетского первородства (в предшествующей книге об этом подробно уже говорилось) вели вроде бы незаметный (под шапкой естественности процесса), но глубоко продуманный, планомерный захват власти на всех обживаемых ими обетованных землях, то есть осуществляли программно заложенный на тысячелетия оккупационный захват власти, и наука и Церковь в этом захвате, как, наверное, и было заказано им, с полным, можно сказать, достоинством исполнили свою зловещую роль. Однако чем же все-таки провинилось язычество, на которое так гневно ополчились поборники фундаменталистских религий? Думаю, причина кроется в двух вполне реальных обстоятельствах: с одной стороны, недовольство правителей тем, что язычество трудно было приспособить к нуждам тронов, ибо оно не содержало по своей заданности государственной идеи, которая отождествляла бы земную власть с божественной и подкрепляла бы ее (что как раз и было позднее предоставлено христианством и мусульманством), а с другой — именно отсутствие государственной идеи делало верование более мягким и приемлемым для народа; язычество было жизнеутверждающей, веселой религией, максимально предоставлявшей простому люду свободу и жизненную самостоятельность в отличие от тех же христианства и мусульманства, обративших человека в «раба Божьего», и такое положение опять же не устраивало правителей и подталкивало их к реформаторству веры, то есть к созданию такой системы духовных (религиозных) ценностей, которые соответствовали бы государственным (поработительским) потребностям тронов,

и, надо сказать, религиозный фундаментализм не заставил себя долго ждать. Он явился из недр язычества и не одно, не два десятилетия пробивался со своими почти немыслимыми по тем временам услугами ко всевластным тогда римским императорам, и прошло почти два с половиной столетия, прежде чем император Константин, видевший, что удерживать силой плебеев (особенно в провинциях) в смиреннии и послушании было неэффективно и разорительно, решил принять предлагавшиеся ему новой верой услуги и дал возможность христианским проповедникам развернуться сначала на просторах своей империи, а затем и в других землях и среди других народов, населявших Европу. Рубеж этот я бы назвал вторым (после классового расслоения) масштабным бедствием человечества. Язычество, чьи религиозные (духовные) ценности складывались тысячелетиями и представляли собой неотъемлемую часть самобытных культур народов, было уничтожено, по сути дела, в одночасье (если, конечно, рассматривать те кровавые столетия через призму спрессованного наложения эпох); теперь трудно судить, что заставляло светских и религиозных поводырей того времени так поспешно и безжалостно калечить не судьбы личностей, нет, а судьбы народов, ибо, когда у людей отнимается их привычный ритм жизни, их традиционный уклад, основанный на вполне определенных духовных (религиозных) ценностях, народ опустошается, он как бы теряет сердцевину жизни и превращается либо в безвольное и послушное стадо «Божьих овецек» (чем не подарок тронам?), либо угасает и исчезает, чему в истории масса примеров, — да, да, теперь вроде бы трудно судить, к чему нужны были поспешность и насилие в насаждении христианства и мусульманства, если фундаменталистские учения выставляли идеалом своим «спасение» человечества? Сегодня мир в основной своей части разделен на христиан и мусульман (хотя к фундаменталистским учениям относятся также иудаизм и буддизм, но они стоят несколько особняком и носят — особенно иудаизм — либо замкнуто-национальный, либо замкнуто-клановый характер), эпоха сопротивления религиозному насилию вроде бы преодолена, но получившие или, вернее, вошедшие в «спасительную» веру народы, обрели ли они то, что было обещано им этой верой? Нет. Стали ли они более свободными, жизнерадостными, счастливыми? Нет. Потеряв исконную (национальную) самобытность, народы оказались в том страшном положении растерянности, в каком обычно пребывают люди, стоящие перед обгоревшими останками своих жилищ; пока придет осознание, кто и для чего обратил в прах их мирное, размеренное бытие, пройдут века, и все эти века, потраченные не на жизнь, а лишь на восстановление жизни (восстановление под милосердной дланью «Господа нашего»), не только не принесли желанных результатов, но уподобили человечество преступнику, которого перед казнью заставляют рыть для себя могилу. Чем больше народы призывались к смирению и послушанию (перед властителями, ибо любая власть, как утверждают церковники, от Бога, странно забывая при этом другую евангельскую заповедь, что «любая власть есть абсолютное зло»), тем глубже разрасталась могила, в которую укладывались и продолжают укладываться обобранные до нищеты и поставленные в разряд третьестепенных народы и государства. Что касается подтверждений, то лучшим доказательством здесь может служить вся наша стовосьмидесятилетняя история «цивилизованного» бытия. Наверное, наложение эпох притупило в нас остроту пережитого человечеством процесса охристианивания и омусульманивания народов, так что сегодня едва ли кому-то под силу представить всю трагическую масштабность происходившего, то есть весь объем тех страданий и утрат (жертв), коими были оплачены миражные посулы «спасительных» религиозных учений. Теперь говорят, что фундаменталистские религии несли свет и пробуждение народам, и вердикт этот, из столетия в столетие навязываемый нам и должный вроде бы подкрепляться показателями жизни простолюдинского большинства, подкрепляется пока что лишь риторическим — и в хрис-

тианстве, и в мусульманстве — возвеличиванием своих верований по отношению к мрачным языческим заблуждениям. Думаю, возвышать одну религию за счет унижения другой — дело неблагодарное, бессмысленное и порочное; однако церковники, как мне кажется, не случайно в основу своих учений положили борьбу с инаковерием; этим самым, с одной стороны, они открыли для себя возможность к безграничному (и беспардонному) охаванию всех предшествовавших верований (ведь все, что произносится «Божьими устами», нельзя подвергать сомнению), а с другой — безграничному же прославлению своей святости, и смиренные массы прихожан, подпадая под магнетизм этого эмоционально расписанного векового противоборства добрых и злых начал, да, да, именно добрых и злых, настолько проникаются смыслом, а вернее, бессмыслицей этого бутафорского противоборства, что у них уже не хватает сил всерьез задуматься над политической, экономической, социальной и нравственной заданностью христианства ли, мусульманства ли, да и вообще о предназначении религиозного фундаментализма. Язычество осуждается в основном за ритуал жертвоприношений. Конечно, отрезать головы животным или людям на жертвенниках иначе как дикостью не назовешь, но ведь подобные ритуалы в язычестве были явлением разового порядка, тогда как христианством и мусульманством приносились (особенно в средние века) да и приносятся в жертву уже не отдельные личности, а целые народы (вспомним хотя бы костры инквизиции или крестовые походы, варфоломеевскую ночь или турецко-армянскую резню, когда мусульмане-турки вырезали — от старого до малого — православных армян); такое истребление иноверцев вроде бы несовместимо с понятием «жертвоприношение», но разве от этого меняется суть явления, если убийство за веру считалось и считается богоугодным делом; и если сложить разовые (язычество) и массовые (христианство и мусульманство) уничтожения себе подобных, то сравнение окажется далеко и далеко не в пользу фундаменталистских религий. Наверное, здесь следует сказать и о том, что традиция жертвоприношения — это не просто религиозная традиция, она уходит корнями в глубокую древность, к шаманству, когда вера в Бога была верой не в некоего очеловеченного Небесного Вседержителя, представленного сонмом олимпийских светил или пророками Христом и Магометом, а верой в силу и возможности необъясненных природных явлений, властвовавших над человеком, и жертвоприношения носили искренний характер. Но со временем, на исходе шаманства или на рубеже становления оракульта и жречества, приношение даров богам незаметно, будто само собой (хотя за этим «само собой» явно просматривается определенная рукотворная заданность) трансформировалось в приношение даров служителям культов, и вместо овец, быков и человеческих жизней, в умерщвлении которых открывалась бессмысленность, стали преподноситься дары совсем иного свойства, имевшие определенные материальные, художественные, эстетические ценности. Все они также предназначались Богу: бедные люди, искавшие сострадания, несли в храмы свои скудные пожитки; богатые, жаждавшие искупления, отписывали церквям и монастырям порой целые состояния — капиталы, земли, имения, крепостных, драгоценности, но до небесного адресата, естественно, дары эти не доходили, а оседали в храмах и служили источником прямого (почти царского) обогащения. С появлением фундаменталистских религий эта традиция начала приобретать массовый, вернее, массово-поборочный характер, народы, вогнанные в христианство и мусульманство, оказались, если смотреть реалистически, под двойной данью: силовой, или тронной (налоги царские, государственные, давно уже именуемые в народе рэкетирскими поборами), и духовной (церковные дары и подношения, которые собирались вроде бы на добровольных началах, но в то же время носили и продолжают носить утонченно-принудительный характер), так что, думаю, не фундаменталистским религиям судить язычество за жертвоприношения. Ведь почему-то богатеют дворцы и храмы, и на фоне их златокупольства и златофасадства до сих

пор в неизменном убожестве пребывают хижины, благоуспыпленные в своем историческом и религиозном невежестве.

XXVIII

История свидетельствует, что почти все социальные, политические, экономические, нравственные переустройства жизни, когда-либо происходившие после классового расслоения, осуществлялись с некой словно бы странной поспешностью, чаще всего либо ограничивавшейся рамками десятилетий, столетий (в зависимости от масштабов затевавшихся правителями авантюры), либо выходившей за пределы даже тысячелетий, как было в случае, когда естественные закономерности, по которым человечество «прозябало», да, будто бы «прозябало» в своем пращурном «идиллизме», заменялись рукотворными, в каких оно «процветает», да, будто бы «процветает» на протяжении вот уже более ста восьмидесяти веков. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что речь пойдет здесь лишь о событиях классового периода, то есть о тех известных в истории переустройствах жизни, которые не только не затрагивали основ навязанного людским сообществам хищнического миробытия (господство и рабство, фараоны и рабы), но, напротив, расширяли и укрепляли древнеегипетскую систему общественных отношений, позволявшую всем приходившим и торжествовавшим на Земле тиранам, как, впрочем, торжествующим и теперь, удерживать в сквозной нищете, приумножая ее, простолюдинские массы. В официальной историографии об этих событиях — дворцовых переворотах, бунтах, восстаниях, революциях, творившихся (как, впрочем, и все захваты и перезахваты власти) в условиях абсолютной поспешности, — сказано, что они якобы обусловлены определенными обстоятельствами, которые обобщенной сутью своей сводятся к рентабельному или нерентабельному использованию производительных сил. Обезземеленные, лишенные даже самых элементарных человеческих прав еще со времен Древнего царства, эти самые «производительные силы», в сущности, были лишены стимула к эффективному труду и, пребывая в таком положении, становились будто бы тормозом государственного, общественного и личного (семейного) развития; так будто бы пал рабовладельческий строй (разумеется, лишь в представлении историков и философов), затем феодальный уступил место (по тому же сценарию) капиталистическому, а капиталистический, в свою очередь, некому социально справедливому, как истолковывают его академические авторитеты, демократическому укладу, в котором наконец-то все вроде бы водворится на свои места, капиталы уже не знают национальных границ и десятикратно приумножаются на обезличенных просторах континентов (что, по мнению дворцовых элит, означает, будто хотя и с трудностями, но человечество все же нашло нужный вариант эффективного, то есть высокорентабельного, использования производительных сил), а тысячекратно обманывавшееся простолюдинское большинство пребывает, по сути дела, и сегодня в том же рабском состоянии, в каком в свое время пребывали древние египтяне, задавленные фараоновской державностью, но ни религиозные деятели, ни иерархи от исторических и философских наук никак не желают замечать этих главнейших показателей жизни. Из сказанного можно сделать вывод, что есть так называемые научное и религиозное представления о человеческом бытии (человеческой истории), и есть действительность, которая никак не состыковывается с толкованиями ученых мужей и церковников. Несостыковка эта настолько очевидна, что, казалось бы, лишь полный профан может не замечать этого прямого и откровенного обмана, пользуясь которым, властители только и делают, что переводят простолюдинское большинство из одного рабского положения (при смене формаций) в другое, сказочно приумножая при этом могущество дворцов и опуская почти до нулевой отметки бесправие и убогость хижин. Почему такое возможно? Думаю, мы сталкиваемся здесь с тем же явлением, о котором гово-

рилось выше, — магнетическим (или гипнотизирующим, можно и так) свойством понятий, с помощью которых можно определенным образом манипулировать умонастроением людских масс, когда достаточно лишь, не меняя стержневых основ бытия (в данном случае основ хищнического мироустройства), переписать фасадные вывески и насытить их обновленной будто бы (миражной) полнотой жизни, как в обеспокоенных простолюдинских массах вновь словно бы встрепенется уверенность в будущем, то есть в правоте избранного ими варианта переустройства. Рабовладельческий строй (в представлении внушенных нам подобных истин), оказывается, совсем не то что феодальный, а феодальный — не то что капиталистический, как, впрочем, и капиталистический — совсем не то что социально будто бы ориентированный демократизм, возносимый ныне на высшую ступень человеческого развития; по крайней мере так объясняют нам наше историческое и текущее бытие академические светила; но если взглянуть на происходившее и происходящее реалистически, то окажется, что все названные ступени развития нанизаны на один неизменный стержень фараоновской державности, ибо если при рабовладельческом строе взаимоотношения властей и народа складывались по формуле «рабовладельцы и рабы», то в период феодализма эта формула преобразовалась в понятие «феодалы и крепостные», то есть исчезли дискредитировавшие будто бы миропорядок слова «раб» и «рабовладелец», тогда как суть господства и рабства осталась неизменной. Эра капитализма и наступающая эра социально ориентированного демократизма характеризуются точно такой же метаморфозой; в первом случае — капиталисты и наемные рабочие, то есть та же система властелина и раба, позволяющая одним наживаться и править, а другим, простолюдинам, пребывать в нищете и бесправии, во втором случае — финансовые и промышленные олигархи и находящиеся от них в полной зависимости (в политическом, экономическом, национальном и духовном бесправии) народы, государства, континенты. Стагнация стержневых явлений жизни, вытекающая, как следует из вышеизложенного, из хищнического мироустройства, в интерпретации ученых, как видим, оказывается подмененной названностью движения, и такая подмена, к сожалению, не вызывает у нас никаких сомнений (в конце концов ведь научная достоверность, несмотря на то что она редко когда выходит за грани библейских писаний, всегда казалась нам выше свято-церковной риторики), и если мы говорим, что властителям всех времен и рангов была на руку такая фальсификация, более того, что она буквально предиктовывалась нуждами тронов, то есть имела политическую подоплеку, то у исполнителей этой тронной заданности, то есть у церковников и ученых мужей, обладавших ими же самими созданным механизмом магнетического воздействия на массы (не секрет же, сколь всеохватно сегодня информационное поле, особенно с появлением Интернета и электронных СМИ), — у исполнителей этой тронной заданности хотя и нет вроде бы той высшей цели, к какой ныне прямо-таки рвутся правители великих держав (они рвутся к трону мирового господства), но зато была и остается своя и тоже высшая цель — угодничество и прислуживание тронам. Думаю, сегодня уже нет человека, который бы не понимал, что все пагубные неурядицы жизни происходят от власти и что власть по праву может считаться первейшим (и неискоренимым, судя по достигнутому ею могуществу) злом человечества, а главнейшими пособниками этого зла, то есть исполнителями человеконенавистнических поводярьских замыслов, следует признать (разумеется, по итогам их деяний) не силовые структуры, на которые, впрочем, и сегодня часто опираются правители, но религиозные и академические кланы толкователей прошлого и настоящего людских сообществ. Идиллическое (доклассовое) бытие заложило в людях величайшие нравственные основы доброты, доверчивости, миролюбия, справедливости и основательности жизни; хищнический миропорядок (классовый период) с первых шагов приступил к разрушению этих нравственных основ, ибо они

были несовместимы (на том первом этапе становления системы господства и рабства) с хищническим мироустройством и даже в определенной степени представляли угрозу (своей альтернативной хищничеству человечностью) насаждавшемуся фараоновскому миропорядку. Но вытравить из человека то, что было обретено им в результате многоэпохального (доклассового, повторю) развития, оказалось не просто, если не сказать большего, и, подключенные к разрешению этой важнейшей и на сегодняшний день для тронов проблемы, религиозные и научные деятели тех пращурных времен как раз и открыли (в порыве своего тронохлопства) способ использования нравственных обретений людей в своих тронно-корыстных целях. Процессу разрушения они противопоставили процесс использования великой человеческой нравственности — доверчивости, милосердия, миролюбия, стремления к добру и основательности жизни — для всеохватного, всеземного, да, можно сказать и так, закабаления народов; именно историки, философы, церковники, распознав магнетические свойства слов и понятий, особенно если они наполнены божественным или научным смыслом, первыми предложили правителям свою чудовищную по отношению к простолюдинским массам, простолюдинскому бытию услугу — духовный, отточенный на оселке божественных и научных (якобы научных) назиданий и утверждений меч власти, который и обеспечил тронам их теперешнее бессмертие. Отцы святости и отцы академизма обратили достоинства народов в их тотальный порок, и, пользуясь узаконенным (теми же королями, царями, императорами, а ныне президентами и премьерями) превосходством, поставили большую часть (и самую трудовую) человечества в положение заложников своих национально-самобытных укладов жизни.

XXIX

Тати в соответствии со своим ремеслом издавна выбирали и выбирают ночь, чтобы вершить свои воровские деяния; шулеры метят карты и спаивают тех, кого собираются (при некоей видимой законности) обобрать до нитки и пустить по миру; политики, особенно рвущиеся к власти, готовы вывернуться наизнанку в раздаче невыполнимых, но желанных народу обещаний, то есть работают на продуманном и спланированном обмане масс; эти и подобные им приемы, сплошь и рядом проявляющиеся в житейщине, в сущности, просты и давно уже отнесены нами в разряд неких естественных человеческих проявлений (что в общем-то и немудрено, ибо за ними стоит стовосьмидесятивековой опыт хищничества), но нам и в голову не приходит, что они же лежат в основе всех когда-либо совершавшихся и продолжающих совершаться политических, экономических и нравственных преобразований (разумеется, так называемых преобразований). Хотя вопреки расхожему мнению простота не всегда является признаком гениальности, однако все мы, и ученые, и простой люд, должны понять, что любые царствовавшие и царствующие правители в сути своей представляют лишь тысячекратно увеличенные в своей значимости глав семейств (семей народов), и поводырство их, если рассматривать его в идеале первоячейки жизни, должно было бы сводиться к обеспечению семейного (государственного, общественного) достатка и благополучия; в конце концов это так просто, естественно и человечно, что люди давно уже, то есть из поколения в поколение, задаются вопросом: почему бы правителям не присмотреться к этой простоте, исходящей из насущных потребностей народной жизни, и не положить ее в основу своих поводырских деяний? Чего они боятся? Что дворцы обнищают, если народ, получив свободу жизни (свободу проявления своей основательности, воли и достоинства), обретет достаток и благополучие? Нет, не обнищают, я глубоко убежден в этом; произойдет, возможно, только некоторое выравнивание человеческих условий как барского (царского), так и простолюдинского бытия, а государственная и общественная жизнь людей, в том числе и тронных особ, войдет в русло спокойствия и благоденствия. Но, назвав такую систему общественных

отношений и общественного бытия утопизмом (словно бы не с доклассового идиллизма начинался исторический путь человечества и не он, то есть не эта система, заклеянная ныне понятием «утопизм», позволила людским сообществам выжить в условиях непредсказуемых природных катаклизмов?) и отвергнув ее на основе своих целенаправленных измышлений, иконостасно-пьедестальные наши поводыри уже на самом раннем этапе становления хищнического мироустройства (Древний Египет, фараоны и рабы) положили в основу дворцовой жизни не простоту народных устремлений, а простоту татей, шулеров, политиканов (суть, разумеется, не в терминах, а в стержневой заданности явлений) и, обобщив и усложнив этот простейший опыт насильников и узурпаторов человеческих прав до утонченной божественной и академической святости, когда достоинства простолюдинов обращены в порок, а пороки тронных особ и вьющейся у их тронов высокогородной челяди — в достоинства, окольцевали мировое сообщество людей нимбом беспардонного и непререкаемого (в церковных и академических толкованиях миробытия) обольщения и обмана. Суть татей и шулеров, то есть суть их рэкетирских деяний, состоит в том, чтобы с помощью своего ремесла захватывать чужие богатства и барствовать, убаюкивая этим барством свою человеческую совесть; суть же поводырских деяний отличается от деяний татей и шулеров разве что масштабностью, когда насилию и ограблению подвергаются уже не личности, а народы и государства, и еще тем, что рэкетирство свое они сумели узаконить, с одной стороны, божественной (якобы божественной) предначертанностью власти, ибо она, как гласит Библия, от Бога, а с другой — потребностями будто бы общественного бытия: дескать, люди собирались в государственные объединения главным образом для защиты от внешних посягательств, что, разумеется, было хотя и веским, но все же предлогом, тогда как истинная или первейшая цель таких объединений заключалась в расширении и укреплении тронного господства над простолюдинским большинством. Люди, собиравшиеся в массы и тем более под одно руководство, так ли, иначе ли, но должны были терять свою самостоятельность, они становились (и психологически, то есть нравственно, и экономически) частью единого стадоподобного организма, и зависимость от общего состояния жизни, продиктовывавшейся дворцовым поводырством, со временем начала казаться настолько естественной, что человек, будь он даже семи пядей во лбу, уже не мог проявить ни своего достоинства, ни своей воли, то есть необъявленно, да, пока еще необъявленно, превращался в серийную овцу из общего стада, должную постоянно озираться на вожака. Возможно, я несколько сгущаю краски, а возможно, реальная действительность куда более насыщена драматизмом личностей и народов, о котором мы не то чтобы не имеем ясного представления, но, что особенно важно заметить здесь, не хотим его иметь, а потому и держимся за навязанное нам фараоновское мироустройство и за цивилизацию от древнеегипетского первородства (фараоны и рабы), поскольку отторжены не просто от понятий «мыслить» и «созидать», но, главное, от возможности самостоятельно (реалистически) оценивать и тем более объяснять сопровождающую нас историческую и текущую действительность. Цари, короли, императоры, а по нынешним временам президенты, премьеры, чтобы создать нужную для своих воровских деяний атмосферу ночи (в образном выражении), прибегают к силовому, но чаще к духовному подавлению народных устремлений и воли (через войны, смуты, разорения, то есть по принципу: чем больше неразберихи и хаоса, тем восприимчивее простолюдины к тронным посулам и податливее на тронный обман), а чтобы придать своему шулерству некую непререкаемую вроде бы законность, оперируют не реальными понятиями жизни, а словами, насыщенными обольстительной риторикой, и мы, ротозейно внимая этой риторике, позволяем сковывать себя новопозолоченными цепями политического, экономического и духовного рабства. Человечество, если судить только по эпохальным вехам истории, трижды подвергалось крупнейшим и кардинальнейшим переустройствам жизни, когда (1) допустило расслоение на клас-

сы, то есть на богатых и бедных, и простолюдины получили над собой тиранствующим повелителей и надсмотрщиков, когда (2) с возникновением фундаменталистских религиозных учений нас стали отлучать от национальной самобытности, то есть от исторических и нравственных корней нашего бытия, и вверх власти, то есть рабства государственного, царского, мы обрели духовное (Царствие Божие, рабы Божии), и когда (3) в связи с необходимостью совершенно новой (новой по видимости) формы закабаления явилась рожденная во дворцах так называемая демократическая система миробытия (в сущности же, очередные поводырствующие шулеры просто-напросто положили на стол общественной жизни новую меченую колоду карт), и все эти три беспрецедентных по своим масштабам процесса закабаления походили, как свидетельствуют историческая и текущая действительности, по одному и тому же простейшему сценарию татей, шулеров и политиканов. Выше я уже говорил, что мы почти ничего не знаем о периоде классового расслоения, чем объяснялась такая необходимость и какие силы были задействованы в осуществлении этого античеловечного замысла, насколько это многотысячелетнее событие было кровавым и насколько бескровным (по крайней мере нам известен результат содеянного: всеохватная система господства и рабства, получившая бессмертие), но зато прекрасно осведомлены, какой ценой были оплачены человечеством навязывавшиеся ему религиозный фундаментализм как некое Царствие Божие (не только при незыблемости, но и при усилении режима господства и рабства) и присноуготованный во дворцах так называемый демократический миропорядок, согласно которому рэкетиство всех рангов от государственного до олигархического (при тотальной незащитности простолюдинских масс) законом о правах человека, а в сущности, о правах татей, шулеров, политиканов, оказалось возведенным в непререкаемый идеал общественного бытия. Официальной историографией, разумеется, совсем по-иному оцениваются эти эпохально-веховые события общечеловеческой истории, они подаются нам как этапы великих созидательных преобразований, этапы развития «цивилизации», поднявшей человечество из глубин дикости и варварства ко временам всеобщего (смешно, конечно: всеобщего) просвещения, и ни ученые мужи и церковники, ни простолюдинское большинство, некогда обладавшее реалистическим видением мира и потерявшее (за века рабства и исторического невежества) эту способность, словно бы и в самом деле не замечают этого несоответствия слов и понятий, характеризующих жизнь, с самой жизнью. В конце концов ведь жизнь дворцов и жизнь хижин рознится не по естественной, а по рукотворной закономерности, о чем говорят все известные факты истории; дворцам просто-напросто выгодно удерживать простолюдинов в постоянной неудовлетворенности жизнью, причем в такой степени, когда отчаявшийся люд, не вполне еще созревший для бунтов, восстаний и революций готов проглотить любые посулы, от кого бы они ни исходили, и, поклонившись за них новоявленным кумирам-поводырям, принять предлагаемые ими златокабальные новшества. Возможно, именно таким образом было подготовлено, а затем и осуществлено классовое расслоение (ведь благосудящие всегда в большей чести у народов, чем правдошестатели); в такой же поводырской готовности были подведены людские сообщества ко вторичному, то есть духовному, закабалению — принятию христианства и мусульманства, а затем и к принесшей уже третье закабаление демократизации всех и вся, итоги которой — о них даже говорить нечего, настолько они очевидны, так что рассуждения историков, философов, экономистов о рентабельности и нерентабельности использования производительных сил ничего не стоят в сравнении с действительной поводырской заданностью и поводырскими свершениями на арене минувших и текущих веков.

XXX

Иногда мне кажется, что историю развития человечества вернее было бы назвать историей становления и укрепления тронной власти и ограбления

и закабаления простолюдинских масс, ибо смена формаций, на которую в порыве некоей весьма и весьма странной любвеобильности к человечеству продолжают так настойчиво ссылаться ученые мужи, является лишь той свято-академической ширмой, за которой во все времена скрывались, как скрываются и сегодня, истинные замыслы и свершения приверженцев хищнической фараоновской державности. Отсчет цивилизации мы обычно ведем от возникновения Древнего царства, в котором, как ни странно прозвучит это (и на что ученые мужи намекают с оттенком удовлетворения), установилось равновесное равновесие между явлением господства и явлением рабства, закрепленное единым понятием «абсолютизм». В научном изложении событие это предстает таким образом, будто ученые, обратившись к исследованию миробытия, застали человечество уже на этой вполне оформившейся стадии развития — системе господства и рабства, и никто ни разу всерьез не задавался вопросом, кем и при каких обстоятельствах была создана эта первая абсолютистская государственность, ставшая затем основой известного нам рабовладельческого строя. В большинстве своем народы обращались в рабство силой меча, но, чтобы удерживать их в этом угнетенном состоянии, нужны были определенные, либо религиозные, либо мирские (научные), обоснования, и такие обоснования, получившие в эпоху Платона и Аристотеля непрекращаемое значение (вспомним: носители духа, то есть господа по рождению, и обладатели плоти, то есть рабы по рождению), как раз и позволили, легитимизировав рабство, то есть рабовладельческий строй, продержаться ему вплоть до появления фундаменталистских религиозных учений. Картина вроде бы ясна, но вместо того чтобы исследовать этот многотысячелетний процесс в разрезе политических, экономических, социальных и нравственных аспектов, светила от исторических и философских наук затеяли спор о том, что зародилось прежде — феодальные отношения или религиозный фундаментализм, как будто целью науки являлось и является установление этой истины, тогда как главный вопрос, на который должны были ответить исследователи — что дал человечеству феодализм, сменивший рабовладельчество? — и по сей день остается без ответа. По сути дела, ни одна из приходивших на смену формаций не разрешила ни одной социальной проблемы в устройстве общественного (народного) бытия; феодализм не отменил господство и рабство, а лишь укоренил эту фараоновскую заданность в новых крепостных и земельных отношениях, и эти новые отношения уже не могли довольствоваться платоновско-аристотелевской формулой естественности жизни (естественной будто бы запрограммированности власти и бесправия); подновленное рабство требовало иных научных и божественных обоснований, и, поскольку ученые мужи, пропитавшиеся платоновско-аристотелевской мудростью, изощрялись лишь в прямом подражании великим грекам, на передний план выдвинулись религиозные деятели, ревниво соперничавшие с наукой в прислуживании тронам, и они-то и нашли гениальную, позволительно будет сказать, интерпретацию древнегреческих философских воззрений. Если бы вместе с феодализмом не явились христианство и мусульманство, их надо было бы придумать; но они явились как средство обновленного применения поработанных народов с положением рабства (и одновременным усилением господства), и хотя ни в исторической, ни в философской, ни в теологической науках не принято рассматривать религиозные учения сквозь призму умозаключений великих греков, но как весь наш академический, так и религиозный фундаментализм базируется на постулатах Платона и Аристотеля. Древнегреческие философы полагали, что люди от природы разделены на господ и рабов, что это естественно и что противостоять этой естественной заданности жизни никому не дано; фундаменталистские религиозные учения утверждают, что власть от Бога, а это уже автоматически означает, что и рабство от Бога, но что определено промыслом Божиим, неподвластно человеку; как видим, обоснования языческие, служившие рабовла-

дельческому строю (в примирении рабов с рабством), и обоснования в идеалах религиозного фундаментализма, служившие тронам в период феодальных отношений, имеют одну и ту же стержневую основу, не говоря уже о том, что возводились с одной целью — примирения простолюдинского большинства с кабальными условиями жизни. И далее: если в период открытого рабства (рабовладельческий строй) господство почиталось господством и к особам царского или даже просто знатного происхождения укоренялось в общественном бытии некое особое отношение, выражавшееся в титулах и приставках к именам, а рабство почиталось рабством (илоты, плебеи, смерды) во всем его бесправии и убожестве, что, впрочем, и вызывало главное недовольство масс, то христианство, к примеру, да и мусульманство поставили этот древнегреческий постулат с ног на голову, объявив дворцовое, барское бытие порочным, а простолюдинское (хижинное) нищенство, то есть терпение и смирение, — идеалом богопредначертанной земной жизни. Казалось бы, истина восторжествовала, если бы за богопредначертанностью жизни действительно стояло народное бытие, то есть та основательность, к которой всегда стремилось и стремится простолюдинское большинство, а не восхваление нищеты в совокупности со смирением и послушанием; но, к сожалению, даже этот щелочный просвет, открывшийся было перед взором порабощенных народов (ведь за позолоченным щитом «христианского спасения» надвигался жесточайший деспотизм феодальной власти), — даже этот щелочный просвет, едва приоткрывшись, был тут же замураван глухой тронно-непробиваемой кладкой. Над ротозействовавшими народами был совершен коварнейший эксперимент, который только еще сильнее упрочил положение имущих перед ограбленным и бесправным простым людом. Хотя дворцовое барство и было объявлено величайшим грехом человечества, но оно продолжало процветать (по пословице: «А Васька слушает да ест»), как продолжали процветать церкви и храмы, истоцавшие будто бы себя в служениях Господу. Обитатели дворцов и храмов, видимо, были хорошо осведомлены о миражном значении предрекаемого им верой вечного ада, но простолюдины в противоположность этим поводырствующим особам, придавленные нищетой и страданиями и готовые довольствоваться лишь посулами благоденствия вместо самого блага, не могли не принять обновленную церковную сказку за открывавшуюся им истину и столетиями рождались и умирали с верой в предстоящее загробное счастье. По сути дела, народы вновь погружались в беспросветный обман, а чтобы этот обман не открылся до времени, светские и церковные реформаторы рабовладельческого строя, то есть те же фараоновские державники и их духовные (от науки, от Церкви) пособники, стремившиеся не столько к реформированию, сколько к сохранению стержневой основы древнеегипетского мироустройства — системы господства и рабства, с молниеносностью (относительно наслоения веков и тысячелетий), с какой могут только осуществляться рукотворные замыслы, принялись насаждать свой новый миропорядок. Среди церковников да и среди мужей науки сегодня бытует, по сути дела, только одна версия охристианивания, как, впрочем, и о мусульманивании народов, словно бы эти подвергавшиеся нравственному (разумеется, вкупе с мирским) насилию людские сообщества толпами устремлялись к распахнутым перед ними вратам истинного благоденствия, тогда как факты истории, тщательно скрываемые ныне даже от научного оглашения, свидетельствуют, что внедрение новой веры сопровождалось жесточайшим насилием, ибо вгонявшийся в лоно Церкви простой люд, хотя и не осознавал в полной мере всех последствий проводившегося над ним эксперимента, но чувство осторожности интуитивно подсказывало ему, что его втягивают в новые долгосрочные беды, чему он, естественно, противился, неприятие перерастало в открытое противостояние, которое и завершалось безжалостным кровопролитием, так что тут можно писать тома и тома, что-

бы более или менее реально осветить весь сиюминутный и последовавший за ним многотысячелетний трагизм личностей и народов. Европа, если углубиться в ее реальную историю, еще во времена Греческой империи подвергалась опустошительным набегам средиземноморских разбойных орд, а на рубеже Новой эры, эры цезарских победоносных походов, на этот древнейший континент, населенный, по свидетельству Геродота, в основном славянскими и германскими племенами, было предпринято самое сокрушительное (подобное гунскому и татаро-монгольскому на восточноевропейских славян) нашествие: сперва римских легионеров, в результате которого Европа, представлявшая собой целостный в своей национальной самобытности организм жизни, была раздроблена, повержена и обращена в ресурсный придаток римского политического, экономического и духовного всевластия; легионеры мечом и огнем прокатились по кельтам, франкам, бриттам, германцам, подмяв под себя и большую часть южнославянских племен, а пущенные вслед за этим оккупационным войском христианские миссионеры, вознеся крест, то есть известное (восточное, азиатское) орудие казни, над толпами новоявленных «рабов Божьих», призывали их к спасению через страдания, смирение и послушание.

XXXI

К сожалению, сегодня мы вполне можем констатировать (по написанным и пишущимся ныне трудам историков, философов, теологов), что европейские народы, включая и восточных славян, то есть Россию, никогда не знали и не знают своей реальной истории; не знали и не знают, во-первых, потому, что писалась она в большинстве своем не представителями коренных народов (я не говорю уже о дворянском ее источнике), которые, отказавшись от греко-латинской героизации событий могли бы придать пережитому евротрагизму национальный характер, и, во-вторых, потому, что и в наши дни не находятся (или их не допускают к этому действию, что гораздо вернее) личности, которые, осознав если не боль, то хотя бы свою причастность к судьбам исконных, а не пришлых владельцев европейской земли, наконец, к судьбам сгинувших самобытных цивилизаций европейских народов, настойчиво принялись бы за восстановление утраченной исторической истины. Источники древности прямо указывают нам, что рабовладельческий строй (рабство, фараоны и рабы), возникший вместе с возникновением Древнего царства и распространившийся на племена и народы южного, восточного и северного Присредиземноморья, более чем на восемьдесят столетий опередил Европу в становлении этой хваленной — «заря человечества» — цивилизации, так что разработанная светилами от исторических и философских знаний ступенчатость развития — последовательная смена социальных формаций — не только не приложима к европейской действительности, но, как сказали бы в простонародье, все здесь шито белыми нитками, и сколько бы ни подкрашивали их под надуманно-социальный окрас эпох, они все равно предательски (в данном случае по отношению к аксиоматичному академизму) проступали и будут проступать на фоне реальной действительности. В Европе почти вплоть до завоевательских цезарских походов господствовала идиллическая система жизни; она была отмечена как среди германских, так и среди славянских — «славные Гипербореи» — народов, и если явление это оценивать исторической мерой веков, то следует признать, что в самый расцвет рабства на землях средиземноморского бассейна люди, населявшие европейские просторы, пребывали в глухом неведении относительно стоявшей уже у их порога хищнической цивилизации; система господства и рабства, то есть то, что мы сегодня называем рабовладельческим строем, просачивалась к ним, как просачиваются эпидемии вместе с переносчиками смертельных болезней, но, не успев прижиться, эта болезнь — болезнь рабства — была задавлена хлынувшей (все с того же Юга) новой кабалой — феодальным господством и феодальным крепостниче-

ством. Выше я уже говорил, как трактуется этот процесс официальной историографией (будто бы все упиралось и упирается в неэффективное и эффективное использование производительных сил); но ведь правдоподобие, с какой бы убедительностью оно ни излагалось, всегда остается и будет оставаться лишь правдоподобием, тогда как истинная причина, заставившая древних властителей отказаться от прямого рабовладения и перейти к более изощренной форме, то есть к крепостничеству, заключалась в другом — в непомерной концентрации тронной власти (Римская империя), осложнявшей не столько народную жизнь (это само собой), сколько жизнь провинциальных князьков-правителей, властные амбиции которых, разрастаясь, требовали свободы действий. Римская империя, исчерпавшая свои возможности главным образом в духовной сфере (да она и так довольно долго продержалась на прокате древнеегипетских и древнегреческих идеалов и ценностей), начала распадаться еще в преддверии Новой эры, и распад этот был неизбежен потому, что римские правители к тому времени еще не обладали тем цементирующим государственным (на базе абсолютизма власти) образованием религиозным фундаментализмом, каким уже на обломках империи оказалось христианское учение; да, распад средиземноморской и европейской владычицы был предreshен (в данном случае ходом истории, не столько имевшим отношение к народному бытию, то есть к использованию производительных сил, сколько непосредственно к тронам), одна за другой начали откалываться от Рима некогда трепетавшие перед ним провинции и, самообъявляясь царствами, княжествами (что было особенно характерно для Европы), вроде бы как раз и закладывали, по мнению ученых мужей, основы будущего феодализма. Но так ли было все просто на самом деле? Действительно ли средиземноморские и европейские народы выходили на рубеж новых общественных отношений или происходила всего-навсего вынужденная перегруппировка тронных сил перед решающим (ведь не всегда поводырские свершения измеряются десятилетиями или столетиями) рывком к мировому господству? Я не преувеличиваю, ибо опираюсь не на историю лжи, а на реальную историю, в которой все настолько очевидно, что едва ли нуждается хоть в каких-либо комментариях. Рим, являвшийся символом могущества (символом мирового господства, подобно Древнему царству), пробуждал, не мог не пробуждать, особенно у провинциальных правителей, стремление к самостоятельности, то есть к своего рода хотя и не мировому, но все же господству, и едва предоставилась такая возможность, Рим был буквально растащен по кускам этими новоявленными претендентами, и прежде всего центробежные устремления охватили европейских правителей, сейчас же, впрочем, вступивших в соперничество между собой за расширение своих территорий. Это был точно такой же промежуточный процесс, какой впервые наблюдался после распада Древнего царства и затем после распада Греческой империи, и точно так же, как из соперничавших между собой переднеазиатских (палестинских) царств и княжеств образовалась Греческая империя, а из греческих городов-полисов вырос Рим, так и на базе бесчисленных европейских княжеств (увы, история повторилась в третий раз) образовались сначала европейские королевские дворы: английский, французский, германский, испанский, австрийский, португальский, а затем, когда в схватку за мировое господство вступили Соединенные Штаты Америки, контуры нового и уже всеземного Рима обозначились в полной мере перед ротодействующим (другого слова не подобрать) человечеством. Но давайте вернемся к истоку разговора, к смене формаций, которые, вроде бы обновляя жизнь (главным образом переустройством фасадов), в сущности, оставляли неприкосновенной стержневую суть господства и рабства. Потеряв опору центральной власти, то есть отказавшись от ее зависимости, феодальные властители, представлявшие собой римское чужеродство (это мягко сказано) на европейской земле, вынуждены были искать собственные средства защиты от подвластных им народов, у которых они отобрали все: леса, луга, реки, па-

хотные земли, и одним из таких средств они определили для себя строительство неприступных замков. Теперь историки пишут, что замки да и монастыри, церкви, храмы, коими словно оспенной рябью оказался покрытым европейский простор, возводились с целью защиты народа от гулявших по Европе разбойных банд; но такой вывод, как бы ни выглядел достоверным, не может служить истинным объяснением происходившего исторического процесса. Как и всякие захватившие власть чужеродцы (в данном случае захватившие с помощью цезарских когорт и легионов), римские поскребыши, или последыши, фараоновской державности боялись народа, каким брались управлять (как раз то, что зеркально происходит у нас), и возводившиеся ими замки были силовой, а монастыри, церкви, храмы духовной (религиозной) опорой власти; завладев землей и закрепостив крестьян, живших на ней, они, по сути дела, представляли собой тысячекратно уменьшенные образцы Римской империи с ее чужеродством (относительно поработанных народов) власти и чужеродством духовности, привносимой этой пришлой властью, так что европейский феодализм есть не что иное, как усеченная копия некогда процветавшего рабовладельческого Рима, и живым примером или подтверждением такого расклада жизни как раз и являются разбросанные по всему европейскому плоскогорью замки, монастыри, церкви и храмы. Нынешнее поколение западноевропейцев, превратив в музейные достопримечательности эти оспинно украсившие европейский ландшафт средневековые крепости, с гордостью (по незнанию истинной истории) показывают их жаждущим верхоглядных знаний туристам; бесчисленные гиды с восторгом рассказывают об архитектурном величии и фортификационных достоинствах этих своеобразных символов средневекового (западноевропейского) престольного чужеродства, удерживавшего все на десятки, сотни миль вокруг себя в страхе и повиновении (в крепостничестве, если воспользоваться термином феодализма), и с восторгом же излагают героизированные в трагизме жития их именитых владельцев — графов, баронов, князей, герцогов, эрцгерцогов, — истреблявших друг друга в смертельных схватках за власть, и непременно, как некий деликатес на десерт, покажут казематы, в которых истощались в цепях до скелетного обнажения соперники-претенденты, и подведут к орудиям пыток и казней, от одного вида которых людей охватывает ужас мучений, — да, да и еще раз да, все это подается как некое эпохальное величие некогда боровшихся за народное счастье властителей (какая ложь, какое фарисейство!), жестокость которых более чем оправдывалась благородством целей. В сущности, вместо истины преподносится лишь героизированная (по библейскому образцу царств и царствований) хроника неких поводирыских «подвигов» во имя свободы, благополучия и благоденствия народов. Так выглядит история в переказах, но далеко и далеко не так все происходило в действительности, и мы вправе задать себе вопрос: почему европейский феодализм, именуемый прогрессом или шагом вперед по сравнению с рабовладельческим строем, назван в истории мрачным средневековьем? Только ли из церковного мракобесия, хотя в истреблении еретиков, а в реальности — истреблении мыслящего потенциала коренных европейских народов повинны не только «святые служители» Бога, но и правители всех рангов, ибо первые приговаривали, ссылаясь на Божье благословение, вторые сжигали осужденных, подчиняясь будто бы воли Церкви, но вместе творили то зло, которое ни тогда, ни теперь не имело и не имеет никаких оправданий. Костры инквизиции, по сути дела, завершали или довершали начатое еще цезарскими завоевательскими походами закабаление коренных европейских народов, которое в конце концов закончилось тотальным диктатом породненных между собой династических королевских дворов; западноевропейцев приручали к чужеродной над собой власти, которая никогда не была и не может быть снисходительной к поработанным людским массам, такова историческая реальность — реальность европейского феодализма, пришедшего (будто бы как прогресс) на смену (сходившему будто бы на нет) рабовладельческому строю.

XXXII

Итак, я уже говорил выше, что смена формаций — это всего лишь смена фасадных вывесок на неизменном фоне укорененного со времен Древнего царства господства и рабства, то есть всевластия тронных особ и бесправия простолюдинского большинства, и точно так же, как феодализм, сменивший откровенное рабовладельчество, ничего не изменил, а только усложнил и утяжелил обездоленность народных масс, явившиеся на смену ему капитализм, а затем и так называемое демократическое устройство государственного и общественного бытия (я намеренно опускаю здесь социализм и коммунизм, ибо системы эти, светлые вроде бы по замыслу, представляли собой лишь попытку создания государственного тоталитаристского капитализма), тоже не привнесли никаких существенных перемен в хищнический — от древнеегипетского первородства — фараоновский миропорядок. Жизнь целостна и, к сожалению, статична уже по самой своей рукотворной — со времен классового расслоения — заданности, но чтобы скрыть от людского внимания эту троннопродуктивную статичность и создать впечатление движения к прогрессу и процветанию, как раз и явилась на свет благовывышленная учеными мужами поэтапность развития (да и чем еще можно было бы столь же правдоподобно объяснить поводярко-кровавую историю порабощения масс?), так что человечество должно наконец понять, что происходило с ним в прошлом и происходит сейчас, ибо в процессе так называемого ступенчатого развития менялся не социальный строй народной жизни, а осуществлялась лишь реорганизация власти (властных структур) на пути к мировому господству. Реорганизация эта была вынужденной, народы уже не могли мириться с прямым, откровенным, унижающим человеческое достоинство рабством, требовали перемен, и если верить официальной историографии, то замена рабства на крепостничество была инициирована снизу, то есть простым людом, но тут возникает вопрос: действительно ли снизу или все же сверху как необходимость переустройства власти и неужели людские массы были так слепы (как, впрочем, слепы и теперь), что не могли ничего предпринять, чтобы кардинально и в согласии со своими интересами изменить ход истории? Нет, отчего же, предпринимали, были восстания рабов, бунты илотов и плебеев (так называемые крестьянские), но все они, как отмечалось выше, сводились в итоге к сизифому труду; смуты в римских провинциях подавлялись силою Рима, а восстания так называемых столичных рабов (восстание Спартака), не находившие должной поддержки в провинциях, где ко всяким деяниям Рима относились как к хищническому кровопийству, заранее уже были обречены на провал. Впрочем, мнение о ненасытности Рима не было случайным, и его нельзя отнести к пропагандистским, говоря языком современности, трюкам; по богатству и роскоши, то есть по размаху величия, с каким возводился Рим (в нем и сегодня четко просматриваются следы этого былого безграничного величия), не трудно представить, как ограблялись и истощались в материальных, духовных и людских ресурсах провинции, и одной из причин, приведших к падению Римской империи, как раз и явилось это неостановимое ограбление подвластных окраин. Явление это между тем остается почти неисследованным (потому и повторялось в веках и повторяется с нами сегодня), хотя именно в нем заключена стержневая суть распада рабовладельческого строя, то есть потребность в самореформировании власти, подталкиваемая назревавшими требованиями масс к переустройству общей социальной неустроенности жизни. Люди, доведенные до отчаяния, буквально жаждали перемен, в то время как центральная власть, то есть цезарская верхушка, уверовавшаяся за века в непоколебимость своего господства и не желавшая никому уступать его, традиционно продолжала опираться на силу в подавлении масс; но эпоха безответного покорства была уже позади, на силовое давление простолюдины и рабы все чаще отвечали силовым противостоянием, мирская и религиозная (языческая) идеология, некогда цементирувавшая импе-

рию, проявляла бессилие, Рим (что особенно отчетливо было видно со стороны) приходил в упадок, и в условиях приближавшегося краха, когда центральная власть, благодушествуя, не решалась пока еще, а возможно, и не могла предпринять ничего кардинального, что укрепило бы ее истощавшееся могущество (никто в столице, судя по биографиям императоров, даже вроде бы и не подозревал о приближавшейся катастрофе), — в условиях этого назревавшего краха провинциальные правители (будущие феодалы, то есть графы, бароны, князья, герцоги, короли, цари), озабоченные не столько падением общей, сколько падением своей власти, видели спасение в быстрейшем отмежевании от некогда могущественного, а теперь отдающего трупным духом родителя. Стремление к самостоятельности, как некое оспинное поветрие, захватывало и увлекало провинциальных поводырей, и, возможно, они даже не подозревали, что, спасая свое господство, спасали, по сути дела, фараоновскую систему господства и рабства (что и подтвердилось затем ходом истории), и путь к этому спасению лежал через коварнейший обман масс. Именно на том переходном этапе и именно будущие феодалы впервые использовали людское недовольство режимом для достижения своих узкотронных целей; гнев масс, поднимавшихся против торжествующей системы жизни, был перенацелен на центральную власть, на Рим, как на кровопийствующее чрево, высасывавшее из народов все, что только можно высосать из него, и освобождение от имперских уз начало казаться простому люду (разумеется, не без определенных пропагандистских усилий) освобождением от рабства. Люди вступали в войска, возглавлявшиеся все теми же провинциальными, но глаголившими уже по-другому поводырями, и, выходя на бой, искренне полагали, что идут отстаивать свою свободу и независимость, тогда как фактически отстаивали и укрепляли над собой теперь уже провинциальную (в виде мини-цезарской) власть. Следует напомнить здесь (хотя истина эта хорошо известна в истории), что распад Римской империи произошел не в одночасье; процесс этот длился более четырех столетий и был ознаменован не меньшим кровопролитием, чем процесс созидания этой третьей после Древнего царства и Греческой империи средиземноморской державы, ибо, повторяю, менялся не социальный строй, не уклад обездоленной народной жизни, а структура власти, то есть была развязана трехцелевая и трехслойная битва народов, объединявшая в себе одновременно и общеповодырское (1) стремление к сохранению основы основ тронного процветания — системы господства и рабства, и (2) стремление к самостоятельности провинциальных правителей, грезивших княжескими, королевскими, царскими коронами и (3) обманутую веру народов в близкое, обещанное отцами-поводырями торжество справедливости. Но справедливости не последовало, а, напротив, близкая и вроде бы родная феодальная власть оказалась еще более жесткой и беспощадной, и, чтобы обосновать свою жесткость и беспощадность, она стала прибегать к испытанному уже ею приему — поиску врага благоденствия во внешней опасности. Возможность потерять свободу и вновь оказаться поработченными представлялась первейшей угрозой, которая спланивала людей вокруг поводырствовавших правителей и обрекала на жертвы, пять столетий Европа не выходила из войн (ученые мужи как раз и называют этот период становлением новой формации, то есть, по сути дела, оправдывают эту кровавую бойню за передел власти), народы, подстрекаемые дворцовыми устремлениями, сталкивались с народами, миллионы и миллионы гибли в так называемых освободительных побищах, но это был только первый этап пришествия феодализма, когда провинциальные мини-цезари, упоенные растаскиванием Рима, стремились силой (по образцу Древнего царства) укрепить свое господство, свое престольное чужеродство на захваченных территориях. Но вслед за первым этапом (опять же по отработанному в истории сценарию) должен был последовать и последовал второй — духовное подавление (благо, к тому времени христианство уже в полной мере развернулось в своем холопском тронприслуживании), которое в той же степени, что и силовое, было облагорожено кровью (потому и покрывлся европейский простор сетью монастырей, церковей, косте-

лов, храмов), и древнейший континент с его самобытными народами и цивилизациями, не успев еще как следует (в противоположность египтянам) изведать рабство, погрузился в мрачное средневековое крепостничество. Спрашивается: о какой смене формаций может идти здесь речь? Изменилась, то есть реформировалась, только власть, тогда как народы нагрузились новым ярмом рабства; более того, распад Рима на княжества и царства, как и распад Греческой империи на города-полисы, следует считать вынужденной мерой, ибо это был достаточно уже апробированный в истории откат к неким основополагающим, первоначально-чистым источникам, с которых начинались и Древнее царство, и Греческая и Римская империи и с которых, еще более строго придерживаясь фараоновской абсолютистской заданности, должно было начаться новое, не допускавшее отклонений восхождение к мировому господству; конечно, можно соглашаться или не соглашаться с таким выводом, но давайте обратимся к фактам исторической и текущей действительности, которые свидетельствуют, что параллельно с утверждением так называемых (я вынужден прибегать к этому присловию) феодальных отношений между провинциальными мини-цезарями развернулись схватки за достижение единого господства, и в итоге этих длившихся более четырех столетий поводящих разборок Европа получила (опять же как некий промежуточный вариант достижения мирового господства) известные в истории своими противоборствами династически-породненные королевские дворы.

XXXIII

Жизнь, протекающая или, вернее, сообразующаяся с рукотворной закономерностью, всегда имела и имеет (в отличие от естественной) две заданности: сиюминутную, то есть текущую, и долговременную, которые, однако, при всей кажущейся иногда несовместимости бывают более чем тесно переплетены между собой и служат глубоко продуманной единой цели. Сиюминутная цель реформаторов рабовладельческого строя (реформаторов абсолютистской монархической власти) была вроде бы предельно ясна и заключалась в избавлении от единодержавства; но в глубинных основах фараоновской системы господства и рабства она более чем контактировала с пращурно-разработанной правителями Египта (создателями и правителями Древнего царства) идеей величия и бессмертия власти, то есть идеей мирового господства, а потому и поведение, то есть междуусобные схватки провинциальных мини-цезарей, представлявших собой некий новый феодально-крепостнический миропорядок, и скопированные затем с них и получившие иную масштабность междуусобные схватки европейских королевских дворов, вспыхивавшие будто бы на основе дворцовых, иначе сказать, сиюминутных, мелочных, интриг, фактически были подчинены той же давней, завещанной фараонами Египта цели. Цель эта никогда не высказывалась и не высказывается откровенно, но всегда прикрывалась и прикрывается понятиями и призывами к достижению всеобщего благоденствия; правители идут завоевывать чужие земли и порабощать чужие народы с намерением будто бы облагодетельствовать их (чаще всего намерения эти выражаются в приобщении к хваленной — от древнеегипетского первородства — цивилизации), но итогом такого облагодетельствования обычно оказывались разорение, разграбление и подавление национальной духовности, после чего покоренные народы либо бесследно исчезали с лица Земли, либо, лишившись стержневой основы жизнестойкости, сбрасывались с исторической арены действий в зону беззащитных, бесправных и безгласных государств-бомжей, окрещенных ныне Третьим (даже не вторым, не развивающимся) миром. Фараоны Египта видели мир по отношению к своим богоизбранным персонам поверженным в абсолютное рабство («век Богов»), и было бы наивно полагать, чтобы видение это, или, точнее говоря, основополагающая тронная заданность умерла или исчезла вместе с исчезновением фараонов; нет, она не исчезла, а была вынесена с нильской зем-

ли искателями «обетованных континентов» и, то дробясь, то вновь собираясь в единое царство (Древнее царство и распад его на мини-Египты, Греческая империя и распад ее на города-полисы, и, наконец, Римская империя и распад ее на мини-царства и княжества), явилась на свет в облике европейских королевских дворов как предвестница новых схваток за трон мирового господства. Мы не знаем (по крайней мере историки и философы молчат об этом), чем в действительности руководствовались последователи, или, вернее, римские поскребыши фараоновской державности, когда приступали к реформированию феодального строя (однако недолго же просуществовал этот строй!), ибо сиюминутные цели, о которых глаголят историки и философы, заключающиеся будто бы, с одной стороны, в амбициозных притязаниях монархов, а с другой — в использовании производительных сил, — сиюминутные цели, как ни истолковывай их, не дают ясного представления о происходившем; причину, видимо, надо искать в глубинной и неоглашаемой фараоновской заданности, какой веками (и при всех катаклизмах) следовали рассеявшиеся по свету «богоизбранники» от древнеегипетского первородства, и, пожалуй, вернее всего об их деяниях можно судить не по изложениям историков и философов, а по реальной действительности, из которой вполне очевидно, к чему двигался и продолжает двигаться мир, а точнее, к чему уже пришел — верховенству одной державы (США) над человечеством. Все кровавые и некровавые перераспределения богатств и власти, все так называемые переустройства и реформирования жизни, а по сути дела, реформирования властных структур, все войны, бунты, революции, сопровождавшие вышеназванные реформирования, — все-все эти разорявшие народ, народы поводярьские деяния не только не имели того значения, какое приписывалось и продолжает приписываться им, но они лишь прокладывали дорогу ко всеохватному в масштабах континентов «веку Богов», к тому современному Олимпу, на котором, возведя свои фараоновские небоскребы, восседают сегодня умудренные стовосьмидесятивекowym опытом порабощения масс правители известной заокеанской державы. Но давайте обратимся непосредственно к историческому процессу и проследим, как все происходило в действительности. Если противоборство мини-княжеств и мини-царств, явившихся на развалинах Римской империи, привело к созданию европейских королевских дворов (что само по себе уже может характеризоваться как шаг к укрупнению), то противоборство или противоборство королевских дворов должно было завершиться еще большим укрупнением, то есть предтечей некоей ожидающей своего созидания Великой империи, но протекали столетия, а ожидаемая империя даже не очерчивалась в контурах, и это обстоятельство, когда ни одной из европейских держав не удавалось вырваться вперед и захватить господство (хотя бы в рамках европейского мира), подталкивало, не могло не подталкивать поводярьствующих фараоновских державников к новому реформированию власти (реформированию будто бы народной жизни, как заверяют историки и философы), и явление это, точно так же именуемое «сменой социальных формаций», было озаглавлено еще большей кровью, чем отмена рабства. Правители, или, точнее, правящая элита, как и в первом случае, то есть накануне распада Римской империи, отнюдь не намеревались переустроить общую жизнь с ее стержневой основой господства и рабства, а пеклись только о приумножении своего могущества; народ же, доведенный до отчаяния, но уже не прямым, а опосредованным, то есть феодально-крепостным, рабством, жаждал социальных перемен, и в этой предгрозовой обстановке не хватало только тех инициативных, назовем их так, личностей, тех устремленных к «великой цели» фараоновских державников, которые, оценив (с дворцовых, разумеется, позиций) открывавшуюся перед ними историческую перспективу, взялись бы за дело и, обманув в очередной раз простолюдинское большинство, продвинули бы ротозействующее человечество еще на шаг к мировому господству. Нужны были теоретики и практики, которые

холопствовали бы не перед отдельными тиранствовавшими или тиранствующими личностями, мнившими себя потомками «богоизбранных» выходцев из фараоновского Египта, но перед созданной ими системой господства и рабства, в которой надо иметь лишь толику наглости и обладать толикой коварства (такие люди породнены между собой именно на этой основе), чтобы верховодить толпами беззащитных от подобных низменных проявлений простолудинских масс, и такие (поднаторевшие за века в своем чудовищном, бесчеловечном ремесле) теоретики и практики, можно сказать, буквально в одночасье явились на арене действий; теоретики довольно быстро нашли формулу или принцип замены феодализма, то есть зеркально скопированной с Древнего царства власти, основанной главным образом на землевладении, на капиталистические отношения, при которых решающим фактором господства должны были выступать нажитые или награбленные капиталы, то есть та реальная сила, которая, зародившись в период рабовладельчества и окончательно сформировавшись в эпоху феодализма, претендовала как на текущий (королевский, царский) престол, так и престол мирового господства. Такое реформирование, когда власть из рук феодалов-самодержцев должна была перейти в руки держателей капиталов (тех же «богоизбранных», не без основания причислявших себя к выходцам из Египта, но которым судьба выпала лишь веками витье вокруг недоступных, то есть не доставшихся им, тронов и ждать своего благословенного дня), было основано, во-первых, на четко обозначенном, хотя и внешнем переустройстве власти, и, во-вторых (и что было главным), переустройство это ни с какой стороны не затрагивало стержневую основу хищнического мироустройства — систему господства и рабства, то есть, иными словами, власть получала недостающую ей мобильность в действиях, в то время как простолудинское большинство, которое всегда мало что смыслило (по вынужденному историческому невежеству) и смыслит в предлагаемых ему переустройствах жизни, должно было сохранить свой статус бесправных и безгласых, по образцу фараоновского Египта, рабов. Что дало такое переустройство властителям — известно; что получил от него народ — тоже известно; дворцовая жизнь стала еще более дворцовой, хижинная еще более хижинной, то есть, в сущности, барство и угнетение, бесправие и нищета только приумножились в своей чудовищной античеловечности, но ученые мужи тем не менее продолжают видеть в этом сугубо стагнационном процессе великие преобразования. Почему? Да потому, что, являясь выходцами главным образом из элитной среды, пригретой или обычно пригреваемой тронами, они воспринимали и воспринимают мир через свое благополучие и с восторгом или по крайней мере с пристрастием описывают его, будто человеческая история только и состоит из элитных (тронных и околотронных) желаний, устремлений и чувств, а простолудины, что ж, они вроде бы только и созданы, чтобы быть простолудинами, то есть некоей травой в поле, которую можно топтать, выкашивать, любоваться ее весенним цветением и снова топтать и выкашивать, ибо она и безответна, и неистребима, как и вся богоданная людям Земля. В конце концов история свидетельствует, что все буржуазные и пролетарские революции, кровавым смерчем прокатившиеся по континентам, обогатили и оживили, то есть открыли бóльший доступ к власти именно дворцово-элитной части общества, и если бы историки и философы хотя бы обратили внимание на этот чудовищный перекосяк в общественном бытии (давний и лишь усугубляющийся с каждой новой формацией), труды их представляли бы совсем иную ценность, чем они представляют теперь; но, к сожалению, мы имеем то, что имеем, то есть фасад, заслонивший задворки, и все вытекающие из этого фасадного восприятия познания жизни. А ведь, изменив структуру власти, то есть придав ей мобильность и некую хотя бы видимую выборность, капиталистическая, или буржуазная, как ее называют еще, система жизни во многом изменила и структурную суть рабства (разумеется, оставив в неприкосновенности ее стержневую основу), превратив это яв-

ление из узкосоциальной неустроенности, когда каждый раб или порабощенный народ был приписан к одному хозяину, в бедствие общечеловеческого масштаба, когда простой люд, не заметив и не вполне еще осознав это, оказался поставленным в прямую зависимость от навязанного всем нам (еще фараонами Египта) хищнического миропорядка.

XXXIV

У историков и философов, как ни покажется это странным, на всякие жизненные явления, происходившие в прошлом, равно как и на происходящие в текущей жизни, есть свои отработанные за века (с изложением самых правдивых будто бы подробностей) трафареты, или шаблоны, которые надо только умело приложить к разбираемой исторической ситуации или, напротив, шаблонно отработанную историческую ситуацию — к современности, как все в «познании истины» становится простым, ясным и обретает определенный (исчерпывающий и всегда почему-то в пользу тронов) смысл; есть такой трафарет и относительно всех совершавшихся революций, то есть переустройств власти, если точнее, и базируется такой трафарет (или, сказать иначе, шаблонное объяснение) на двух основополагающих утверждениях, двух узаконенных постулатах, одним из которых непременно является недовольство масс, требующих социальных перемен (требования эти чаще всего сводятся к смене правителей), а другим — слабость и безволие тронов, способных лишь к процветанию барства и неспособных к разумному управлению (таким и представлялись правители Англии англичанам, правители Франции французам, правители России россиянам, правители Германии немцам); еще большее удивление вызывает трафаретное объяснение итогов революций, согласно которым реформирование власти преподносится как некое долгожданное преобразование общественной и государственной жизни, а буржуазные обретения, то есть обогащение разросшихся элитных кругов (всегда составлявших, как составляющих и теперь поскребышный придаток расплодившихся последователей фараоновско-цезарской державности), — как некое достижение общественного блага. Разумеется (и это неоспоримый факт), жизнь развивалась и развивается в рамках определенных естественных, а теперь в рамках рукотворных закономерностей, и всякое новое явление непременно корнями уходит в прошлое, которое, в свою очередь, восходит к той или иной, то есть естественной или рукотворной заданности, и познание закономерностей есть познание жизни; но одно дело — выяснять или устанавливать закономерности на основах реального бытия, и совсем другое — подгонять эти реальности под схему логически выстроенных умозаключений, как это и произошло с толкованием революций, то есть с разбираемым здесь научно-историческим, назовем его так, трафаретом, который, как свидетельствует история, никакого отношения не имел ни к естественным, ни к рукотворным закономерностям, а лишь прямо и откровенно служил и служит тронам. Здесь следует заметить, что революции, как этапы развития человечества, хотя и восходят ко временам античности или, возможно, к еще более глубокой древности, то есть к эпохе классового расслоения, когда впервые обозначился, а затем получил, как говорят, благословение первый в истории захват и перезахват богатства, славы и власти (сценарий возникновения Древнего царства), но в том сформировавшемся (законченном) варианте, в каком они — захваты и перезахваты, то есть революции, — обрели самостоятельное историческое значение, их следует считать прямым продуктом капитализации общественных отношений. Суть революций, как и потребность в них, лежит прежде всего в реформировании власти, а настроение простолюдинских масс, доведенных нищетой и бесправием до крайнего возбуждения, всегда использовалось и продолжает использоваться как нравственная и военная сила, готовая смести с тронов безвольных и возвести на них волевых правителей, способных не только удержать от развала фараонов-

скую систему господства и рабства, но и вдохнуть в нее новое бессмертие, сопоставимое разве лишь с понятием вселенского единогогосподства (что, как увидим ниже, как раз и подтверждается ходом исторического процесса), и если уж говорить о закономерностях революций, то все они лежат или, вернее, базируются на хищнической устремленности тронных особ к захвату и перзахвату богатства, славы и власти. Я говорю «тронных особ», потому что и теоретики, и практики, берущиеся возглавлять революции, по сути дела, — те же тронные особы, и сколько бы они, задаваясь целью добыть власть для себя (явление это, впрочем, было замечено и описано еще Аристотелем), ни выставлялись радетелями за народ, но нет ни одного затеянного будто бы низами переустройства жизни, которое не завершилось бы обогащением дворцовых элит и обнищанием простолюдинских масс. Таким кровавым провозвестником капитализма как раз и явилась Английская буржуазная революция. Она началась с пропагандистских деяний теоретиков (т. е. заговорщиков, если опять же по Аристотелю), которые, почувствовав слабость и близость власти (иначе говоря, возможность захватить ее), в короткий срок выплеснули в народ такое количество обольстительных посулов относительно грядущих капиталистических отношений (наиболее характерные из них: свобода предпринимательства, справедливость, равенство), что не поверить в достижение всеобщего рая на Земле было просто-напросто невозможно, и народ, возбужденный этими миражными картинками благоденствия, готов был пойти на любые жертвы; тем временем практики (из того же клана заговорщиков), которым предстояло воплотить в жизнь разработанную собратьями стратегию захвата власти, принялись сооружать эшафоты и виселицы — сначала для заевшихся и неуступчивых монархов, не понимавших, что участь их так ли, иначе ли предreshена историей, а затем и для народа, ибо, не сломив волю толпы, нельзя было в обновленном державном качестве встать над ней, и весь этот разрушительный механизм, объединенный в понятие «революция» (механизм, повторюсь, очередного перераспределения богатства, славы и власти), закрутив свои перемалывающие жернова, в течение почти целого столетия «обновлял», как утверждают историки и философы, застывшую на этапе феодально-крепостнических отношений государственную и общественную жизнь страны. В этой революции, как, впрочем, и в последовавших за ней французской, русской, германской, есть обстоятельство, на которые мне хотелось бы особо обратить внимание, ибо они приоткрывают завесу над действительной (стремление к мировому господству), а не оглашаемой (достижение благ для народа) целью. Во-первых, принадлежность лидеров революций к господствующему (о чем выше уже упоминалось) классу, а отсюда и защита соответствующих интересов, и, во-вторых, итоговая суть подобных социальных затей, более чем говорящая об их скрытых замыслах. С одной стороны, обольстительные идеи, а с другой — эшафоты и виселицы, вот анатомическая суть революций (как бы ни называли их: буржуазными, пролетарскими или религиозными, как, например, в современном Иране), которые, как фараоновский авангард, продолжают и сегодня прокладывать путь династическим — от древнеегипетского державного первородства — «богоизбранникам» к мировому господству. Английская буржуазная революция, затеянная жаждавшей власти высокородной и состоятельной элитой (об истинных ее целях уже говорилось выше) и совершенная уставшим от нищеты и бесправия простолюдинским большинством, не просто ограничила и передала королевскую власть энергичной (в силу определенных причин она всегда была и остается таковой) элите, но и открыла ей путь к безмерному обогащению и к реальному достижению мирового господства (что как раз и соответствовало заложенной фараонами Египта тенденции развития общественных отношений и общественного бытия). Крестьянство было согнано с земли, разорено и превращено в наемных рабочих (так называемое конвейерное рабство или рабство у конвейера); Англия начала

обрастать доминионами, из которых в Соединенное Королевство стекались несметные богатства; буржуазия, образно говоря, набивала карманы (сейфы) награбленным золотом, и чем больше обогащалась эта поскребышная фараоновская элита, тем сильнее возникала жажда к наживе, и вроде бы незаметно, вроде бы сама собой, как утверждают историки и философы, намекая на некую национальную высокоодаренность (разумеется, элитных кругов, ибо народ — он всегда народ), — да, вроде бы незаметно, вроде бы сама собой островная Англия превратилась в великую морскую державу, всерьез претендующую на мировое господство. Ее корабли бороздили моря и океаны, контролировали почти все проливы; ее солдаты маршировали по землям Африки, Азии, Америки, Австралии и Новой Зеландии, караваны судов тянулись к берегам Темзы (берегам туманного Альбиона), груженные отобранными у захваченных народов ценностями, Лондон, как некогда Рим, роскошествовал, беззастенчиво именуясь столицей мира, и если это элитно-дворцовое процветание является показателем переустройства жизни, то сей фарисейский пассаж целиком и полностью лежит на совести академических авторитетов. Думаю, нельзя обойти вниманием поспешность, с какой ново-явленные фараоновские державники, в одночасье преобразившиеся в так называемых «свободных предпринимателей», действовавших, однако, под прикрытием королевского флота и королевских гвардейцев, стремились обогатиться; оставляя покоренные народы материально и духовно обобранными, они, по сути дела, сбрасывали эти народы с исторической арены действий, и вся цель мирового господства сводилась на тот период лишь к одному — подняться в накоплении богатства и власти к тем высотам, когда процесс этот принял бы характер необратимости, и, надо сказать, цель эта в действительности оказалась не такой уж и призрачной. Вот вам и «смена социальных формаций», на деле представлявшая лишь более или менее удачное реформирование власти, направленное на самообогащение и возвеличивание ее носителей или, вернее, ее держателей.

XXXV

Пример Англии не остался незамеченным среди других европейских королевских дворов, не менее британцев жаждавших мирового господства, и первой встрепенулась и пришла в движение Франция, вернее, французская разnochинная элита, считавшая себя незаслуженно отесненной соплеменниками по древнеегипетскому первородству от власти и почувствовавшая реальную возможность восстановить попорченную справедливость. Такой взгляд на Французскую революцию многим и многим, воспитанным на исторических трафаретах, может показаться неверным или несправедливым, но не будем торопиться с выводами; низы, верхи, идеи, идеалы, междуусобные и захватнические кровавые побоища, — да, все это имело место, но я говорю о стержневой заданности, ради достижения которой затевались и происходили эти разорительные события, приведшие в конце концов народ, страну лишь к новому варианту все той же системы господства и рабства. Как и Английская буржуазная революция, Французская начиналась с пропагандистских деяний теоретиков, побуждавших простолюдинское большинство к бессмысленному и беспощадному кровавому разгулу (разнесли Бастилию, но — воздвигнута новая и еще более неколебимая), а завершилась конвейерным — гильотинным — отсечением голов, имперским величием Наполеона и его стремлением к созданию так называемой единой семьи европейских народов (если по терминологии тех лет), а по сути — супердержавы, которая повелевала бы миром. Как видим, у вышеназванных революций один сценарий, то есть тот же лозунговый обман народных масс (свобода, равенство, братство), те же бессмысленно понесенные жертвы и тот же итог: разоренное крестьянство, обогатившаяся элита, доминионы, то есть колонии для ограбления, и устремленность к трону мирового господства. Вслед за Францией к такому переустройству вла-

сти, то есть замене феодальных отношений капиталистическими (для народного бытия что в лоб, что по лбу), приступили Россия и Германия, соответственно осуществив пролетарскую (Россия) революцию и нацистский (Германия) переворот. Об этих революциях написано еще больше книг как возхвалятельного, так и осуждающего толка, а вкуче искажающих эти так называемые социальные переустройства, вернее, попытки переустройств народного бытия, и потому, думаю, вряд ли следует здесь вдаваться в подробности этих обогранных кровью миллионов и миллионов простолюдинов событий, но позволю себе только подвести итоговую черту под всеми четырьмя названными революциями, под которой четко обозначится лишь одна цель — мировое господство. Если у кого-то еще возникают сомнения, что ж, давайте вновь посмотрим на связующую цепь этих будто бы социальных, но по существу тронореконформаторских явлений: именно после буржуазной революции Англия становится владычицей морей и претендует на мировое господство; именно после буржуазной революции к власти во Франции приходит Наполеон и во главу своей государственной (имперской) политики выдвигает идею захвата мирового господства; именно после так называемой пролетарской революции, которая в действительности мало чем отличается от английской и французской, диктатура в России переходит к «вождям пролетариата», которые тут же объявляют целью своей мировой революцию и мировое господство; именно после нацистского переворота в Германии, равного любой из выше-названных революций, к власти приходит Гитлер и, объявив свою империю «Тысячелетним Рейхом», начинает открытую борьбу все за то же мировое господство. Что это? Историческое совпадение или стержневая — от «века Богов», от времен пирамид — заданность, то есть та самая тенденция, которая, как некая основополагающая закономерность, вот уже более ста восьмидесяти столетий управляет миром, но о которой никто по непонятным вроде бы, но фактически вполне очевидным причинам не решается повести серьезный исследовательский разговор? Да, миром управляют определенные, заложенные еще фараонами Египта в развитие человечества тенденции, чему прямым доказательством служит давно уже обессмертившая себя (благодаря неустанной деятельности властителей) система господства и рабства, так что сколько бы историки и философы ни писали о смене социальных формаций и ни делили жизнь на этапы некоего восхождения к прогрессу и процветанию, основываясь на обогащениях дворцовых элит, реальным остается одно — мир со времен Древнего царства не менялся и не меняется в своей стержневой (хищнической) заданности. Все, что было при рабовладельческом строе (фараоны и рабы), полностью проявилось при феодализме (феодалы и крепостные), а затем и при капитализме (олигархи, владеющие всем — от земных недр до небесных просторов, и не владеющий ничем наемный рабочий люд, который разве что поименован иначе, чем некогда древние египтяне); мир стоит сегодня на пороге нового, всеземного Древнего царства, дверь распахнута не в третье тысячелетие, а в эпоху новообозначившихся пирамид (небоскребы Нью-Йорка) с «золотым миллиардом» (миллионом) господ и всем остальным, обращенным в рабочий скот человечеством, и это отнюдь не зловещий прогноз на будущее неких научных (и политических) авторитетов, а реальность, которую подготавливают для бездействующих народов фараоновские державники, включившие в дело весь имеющийся в их руках научный и пропагандистский потенциал. Творится же все это под знаком социальных будто бы переустройств жизни, приносящих (по вполне обозримым итогам) все дворцам и ничего хижинам, так что мы, то есть простолюдинское большинство, должны быть бдительными, ибо то, что выдается нам за переустройство народного бытия, на самом деле является лишь ширмой для расширения и укрепления власти. В конце концов пора понять историческую истину, что процесс капитализации общественных отношений, начатый Английской буржуазной революцией, еще не завершен, он продолжается, и двадцатый век

с его мировыми войнами и кровавыми революциями, полагаю, более чем подтверждает сказанное. Ведь приход к власти буржуазии был, по сути дела, только первым шагом к искомой цели — мировому господству, поскольку и в Европе, и за ее пределами оставались еще не охваченные капитализацией государства, народы, земли с богатейшими недрами, и, чтобы поставить их под единый новофараоновский контроль, нужно было, во-первых, покончить с буржуазной раздробленностью и, во-вторых, добиться максимальной, не знающей границ концентрации капиталов и власти, то есть приступить к новому реформированию властных структур, и уже в конце девятнадцатого и начале двадцатого столетий стали четко прорисовываться контуры такого переустройства. Одни политики и философы, то есть теоретики и практики от буржуазных элит, обратившись к опыту Английской и Французской революций, взялись за построение государственного капитализма (пролетарская революция в России, нацистский переворот в Германии); и хотя методы достижения цели у них были разными: пролетарские вожди строили политику на притеснении и обирании своего народа, чтобы субсидировать мировую революцию и таким образом достичь мирового господства, вожди германского нацизма (фашизма), напротив, пытались установить свое превосходство над миром путем силового захвата чужих земель и ограбления чужих народов, но оба эти эксперимента оказались неудачными; они потерпели крах потому, что слишком уж откровенно и прямолинейно возвращали человечество в эпоху Древнего царства, когда частные капиталы, какими бы величинами они ни исчислялись, играли лишь второстепенную (придаточную) роль по отношению к власти, и такой откровенный тоталитаризм (абсолютизм) устраивал далеко не всех буржуазных новодержавников; противники тоталитаризма и диктаторства мечтали о другой системе, когда бы общественное (народное) бытие оставалось на уровне Древнего царства, а во властных структурах господствовал бы частный, не знающий или, вернее, не признающий никаких границ капитал, и такая система, обозначенная как альтернатива коммунизму и нацизму (впрочем, с сохранением тех же целей), была разработана и запущена, как мы бы сказали теперь, в производство. В противоположность государственному капитализму противники тоталитаризма предлагали создать олигархический капитализм, когда бы не концентрация власти (это самой собой), а концентрация капиталов играла решающую роль во всех сферах человеческого бытия. Осуществление этой программы началось почти параллельно с пролетарской революцией и нацистским переворотом, но, поскольку все проходило вроде бы тихо, незаметно, без вызывающих кровавых (межгосударственных и междуусобных) побоищ, об этом процессе не писали, не говорили, его не исследовали, и во многом благодаря такому пренебрежению человечество оказалось сегодня на грани мирового господства олигархов. Я не буду вдаваться в подробности этого ползучего, иначе его не назовешь, эксперимента, когда обремененные уже капиталами недавние буржуазные олигархи, избрав своим «фараоновским Египтом», своим «Древним царством», наконец, центром своего господства Соединенные Штаты Америки, принялись путем силового, экономического, духовного подавления устанавливать контроль над всеми важнейшими материальными и людскими ресурсами, в какой бы части света, то есть на каком бы континенте, они ни находились; олигархических властителей не останавливало и не останавливает ничто, они шагают по трупам народов (как некогда прошагали по трупам индейцев), даже не оглядываясь, кого и за что уничтожают, их военный флот бороздит моря и океаны, ракетно ошетиниваясь туда, где обнаруживается непокорство, они достигли превосходства в небе и космосе, Земля буквально напичкана их военными базами, все алмазные и золотоносные месторождения контролируются ими же созданными концернами и корпорациями, они владеют нефтяной, газовой, угольной промышленностью, научно-исследовательскими институтами, академиями, в их руках сегодня невообразимая по всеохвату и мощности пропа-

гандистская система, способная одновременно зомбировать не только отдельные народы, страны, но целые континенты, однако аппетиты их настолько велики, что едва лишь где-либо обнаруживаются достойные их внимания ценности, как они тотчас направляют туда военных, экономических, духовных эмиссаров и устанавливают там свое господство. Фараоновский абсолютизм (Древнее царство) «славился» тем, что владел всеми материальными и духовными средствами человеческого жизнеобеспечения, чем и обеспечивал себе безоблачное (на протяжении сорока веков) царствование; олигархический абсолютизм (Соединенные Штаты Америки, в историческом разрезе представляющие собой и Древнее царство, и Греческую империю, и Рим, и европейские королевские дворы) базируется на той же основе, когда ничто из жизнеобеспечения человеческого бытия не должно ускользнуть из их загребущих дланей, и эта фараоновская закономерность, да, именно закономерность, усиленная узаконенным ростовщичеством, движет их помыслами и делами. Они контролируют сегодня почти все промышленное и сельскохозяйственное производство, регулируют главнейшие денежные потоки и могут привести к разорению любую, даже процветающую, державу, и все это ученые мужи называют демократическим преобразованием мира. Однако в этой очередной «смене формаций», как видим, реформируется только власть, тогда как народ вновь оказывается отстраненным от любых созидательных процессов; он выполняет лишь ту механическую роль, какую выполнял и при развале Древнего царства, и при развале Греческой империи, и при развале Рима и европейских (включая Россию) королевских дворов, и только к лозунгу «Свобода, равенство, братство» добавилась еще одна одинаково приемлемая для всех формула — права человека, которые якобы никогда в прошлом не соблюдались, но которые теперь, с воцарением олигархов на мировом престоле, будут наконец неукоснительно выполняться. Что это? Реальность или очередная тронноизготовленная наживка, очередной тронноформулированный обман? На первый взгляд вроде бы и олигархам, и простолюдинам обеспечиваются равные права на обустройство жизни; олигарх владеет морями, земными недрами, обирает народы, заваливает государства, и эта его деятельность защищена «правами человека» (разумеется, подкрепленными им же нанятой жандармской силой); обездоленный простолюдин, который пытается защититься от олигархического произвола, оказывается, посягает на права олигарха, в действие сейчас же приводится жандармская сила, и «права человека» (права олигарха) защищены. Вот и выходит, что народы, представляющие собой простолюдинское большинство, в очередной раз загоняются в бесправный поработительский тупик, но уже не волею монархических (от древнеегипетского первородства), а олигархических (от того же первородства) «богоизбранных» владык мира.



Вечные фавулы

На закате тысячелетия

*Ты поймешь, что страшного нет...
Гумилев*

На приморской террасе сядь
и «спроси печеных лангуст...»
Трудно ангелам тут летать —
опредмеченный воздух пуст.
Беспокоит не Бог, а дождь.
Странно пахнут слова-слова
в пустоте, где Дафнина дрожь —
только полой славы листва.
Кипарис над пирсом завис —
грех ли кудри трепать ему?..
Нас спустили в люлочке вниз —
не расслышу я, не пойму:
от Ламарка ли эта весть
или все же — от Марка... Но
вот и подано. Можно есть.
Хлеб как хлеб. Вино как вино.

Равенна

1

Всё время кажется, что море
вот-вот увидим за углом,
но в солнечном, в курортном взоре
уже давно не плещет гром.

Пустынна сонная Равенна,
как будто жители на пляж
ушли... увы, и море бrenно —
и входит в перечень пропаж.

Или от Дантовой могилы
и гул стихии голубой
бежит? Здесь выжить хватит силы
японцам лишь да нам с тобой.

И тень певца навряд ли рада,
что тут почти Бахчисарай,
что ни чистилища, ни ада
нет — только выморочный рай.

2

«Потому и пусты саркофаги,
что цари, отряхнувшие прах,
растворились в сверкающей влаге
и парят в мозаичных мирах.

Не из кобальта, золота, хрома
создан мощно изогнутый щит;
он — плева, за которой — плерома:
там плывут мириады Плакид.

Он пленительней сладостной плоти,
шире всех представимых щедрот —
этот, рай отверзающий в гроте
и бессмертием дышащий, свод:

в топком бархате звездного луга,
где пасутся и агнец и конь,
не страшит никакая разлука,
ибо сам он — Христова ладонь...»

Но, завидуя искренней вере,
я спохватываюсь — не лги! —
вспоминая тебя, Алигьери,
и твои ледяные круги.

3

Ягненок льнет к Его ладони,
и пьет из чаши голубок,
и по траве гуляют кони...

И молод Человекобог —
еще земной и безбородый...
Но маги в красных колпаках
уже несут ларцы — с природой
Его божественной — в руках...
Всё — весть благая для всезнаек:
и крест, и смерть... И Он с тоской
глядит сквозь марево мозаик
на спасенный род людской.

Сентябрь

Вот-вот реки ночной чернила,
напившись небом проливным,
затопят всё, что было мило
мне — или мнилось мне родным.

И жизнь моя, как лист кленовый —
безвольно-бледная звезда,
плывет во мрак, в ворота Новой
Голландии — куда, куда?..

Прощай, забег сердец олений!
Прощай, пожар, еще вчера
сжигавший страхи! Наводнений
стоит безлюбая пора.
И вся, что нас пленяла летом,
фотографическая мгла
теперь, защемлена пинцетом,
чернеет в ванночке дотла.

Весь снимок — липкая помойка,
где, измываясь надо мной,
захорошев от крови, Мойка
скользит пиявкой ледяной.

С арабского

Вечные фабулы в ступе толочь,
течь, замирать — не дыша...
Речь хороша уже тем, что не прочь
ею забыться душа:
тысяча первая кончится ночь —
и не найдут палаша.

Опустошенная чаша, не плачь —
жала лишилась оса:
стал москательщиком праздный палач,
позатупилась коса
Смерти. Ни холоден день, ни горяч.
Чище стекла небеса.

Глянь: Аладдин погоняет ослов,
смотрит Синдбад на отвес...
Больше не встретим заморских послов —
сказочно-страшных чудес.
Всё — с окончаньем магических слов —
смысл потеряло и вес.

* * *

Одинокий, себя именующий «Я»,
говорящий по-гречески и на иврите,
из пылающих кущ, в недрах небытия
нам построивший дом — лишь сердца отворите! —
умножающий пищу и воду в вино
претворяющий, лечащий грех первородный
крестной мукой своею, кем сердце полно —
даже если бунтует мой ум несвободный, —
как сказать мне «люблю» — и Тебе, и Твоим
сопечальникам — Осипу и Михаилу,
Иннокентию и Афанасию (им
есть число, но лишь Ты его ведаешь), силу
пересилившим смерти — и вечноживым?

* * *

Аквилон ли дышит в мехах, борей —
безразлично стонущим ребрам рей,
если мы сумеем поставить каждый
парус так, чтоб мчало нас даже зло
к Божеству, — а нет, мы возьмем весло,
среди вод несметных палимы жаждой!
Пусть кораблик утлый, пустой орех,
над пучиной гонят соблазн и грех —
нет иного способа, как во благо
обратить их, жадно впивая льном, —
и, как прежде стала вода вином,
станет Богом эта хмельная брага...

За соленым валом соленый вал
подымал нас к небу и волновал,
назревая светом тоски, мутнея, —
и в ресницах меркнул любимый взор
на одной из дьявольских Лысых гор...
но над ней Голгофы рыдали реи.



ШКОЛЬНИКИ

ПОВЕСТЬ

1

Меня ввели в класс во время урока; мама, я чувствовал, еще несколько минут стояла за дверью. У доски замер прилизанный мальчик с мелком в руке. Все дети обернулись на меня. Учительница сказала, чтобы я назвался. На последней парте, у которой мы стояли, кривлялся, строил мне рожи какой-то живчик, а после взял да выпалил на весь класс, ничего не боясь: «Очкарик!»

Дети засмеялись. Учительница Роза Федоровна — некрасивая то ли девушка, то ли женщина — огрела его указкой по спине, так что озорной мальчик смолк и съежился. А после нервно потащила меня за первую попавшуюся парту. Весь урок наказанный упрямый мальчишка не давал мне покоя, обзывая то «очкариком», то «жирдяем», и такое было со мной тоже в первый раз: ни свою толстоту, ни то, что ношу очки, до этого дня еще не ощущал как что-то обидное, уродливое. Прозвенел звонок. На перемене, в зале, запруженном детьми, мы сцепились, душили и валяли друг друга по полу, пока нас не растащили взрослые. Потом еще кто-то меня обозвал: за мной бегали да кричали уже трое или четверо, а тот живчик был у них заводилой. Я не понимал больше половины слов, что они выкрикивали, словечек матерных, но отчаянно бросался в стайку мальчиков, отчего им делалось еще веселей. Они разбегались быстро, рассыпались, как бусины. А я тяжело топал, увальнем пытался их догнать, а не догоняя — чуть не ревел. Бывало, после, что меня обступали кругом и я терялся, не зная, на кого броситься, крутился волчком, спасаясь от пинков да тычков.

Это произошло само по себе, помимо воли: что ни день, только слыша какую-то насмешку, я бросался драться, чувствуя такое бешенство, от которого кружило голову. И помню только эти драки, драчки, которым не было конца и где битыми оказывались все.

В то время учились писать буквы, и вся нервная дрожь моя того времени вселилась в эти буквицы. Писать я учился неряшливо, криво, так что трудно было разобрать самому, зато понравилось считать да читать — возбуждение нервное от драчек и всех сильных перемен, что произошли в жизни, ощутило легкими делало мысли, будто освобождало саму способность мыслить, как если бы не цифры складывал в уме, а соображал, куда да как ударить. Очки в школу с собой не брал. А через месяц я сдружился с тем мальчиком, с которым ожесточенно дрался. Это произошло, наверное, потому, что нелюбовь уже успевала сделать таких, как мы, друг другу отчего-то необходимыми.

Мальчика звали Костей. Фамилия у него была смешная для детей, как обзывание, Кривоносов. Когда мы подружились, я перестал дразнить его, что у него кривой нос, хоть нос — вздернутый, сплюсненный, как утиный клюв, — и вправду смешил сам по себе. Но мальчик относился к своему носу всерьез, заставляя и всех в классе уважать его необычную форму. Мы с Костей дрались за свое нечаянное уродство уже с чужими ребятами, из чужих нам классов. После уроков шагали или к нему, или ко мне домой. Так открылось, что и он жил только с мамой. Наши мамы работали, не бывали днями дома, но Костина всегда оставляла сыну записочку — на каждый день, с памяткой того, что должен сде-

лать по дому. Сам я работы по дому отродясь не ведал, а если мама просила сходить купить даже хлеб, то снизойти до ее просьбы мог, только позарившись на сдачу. Но с Костей ходил и в магазин и убирался в квартире, пока стало нам это неинтересно, как надоевшая игра.

У него дома мне нравилось больше, там было много необычных вещей, таких, как пианино или проигрыватель с пластинками. Также у него была своя комната, своя кровать в уголке, покрытая ковром. А над кроватью — протянуть руку — полки с разноцветными книгами, с фотографиями разных людей да сувенирчиками. Книжки, книги, книги — до самого потолка. Меня влекло бывать в чужих домах, ходить по гостям — влекло в чужие, неведомые мирки-квартирки. Нравилось есть чужую еду. Играть в чужие игрушки. Вести беседы с чужими родителями, когда они о чем-то спрашивали приходившего в гости к их сыновьям мальчика. Для себя я решил, что Костя богаче, и льнул к его, как чудилось, богатству. Мы честно съедали его вкусный, богатый обед на двоих и начинали беситься, стуча кулаками по клавишам пианино. Косте отчего-то не было жалко вещей в своем доме, казалось, он не имел к ним, будто б к чужим, жалости. И однажды он сообщил тайну: его настоящая, родная мама давным-давно умерла.

Но я не смог осознать, что было его мучением, а Костику было неведомо, что мучило меня, — что у него в холодильнике, у его мамы, всегда стояло спокойно сразу несколько бутылок вина. Это вино и мы попивали воровато, воображая себя взрослыми. Мы замеряли, сколько было вина в бутылке, и он капал из нее в две рюмочки, трепетно сверяясь с отмеченной на глазок ватерлинией. И все же пропажу вина со временем возможно было и заметить, если сама хозяйка не вспоминала о нем с недельку. На этот случай я внушил Косте, что надо отвечать маме, зная уже откуда-то, что жидкость имеет свойство испаряться. Боясь опьянеть, мы заливали эти капли водой, так что пили почти воду. После шатались и задирали друг друга, переворачивая весь дом вверх дном, будто взаправдавшие пьяные. Он игрался, а я играл, наверно, отца, которого помнил болезненно только пьяным, но когда выпивал свою рюмку у Кости и мечтательно чувствовал себя пьяным, то гордился собой, что похож на отца.

Оставляя в квартире своего дружка разгром, я уходил, все чаще бросая Костю одного убираться там и не понимая, что его за беспорядок наказывают. Наши забавы были самые невероятные: мы однажды залили водой пианино неизвестно для чего, а после аккуратно его обтерли, как нам казалось, насухо, устранив следы своего чудачества. Но пианино треснуло, клавиши в нем стали западать, и мама добилась от Костики правды. Он был наказан в одиночку, не выдав меня. Чувствуя себя виноватым перед Костей, я привел его уже к себе домой, и так как пианино у нас дома не было, то, играя, мы с Костей устроили потоп во всей квартире — залили водой пол на кухне и в коридоре.

После стал я думать, что говорить маме, когда она придет с работы. Всегда я знал, что самое важное, чтоб у поступка моего оказалась разумная причина, которую мама поймет. Выучился мартышкой, что «мама прощает то, что понимает». Слова, внушенные, что «моя мама меня понимает», были в моем сознании почти молитвенными. Ничего ж разумнее в оправдание потопы не придумал, как высыпать на разлитую воду весь имевшийся в доме сахар и сказать маме так: я нечаянно просыпал на пол сахар и, решив его убрать, то есть как бы навести именно порядок, залил пол водой. Когда мама вернулась с работы, сахар — огромный куль — честно исчез, растворился в воде, которую мы с Костей как могли замыли.

Тапочки липли к сладкому полу. Мама покорно взирала на следы потопы и слушала мою разумную бодренькую сказку.

Я не ощущал в ее глазах суточной усталости и не понимал, что за благородный порыв перед наказанным Костей взваливаю на нее к вечеру еще и труд поломойки. Но мама похвалила мою попытку навести порядок и, переведя дыхание, замывала до ночи то, что мы с Костей наделали в квартире. Чай, оказалось, пить было в тот вечер уже не с чем. И пили горький, несладкий чай, но я терпел эту горечь с гордостью, что не был наказан.

Что б ни делал, чего б ни портил в квартире, все почему-то прощалось. Но я все равно считал Костю счастливее себя, ревнуя к этому счастью и к другим мальчикам. Так мы снова однажды подрались. Была уже зима. На школьный двор мы вырвались после уроков своей второй смены, и было все кругом, как ночью. Сыпался с неба снег. Двор воздушно утопал в белых хлопьях снега, но воздух был по-зимнему мгlistый, сизый, будто б расцарапанный до крови стеклянисто сыплющимися снежинками. Кучка самых озорных затеяла играть в снежки. А мы с Костей боролись, катались по снегу — тоже будто б играючи. Костю я поборол. Он отбежал в гущу, к ребятам, и вдруг стал громко кричать во всеуслышание: «Твоя мама пьяница, пьяница!» Ощущение головокружения и тошноты от того, что я услышал, быстро сменилось приступом иступления и ярости. Но из-за своей неуклюжести я так и не поймал Костю, а все бегал и бегал за вертким, ловким мальчиком, зло на бегу выкрикивающим одно и то же. И так было, пока бешенство не исторгло уже из меня освобождающие, торжествующие вопли: «А твоя мама умерла! Сиротка! Детдомовская сиротка!» Костя перестал убегать и кинулся на меня; и он, а не я, рыдал от услышанного, орал так страшно, будто б его резали.

Этот его ор так меня испугал, что бросился я бежать, спастись, но тщетно. Костя ледышкой ударился в спину. Та драка, что происходила, напугала всех, потому что ребята исчезли и двор был пуст, когда страшная огромная женщина растащила нас и трясла, держа за шкурку одного — в одной руке, другого — в другой, будто на весах, добываясь немедля правды. Но мы затравленно, глухо молчали, приходя в сознание, и уже не смели произнести вслух того, что кричали.

Женщина влезла в сугроб в одном платье. Снег сыпал ей искристо в глаза, будто это из ее глаз сыпались серебристые искры, и застил от нас ее лицо. Как мороз по коже, проридрал трубный, властный голос, требующий тотчас и за все ответа. Она втащила нас кутятами в теплую тишайшую школу, где слышен был гулко каждый звук. И мы позабыли, что с нами было, дрожа от страха только перед ней — директором школы. Чудилось, это огромных размеров пузатое мужиковатое существо проглотит нас. Но были на этот раз отпущены живыми, хоть и не прощены: всесильное существо потребовало явиться в школу с родителями. Мы бродили с Костей беспризорниками, собачонками в зимних сумерках, что казались нам уж глубокой, вечной ночью, тряслись от страха. Домой не шли. Пока не поклялись, что оба ничего не скажем нашим мамам, чтоб спасти их, да и себя от этого существа — от вызова в школу. На следующий день мы, ничего не сказав дома, ждали, обмирая от звука шагов, прихода этого существа за нами в класс. Но оно не пришло. Оно забыло о нас.

Снова я попал к директору школы очень скоро, той же зимой, за разбитое в классе стекло. Меня толкнул одноклассник, и я повалился на застекленный шкаф. Он отбежал, и Роза Федоровна схватила за шиворот меня. Я затравленно молчал. В школьном, набитом учебниками шкафу зияла дыра, будто и не стекло было разбито, а совершил кто-то кражу. Меня куда-то потащили. Ввели в огромный кабинет, где сидела она, директор, насупив густые, дремучие брови. Роза Федоровна что-то шепнула ей в ухо, она побагровела и оглоушила меня, стоящего перед ней столбиком, безжалостным кромешным ором: «Поставим на учет в милицию, там воспитают! Мать в школу! Немедленно ко мне мать, мать!..»

Теперь я был одинок. Придя из школы домой, весь вечер трепетал и ждал, что за мной придут. Выключил в комнатах свет, чтоб подумали, что никого дома нету, а чтобы не раздалось звонков по телефону, сдвинул незаметно трубку. Происходящее со мной осталось незаметным для мамы.

А что ее вызывают к директору — этого произнести не смог и начал день за днем скрывать. В школу ходил от страха не пойти, а на уроках сидел как мертво и прятался от директора: стоило почудиться, что раздался ее голос, как бросался прятаться в другой конец школы. Верил, что в силах этой огромной бровастой женщины отнять меня у мамы и посадить в милицию; школа и мили-

ция были чем-то общим в моем сознании — тем, куда пойдешь, даже если не захочешь, потому что заставят много-много людей, которые сильнее тебя одного. Мало что зная о милиции, я хорошенько помнил, что именно это слово было страшным отцу — помнил, как он его пугался, когда мама грозила не однажды позвонить в милицию. Я знал, что в милицию можно человека сдать, но не знал, что после оттуда все же возвращаются, мне казалось, что в милицию людей сдают на веки вечные. Думал, что милиция — это что-то похожее на темную комнату, где тебя наказывают темнотой, прячут от родных, лишают дома, не кормят.

Слово «милиция» застыло в моих ушах. А испугался так, что после у меня появилось легкое заикание; и потом, спустя много лет, приходя от чего-то в волнение или чувствуя страх, начинал заикаться. Ее звали Аллой Павловной. Она могла орать на всякого и, казалось, была поставлена распоряжаться в этом доме чуть не жизнями детей. Ей покорялись и родители — всегда можно было видеть, как стоят на первом этаже, беспризорные, мужчина или женщина, да ожидают у дверей ее кабинета, распахнутого меж тем настезь, так как она никого не боялась и не стеснялась. Она же запомнила мою фамилию и крепко помнила про разбитое стекло. Как я ни прятался от нее, но не однажды в спину ударяло басом: «Павлов! Ну-ка подойди ко мне!» Не чуя под собой ног, я подходил к ней, возвышающейся, такой же неприступной и громадной своим животом да боками, как гора. Волосы ее имели неестественный красновато-рыжий цвет. «Когда будет мать? Пусть или платит, или сама вставляет».

Те, у кого не было отцов, обнаруживались в классе самым унижительным образом. Все дети завтракали — школьный завтрак стоил три с копейками рубля в месяц. А кто был из неполных семей или с матерями-одиночками, тем завтрак в школе оплачивало государство. Роза Федоровна не церемонилась и деньги собирала прямо на уроке, проходя с целлофановым пакетом между партами. И ты у всех на глазах ничего в пакет этот не клал и завтракал потом вместе со всеми; если с матерью-одиночкой — то как бесплатник, а если отец все же присутствовал в жизни и платил алименты — то как льготник. И когда не хватало на весь класс котлетки или сосиски, то было всегда чувство, что ты съел чужую — того, чьи родители платили за школьный завтрак. Платили даже из тех семей, где отцы безбожно пили, все пропивая, и оставались незаметными, прощенными. А таких, кто не платил, отчего-то все накрепко помнили и ничего не прощали — от буфетчицы до директора школы. И если разбивалось в классе стекло, то виноватым всегда выходил этот, кого они помнили. Или стоило разбежаться на перемене, как уже ударял в спину брошенный камнем окрик: «Ну-ка пойд ко мне!»

2

Свиблово — московская окраина, километрах в тридцати от Красной площади и Кремля. Этот район Москвы обживали татары, переселенные сюда в шестидесятых годах из труппы Марьиной Рожи. Кроме татар, населяли район деревенские, кто жил еще в деревне Свиблово, которую снесли в пух и прах, отдавая землю ее под Москву. Деревня насчитывала бытия своего на земле многие сотни лет, как и московская земля. Ею владели при московских царях бояре из рода Свиблов. От бояр этих и взяла она свое название. Это я вычитал у Соловьева, в его «Истории России с древнейших времен», три начальных тома которой выклянчил у своего киевского дедушки, да и то как подарок загодя на четырнадцатилетие (больше он из жадности так и не дал), и тогда же возгордился написать ни больше ни меньше «Историю Свиблова». Но некая деревня Свиблово поминалась за всю русскую историю только раз или два, как боярская вотчина.

Нашу школу учителя называли не без гордости «русской». Гордость за школу внушалась исподволь с первых классов, будто б за «французскую» или «английскую». «Нерусской», то есть татарской, считалась другая школа, и про

нее ходили слухи, что там каждый месяц сажают кого-нибудь в тюрьму и что научиться в ней вообще можно только плохому. Бывшие деревенские, а теперь городские дети их, не одно поколение, учились в нашей школе, что и была построена здесь первой, еще до переселения татар из Марьиной Рощи. Выходило, что дети бывших деревенских наполняли одну школу, а татар ходили поколение за поколением в другую. Конечно, татары учились и в нашей школе, но принимали их с неохотой, когда уж не могли не принять, потому что жили на закрепленных за школой улице Снежной и проезде Серебрякова; улицы Седова и Русанова отходили школе татарской. Отчего-то почти все улицы в Свиблове, бывшей этой деревеньке, были названы именами покорителей Арктики, полярных летчиков или мореплавателей — будто инопланетян; а были еще в Свиблове улицы Амундсена, Нансена, проезд Дежнева. И бетонные плиты жилых домов казались поневоле кладбищем давно умерших покорителей ледового материка, такого же фантастического и отдаленного от сознания, как Марс. Ледовая пустыня так и зияла где-то во мгле да мерзлоте космоса, простужаясь на вселенском ветру, необитаемая для людей. Но одиночки рода человеческого все же побывали там — и вот парадом куцых однородных улиц, где из-под асфальта все еще пробивались к свету какие-то ростки да лопухи, вздумали отчего-то всем уж им сразу, по широте душевной, как покорители покорителям, воздать почести на месте стертой в пух и прах простой смертной деревни.

В самом Свиблове деревенские и татары уже детьми ходили оравами, отлавливая друг дружку на своих улицах, и дрались. Пыльные и пустоватые летом, зимой тесные от сугробов, улочки таили детскую злобу одних к другим. Злобой этой кишели компании уже начинавших спиваться неработавших и неучившихся парней, ожидавших или армии, или тюрьмы. Кто возвращался из армии — обзаводились семьями, шли на работу, отливая от прошлого. Народец смешивался и утихал далеко от этой вечной детской злобы: свибловские брали в жены татарок, татары женились на свибловских, жили обычно и умирали. От деревни осталось кладбище за оврагом у речки Яузы, где кончались дома, — оно не имело названия, было похоже издавеча на свалку металлолома, рыжая ржавчиной крестов да оградок, и хоронили там, самозахватывали на бесхозном кладбище клочки земли, только семьи деревенских — доживших свой век уже в городе стариков да старух.

Дворы пустовали, заросшие глухо деревьями. Свободы, простора, отбыв положенное в школе, искали на пустырях, где обрывались новостройки, — в оврагах, по обоим берегам обмелевшей, едва текущей по плоской голой равнине, но все еще манящей к своей открытой воде Яузы, у двух прудов размером с футбольное поле, куда летом ходили купаться, а зимой расчищали от снега пятачки льда и катались на коньках. На лесистом холме, над той плоской подошвой, где извивалась ядовитой мутной змейкой Яуза, а загнанная в трубу, под землю, разбухала двумя прудами, возвышалась брошенная усадьба свибловских помещиков да домовитая церковь с ободранными каменными стенами и с проломленным в темечке череповидным куполом. Оттуда доносился только вороний гвалт.

От деревенских домов, окружавших когда-то усадьбу и бесследно исчезнувших подле ее развалин, остались подвалы, погреба — ходы в них, покрывшиеся дерном, сровнявшиеся с землей, то и дело отыскивали, а бывало, что и проваливались туда. Потому мертвой усадьбы помещиков боялись. В лес на холме, в завалы каменные усадьбы и разоренной порушенной церкви, в Яузу, в пруды, в зияющие пробитые дыры погребов что ни месяц подбрасывали трупы, и можно было видеть, как, прочесывая местность в поисках улик и следов очередного преступления, бродили милиционеры, похожие на грибников. Свиблово таило где-то волчьи углы, воровские схороны. Ворье было тоже когда-то переселенное, живое наследие Марьиной Рощи. Эти люди, ходившие сторонкой, пустырями, молчаливые сутулые мужики да крикливые подпитые женщины, особенно летом любили поваляться на волюшку у прудов, устраивая себе для пьянок

шалаша в лесополосе, заманивая к себе выпивкой малолеток и разбитных школьников, купаясь да греясь под солнцем.

Пропадая на прудах, первым же летом, как мы переехали в Свиблово, видел я такую картину: подозвали мальчиков, ходивших стайкой с удочками вдоль берега. Мужчина, что восседал в кругу своих приближенных, выбрал одного мальчонку, протянул ему налитый стакан и приказал выпить. Тот заупрямился. «Пей, а то убью!» — И в руке, как у фокусника, появился нож. Плавно погрозил, будто пальцем; ни-ни, ну-ка пей! Страх заставил мальчика отпить из стакана. Через минуту он уже едва держался на ногах. «А теперь деньжатами делись. Небось мамка балует, вона какой холеный». Мужчина, годившийся мальчику в отцы, говорил с ним жестоко, хрипло, как харкал, но лицо его при этом было расслабленным, даже добрым, что и заставляло замирать от ужаса. «Сбегай к мамке, принеси рубль. А не принесешь, порежу, найду, из-под земли достану, и тебя, и мамку». Все, кто кружком разлегался за бутылкой, меж тем надрывались от гогота. Вор еще поворковал, довольный собой, и отпустил всю стайку перепуганных мальчиков на волю, пригрозив, чтоб не смели никому жаловаться.

Малолетние, что прибывались к таким компаниям на прудах, потом тоже начинали гулять по Свиблову с ножами — и так, в гульбищах, выросли. Всех таких, казавшихся одиночками, знали по их кличкам, ходили в одну с ними школу, где они наводили страх, в четырех-то стенах еще безысходней. Трусил мелочь. Устраивали для смеху пытки, принуждая что-то сделать унизительное. Ходили в школе, понятно, без ножей, но всегда казалось, что ножи при них; и если держали руки в карманах, то уже чудилось, что у них там финки. И мы, младшие, свято верили, что «им за это ничего не будет», что тот, кто осмеливался держать в кармане нож, был уже хозяином наших жизней.

Так случилось, что рос я много лет со страхом в душе перед одним таким хозяином чужих жизней.

Я был первоклашкой, когда он учился в третьем классе. Наши классы занимали еще общий, второй этаж. В ту же осень, когда распалась наша семья и мама да я со старшей сестрой после походившего на выселение обмена очутились в чужой сырой квартирке и когда я снова пошел в свой первый класс в чужую школу, произошло это событие: взрослый мальчик спас меня на перемене от пинков да тычков, лишившегося отчего-то собственных сил.

Отчего душонка моя затравленная выбрала его? Вдруг я увидел спокойно-го взрослого мальчика с красивым лицом, похожего на пионера, какие они тогда и могли рисоваться в моем воображении, красивые да благородные. Увидел и не испугался. И кинулся к нему за справедливостью. Да вот вдруг брякнул — верно, струсил все же старшего — и пообещал ему в награду жвачку, о которой только слыхивал, но был уверен, что никакой мальчик, даже пионер, от нее не откажется. А мальчик спас меня и законно потребовал свою награду, в тот миг я снова соврал и пообещал, что принесу ему жвачку завтра. И на следующий день прятался уже от него по углам. Но мальчик хорошо помнил о должке и сам подстерег меня у класса на перемене, а я снова что-то отчаянно соврал, пообещав уже сразу две жвачки, если он подождет. Не помню, сколько ждал мальчик, но наступил день, когда должен был я отдать ему две жвачки. И в этот день моей нерасплаты мальчик уже не поверил тому, что я ему там лопотал. Мальчик стал злым, когда понял, что нечего с меня взять, да избил уже сам, затащив в туалет, так избил, как умели они бить, которые постарше: кулачками да по лицу. И я помню ясно, что это было не больно, а тоскливо. Меня как ватного мордовал мальчик, которого мог бы я отшвырнуть и даже сбить с ног, но не делал этого. Скованный мыслью, что обманул его, я желал подспудно какого-то наказания, чтоб снова стало мне легко жить, как если б прощенному. А после старше становился я на год, и мальчик этот на год был взрослее, но так меня и не прощал. Я все еще был ему должен, и он исправно взыскивал этот долг.

Бывал учебный год, когда нас с ним разделяли этажи, но в другие времена неотвратимо надо было подниматься выше по лестнице, уже в кабинет физики

или химии идти на урок, и тогда мы по году блуждали на одном этаже. В школе боялись уже одного имени его, а быть битым оказывалось перед своими ребятами даже не унизительно: скорее у всех это рождало тайную благодарность за уважение, что если били или отнимали что-то у тебя, то это спасло кого-то другого. Если он кого-то бил, то превращал избивание в зрелище, заставлял смотреть школьников, как лущет одного из них, а порой не унимался и при учителях. Главное ему было не обобратить и даже не унизить, а избить, отработывая на живом человеке спортивные удары. Он красовался своим умением наносить удары. То, что он устраивал, наверно, было подражанием где-то увиденным каратистским приемчикам. Слух, принятый в школе на веру, что ему ведомы еще и какие-то «смертельные приемы» карате, заставляли и его одноклассников трепетать перед ним.

Мы ненавидели всех, кто нас унижал да мучил, шепотом мечтая их убить. Избитый им в очередной раз, я почти уже бредил этой мезьей, воображая его то привязанным к стулу, то безногим, то как попадает он ко мне в плен (потом в жизни и случилось так, как могло пригрезиться, казалось, только измученному, затравленному ребенку, да и то в мстительных адских мечтах, — призыв на службу в армию успел выпутать *его* из милицейских силков; на службу он и еще несколько свибловских ребят призыва этого года попали в каунасскую десантно-штурмовую бригаду, там он скоро совершил какое-то мелкое преступление, но, чтоб не быть осужденным, не попасть в дисбат, уже находясь под следствием, написал добровольную в Афганистан; вернулся изуродованный и без обеих ног, даже не к чему было приторочить протезы), и здесь я резал мучителя по лоскуточкам, совершенно как садист. Однажды он сорвал с меня пиджак от школьной формы и раскроил ножом на лоскуты, испортил, и с тех пор резать его так же вот, кромсать стало моей мечтой. Чувство мести, жажда почти садистская отомстить родились не в обиде за себя, а в обиде за маму, когда она безмолвно раздобыла денег, чтоб купить мне новую школьную форму (пиджак отдельно от брюк отчего-то не продавались). Форму эту новую было нестерпимо стыдно надевать, будто уже мы с мамой были у него рабами. Но нажитый страх быть избитым или обобраным заставлял молчать да юлить по коридорам школы, заглядывая наперед, высматривая, нет ли его, чтоб только разминуться.

Он побаивался уважительно лишь директора, но Алла Павловна швыряла да шпыняла его так, как только ему льстило. И если гневалась, то сперва обязательно вылетало: «А ну-ка, красавец!» Он вальяжно подставлялся самцом под ее тумаки и посмеивался, отбегая, а она меняла тут же играючи гнев на милость. Оттого и казалось, что ему все сойдет с рук. Он стал уединяться на переменах с одной своей одноклассницей, красивой армянкой. Уводил ее в глубь зала, где за спинами одноклассников, которые их нарочно загораживали, они смыкались в поцелуе и не разнимали губ до самого звонка, словно пили что-то друг у друга изо рта с показательным наслаждением; один раз он обожрато будто б срыгнул через плечо после поцелуя струю слюны. Что не успевали углядеть снующие по коридору учителя, было на виду у всех школьников, толкущихся в зале, человек шестидесяти из разных классов. По залу блуждал циничный шепоток сведущих. Все, чудилось, замирали в этом блудливом шепоте, хоть и ходили парочками, группками, и мало кто стоял на месте, будто это было дозволено только этим двоим, что красовались откровенно своим поцелуем и ддили его дерзко, бесстыже. Зависть чужая доставляла ему удовольствие, почти как лесть, и внушала ощущение силы.

Оказавшись как-то близко к этой девушке, я испытал неведомое — всего вдруг обволокло тепло, заставляющее трепетать. Она вошла в только что опустевший после звонка буфет, где только я да еще один мальчик, дежурные, убрали столы за своим классом. Когда девушка обращалась к буфетчице, стал слышен ее голос — неожиданный грубый да простоватый, диссонирующий, как у людей, лишенных слуха. Он томно, тягуче пелся и фальшивил в каждом звуке. Она купила себе эклер и сок, а мы с товарищем замерли, пораженные тем, ка-

кую буфетчица отсчитала ей сдачу. Она вкушала на наших глазах пирожное, запивая его соком, и отрешенно смотрела в окно, ничего кругом не замечая. Мы возили тряпками по столам в двух шагах от нее. От окна сквознячком тянуло дразнящим живым запахом; девушка пахла сладостью уюта. Так близко лицо ее походило на маску. Правильные неживые черты покоя, довольства. Она доела эклер, а стакан грязный поставила на стол, где мы убрали, ей было лень убрать за собой, и она, увидев вдруг маленьких уборщиков, заставила их неожиданно совершить эту простую работу: убрать со стола еще один стакан.

После мне чудилось, что она — его уши да глаза. И еще что-то более глубокое, будто единоутробное с ним, с моим страхом и моим мучителем. Даже красота их была какой-то единоутробной. Но на нее, на эту девушку, можно было, оказалось, глядеть и даже быть с ней рядом. И, всякий раз видя ее снова отдающей ему в руки, я испытывал что-то странное: словно попадало ему в руки то тепло, что заставило меня трепетать, мое личное, как собственность. И еще мне казалось, что она запомнила меня, что лень тогда ее и заставила обратить именно на меня внимание. Она, эта девушка, стала казаться мне самой совершенной из существ женского пола. Непонятно отчего я был ею очарован и заморожен. Он называл ее любовно: «Женушка моя...» Бывало, даже орал через весь школьный коридор, подзывая ее к себе: «Женушка!» На переменах они вели себя, как муж и жена, так вот степенно. И я замечал глуже все подробности: она стала носить его вещи — его вельветовые рубашки; он любил все вельветовое, как раз считавшееся шиком. Алла Павловна, видя ее, делалась багровой от гнева. Это было осенью. В середине зимы по коридору, где весь наш этаж толкался на переменах, поползли слухи: глядели на нее и шептались как-то иначе.

Он вдруг отшатнулся от нее, на переменах обхаживал уже других своих одноклассниц, пока что пугая их своими грубыми, дерзкими ухаживаниями. А девушка стояла одна у окна, где они, бывало, целовались, и теперь никто это место у окна не загораживал, а, наоборот, все старались дружно быть от него подальше, и к ней самой мало кто подходил из сверстниц. Она не казалась несчастной, хотя одиноко да зло, ничего не желая понимать, верила в свою особенность в сравнении с другими девушками. Алла Павловна заходила к нам на этаж, будто нарочно, чтоб убедиться в ее изгойстве, и, до поры довольная, молча удалялась. «Все толстеешь?!» — уже грозно кричала ей Алла Павловна, заявляясь через месяц хозяйкой к нам на этаж, и я не знаю, что приходило на ум школьникам, но сам видел перед глазами отчего-то пирожное; когда кричала на нее так директриса, бессознательно именно эта картинка приходила на ум, что она любила пирожные... А девушка однажды исчезла.

Он тоже исчез, схлынув весной с отъявленными малоучками да забытыми тихонями, чьи школьные годы на этом кончались. Той последней весной он не раз заявлялся в школу пьяный уже с утра. Зачем-то еще ходил на уроки, хотя его жизнь давно стала иной. Алла Павловна сама выводила его из класса на свежий воздух. Он перебирался на задворки. Отнимал у младших деньги, а кого постарше, своих одноклассников, что выбегали на переменах бодрячками покурить запретную в школе сигаретку, отлавливал да посылал угрозами за бутылкой — распивал в одиночестве, если еще не обзавелся компанией, снова сшибал мелочи рубля на три и снова посылал кого-то сбегать за портвейном, пока вконец пьяный не терял памяти и не уходил отсыпаться в сад или еще куда-то, один или уже с какой-нибудь разбитной девкой из старшеклассниц, подпоив и ее портвейном. Сад наш школьный по весне расцветал, цвели старые размашистые яблони, и в нем было много укромных мест.

Свежесть цветения тянула школьников в сторону сада, как одурманенных. Осенью же кислые, твердые яблоки манили только воронье, и сад забыто пустовал. А колючие диковатые кусты шиповника, которым заросла школьная ограда, в сентябре истекали кровинками ягод, внутри мякотных, будто сварившийся вкрутую яичный желток, с косточками, как у винограда, кисло-сладких на вкус. И все жевали шиповник, даже на уроках. Зимой на спортплощадке за шко-

лой, пустующей да пыльной летом, заливали каток, и уже там воздушно, снежно роилась беспечная, развеселая жизнь.

Где-то в то время — время цветения нашего сада — мы столкнулись на проторенной школьниками тропинке; школьная ограда была крепка, но со всех четырех сторон света в бетонном заборе неведомой силищей были пробиты ходы кратчайших путей. Он куда-то брел прочь со школьной территории, а я прогуливал урок и слонялся в ее окрестностях. Он глянул на меня мутно, но, наверно, не распознал и почти попросил дать ему хоть сколько-то денег, называя «мальчиком». На его мольбу: «Мальчик, дай мне денег...» — мне было нечем ответить, да я и подумал, что это притворство, начало обычной его игры, а потому стоял увальнем да ждал мучений. Он стал спрашивать меня, куда я иду, будто жаждал хоть с кем-то поговорить. Всучивал мне как дружку сигарету. Просил, чтоб я отвел его к себе домой, потому что он хочет спать. Я б, наверно, так и поступил, замороженный, но через минуту он сам забыл, что мямлил. Только вцепился судорожно и не отпускал.

И я ощутил, как он трясся. Ему было страшно, и от слабости он едва держался на ногах. Ощутил я это так явственно, что позабыл свой собственный страх и легко себя освободил: рванулся что было сил, а он упал как подпиленный да рыдающе взвыл, что-то заорал.

Но я уже, не чуя под собой земли, мчался в школу.

3

При школе жила сторожиха — пугавшая, как ведьма, тем, что наружу выходила только с метлой или, зимами, с лопатой, в любую погоду совершая одну и ту же молчаливую работу, зырякая недобро из обмоток платка на расшумевшихся школьников. У бабы этой, такой вздутой и краснолицей, словно ее кусали пчелы, жила рыжая крохотная девочка лет шести, дичившаяся всего вокруг, как зверек, подле которой, в свой черед, вертелась преданно маленькая бесхвостая дворняжка. Чувствовалось, что баба души не чает в этой девочке, а девочка — в своей бесхвостой дворняжке, ну а та любила, чудилось, весь мир. Все школьники знали, что собачку звать Диной и ко всем она глуповато ластилась: ну а если угостить, то после встречала как благодетеля с радостным визгом: подползала чуть не на брюхе, виляя обрубок так, будто это тикали ходики, у ног совсем вжималась в землю, дрожала отчего-то и пускала под себя лужицу. Младшие гладили ее да тискали. Отнимая друг у друга. Кто постарше, отчаянные дразнилки, лаяли, строили дикие гримаски, от которых дворняга мучилась, как от страха, и отползала задним ходом. А остолопы, что бегали за школу на перекур, остепенившись, забаву подыскивали посерьезней, со смыслом: они подманивали Дину и выдыхали в собачью рожницу клубы табачного дыма. Собака чихала, взывала истошно и мчалась к сторожихиной дочке, своей хозяйке. А от этого воя истошного и от вида насмерть испуганной любимой собачки рыжая девочка пугалась и сама начинала реветь. На плач истошный девочки выбегала неуклюже из каморки баба-сторожиха: всплескивала руками, принималась утешать ее, баюкая, утирая фартуком слезки. Но собака выла, и девочка плакала опять и опять... Ученики взрослели, и она должна была б взростеть вместе со всеми, но, поумнев, понял я однажды, что эта девочка не такая, как все. И в нашу пору, ровесница нам, стала она для нас дурочкой; знали, что у школьной сторожихи есть дочка-дурочка, которую та прятала, чего-то боясь, выгуливая ее, когда никто не видел. Имени ее я не помню, а наверно, и не знал.

У кого-то поднялась рука повесить на пожарной лестнице собачонку. Школьники поутру, вместо того чтоб спешить на урок, запрудили толпой место преступления и глазели на эту виселицу. Ни на что другое не хватало ни у кого духа да соображения. Всех, как толпу мерзавцев, разгоняла Алла Павловна. Собаку вынимала из петли, будто опьяневшая, сторожиха. Дочку ее шумно, опять собрав толпу свидетелей происшествия, на другой день увезла машина «скорой

помощи». Потом исчезла и сама сторожиха. Чистота, какую наводила дворничья метла, мертво утихла. Может, еще являлись на место сторожа и дворника в школе какие-то люди, их уже не помню.

Люди исчезали иной раз нелепо, смешно. Безликое громоздкое строение школы, похожее разве что на маслобойню или элеватор, украшали барельефы великих русских писателей: на высоте второго этажа, над парадным подъездом, будто отрубленные, выставлены были на всеобщее обозрение эти человеческие головы классиков литературы, выступающие из стены и глядящие друг другу в затылок. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Горький... Одной из весен подвыпившим военруком был отстрелен нос Горькому. Тогда сбивали сосульки с карнизов и крыш. Одна как раз повисла на носу у Горького, оплывала, будто свечка, горя огоньком солнечных лучей, и грозила упасть кому-то прямо на голову.

Военрук, желая угодить Алле Павловне, сам напросился на этот подвиг — обещал точным выстрелом из мелкашки устранить сосульку. На школьном дворе собралась толпа любопытных учеников. То ли военрук расхрабрился оттого, что был выпивши, то ли выпил для храбрости. Все наглядеться не могли на винтовку и ожидали не столько меткого выстрела, сколько доселе не слышанного его звука. Алла Павловна возвышалась в сторонке и самодовольно ждала; она лично углядела эту сосульку и подписала ей расстрельный приговор.

Военрук, полковник в отставке, неизвестно каких войск, кажется, впервые за свое еще недолгое учительство изготовился показать на деле мастерство стрелка. Он очень волновался, вид имел самый важный — крепенький коротышка с грудью-панцирем и руками-кляшнями, похожий на рака, и такой краснолицый, словно варили его в кипятке. Звука выстрела никто не услышал — мелкашка будто сглотнула пульку, а не выплюнула. И на глазах у всех от барельефа Горького неожиданно откололся нос, сошел со своего места эдаким куском гипса и стал падать, унося с собой и прилепившуюся огромную сосульку. Лед разлетелся вдребезги, рассыпался по асфальту искристым крошевом. А нос у Горького оказался отшиблен.

Военрук был посрамлен, и тут же Алла Павловна осрамила его еще безжалостней, обнаружив вдруг, что находился он в нетрезвом состоянии. «Пьяницам не место среди преподавателей!» — вопила она и требовала от военрука «покинуть территорию школы». Несчастный полковник того и не ведал, когда расхрабрился на этот выстрел, что промах обернется тут же увольнением с работы, переменной всей его наладившейся было спокойной да тихой жизни. В один миг он оказался и мазилой, и пьяницей и к тому же нанес школе значительный ущерб, изуродовав ее парадный фасад. Наверно, Алла Павловна взыскала с него за «ремонт школы», прежде чем уволить. Со всех, кого выгоняли из школы, обязательно взыскивали «за ремонт», словно Алла Павловна специально ждала того момента, когда имущество школьное нечаянно или умышленно портили, чтоб взыскать за ту порчу втридорога, а после уволить, ожидая паучихой следующую жертву.

Нос, однако, за все годы так и не починили. Он отрастал у Горького зимами, изо льда, а веснами растаивал. И вспоминался, как только взглянешь, уже не Горький, а полковник в отставке, горемычный коротышка, в один миг оказавшийся виноватым.

Военруки, трудовики, учителя физкультуры сменялись неустанно, как если бы изнашивались на работе, и школьники не успевали запомнить их имена. Их всех отчего-то было жалко. Преподававшие с мелом в руке, особенно математику, выглядели поневоле неряхами: мел выедал их руки, которые становились высушенными, заскорузлыми, будто у маляров, вьедался в одежду, будто соль, крошась прямо с доски, когда испещряли ее отрешенно оспинками цифр.

В учителях вообще ощутимы были подневольность, бессилие. Учитель страдал от своей неестественности, потому что оказывался перед классом как на подмостках. Люди взрослые неожиданно вынуждены были лицемерить, желая как раз показать свою искренность; выказывающие свою доброту, дожидая-

лись издевательств; все вылезало наружу да представало в самом неожиданном свете, как на Страшном суде. А судьями были чуткие, будто обезьянки, детишки. Порой и над этими детишками устраивалось такое же судилище, и кого-то из них выводили на всеобщее обозрение, чтоб обнаружить на виду у класса, а то и всей школы, как он туп, грязен, нечестен, виноват... У многих учителей в классах учились собственные их дети; сыновья-школьники старили усталых, в возрасте, женщин, чопорно скрывающих к тому же материнские чувства. Чтобы казаться справедливыми, они все одинаково вызывали своих детей отвечать урок по фамилии, как чужих, да за примерный ответ ставили не выше тройки; только учительница географии числила сына Павлушу в отличниках по своему предмету, не скрывая и того, как он ею любим, но Павлуша Буренков и командовал своей матерью уже в этом возрасте; отличниками по географии, во исполнение его воли, были и все, кто с ним дружил. А кто задирал розовощекого Павлушу, тот получал сдачи от его родительницы. География была не тем предметом, чтоб много значить, но Тамара Павловна заставляла обидчика пережить на уроке все мытарства и унижения, которые только возможны, делаясь и находчивой, и желчной в лице до плесневелой зелени, а также вредила как могла и по школе, преследуя на каждом шагу, пока Павлуша не оказывался отомщен.

Молоденькие живенькие училки, преподававшие иностранные языки, как-то женственно ласкались к ученикам и были любимы за эту убаюкивающую свою немощь, но являлись, как солнышко меж туч, да исчезали, ласковые, в чужестранных декретных отпусках, всякий раз заставляя испытать нечто схожее с ревностью; исключая Катерину Ивановну Раух, Раушиху — природную немку, с кукольным маслянисто-сонливым личиком и с башней ярко-рыжих волос на голове, из которой, что жерла пушек, выглядывали шпильки (верно, вся эта башня волос была у ней накладной), передвигавшуюся величественно при помощи толстой указки так, будто опиралась на посох.

Но являлся даже наперед указки ее живот, плывущий низко над землей наподобие воздушного шара. Воздушный этот шар, как хамелеон, принимал фруктово-ягодные цвета ее платьев — то малиновый, то вишневый, то абрикосовый. Все они, платья эти, шиты были по одному фасону, навроде сарафана с рукавчиками, да из одной старомодной ткани, из кримплена. Указкой же она и учила немецкому языку — и в ее группе все были отличниками. В тишине класса она засыпала, но стоило раздаться живому шороху в классе, как веки ее разлипались и гора плоти приходила в движение. Она изрыгала, как вулкан: «Ах-тунг!» Все смолкало, после чего Раушиха успокаивалась, добрела и сменяла молившегося у доски ученика. «Битте, битте...» — наводила она указку на нового ученика, не вспоминая давно никого по именам. Тот выходил бочком, чтоб не попасть под действие указки, и, вставая монашком у доски, за ее величественной массой, начинал читать тот же самый заученный этюд на немецком или стихотворение. Можно было и соврать, нагородить околесицу из каркающих слов, главное — только не запнуться, не замолчать. Этого Раушиха не переносила. Если кто-то замолкал, она просыпалась и багровела не на шутку, произнося: «Айн, цвай, драй — дас коридор зайн!» — что по-русски бы звучало: «Выйди вон!»

Неучей боялась, как заразных больных. И если начинала подозревать ученика всерьез в этой болезни, то избавлялась уж от него основательней: шла к Алле Павловне да заявляла, что такого-то она отказывается учить. Перечить ей Фейгина не смела, потому что отказ учить хоть одного ученика был в понимании Катерины Ивановны отказом вообще учить кого бы то ни было, пока из ее класса не удалят этого заразного, опасного для общего здоровья типа. И тип этот попадал в группу, где очередная молоденькая учительница как раз упархивала в декрет, и делался окончательно неучем, потому что группы этих декретниц принять в свою Катерина Ивановна даже на разок брезговала до истерики. Сама Катерина Ивановна за все годы, наверно, ни разу не болела. Она была такой однооб-

разно-безжизненной, словно, засыпая на уроке, уже умирала не раз во сне, но возвращалась всякий раз в жизнь, в явь, всплывая пузырьем, надутая только этими «ахтунгами» да «биттами». Когда-то однажды в своей жизни она побывала туристкой в Германской Демократической Республике, да и то в одном городе, Дрездене, и величественно просыпалась, стоило вдруг всплыть при чтках учебника его названию, вспоминая и произнося как бы поощрительно, будто бы соглашалась с чтением: «Дрезден ист гутен штат!» Сама она по-немецки произносила один и тот же десяток предложений, похожих на пословицы; по-русски говорила еще ленивей да короче, словно заговаривая на этом языке, ей тоже приходилось всплывать из нездешнего уютного сна.

4

Урок музыки начинался с прослушивания грампластинки.

Бывало, класс разучивал слова и мелодию — новую песню и старался спеть под аккомпанемент все той же пластинки, встречая своими голосками. Детские глуповатые песни выжимали только смешки. Так было в самых младших классах, когда учили пению. И я помню, что потрясение от услышанного на пластинке, а потом и от собственного зазвучавшего голоса испытал только однажды, когда услышал гимн. Уже и слушали его мы только стоя, чего никогда не бывало, и учитель — долговязый волнительный мужчина, похожий на смычок, — тоже стоял у своего стола, замерев, как на портрете. Сначала несколько мгновений слышно было из проигрывателя мышинное шепуршание. И стоило грянуть первым же громким звуком, как свет в классе сразу померк. Волны воинственной музыки хлынули одна за другой, и я, сам не понимая отчего, стал ощущать и в себе это возвышенно-воинственное, слыша вполнину понятные слова гимна; да они, наверно, и ничего не значили. Тяжелая толща музыки колыхала душонку, будто щепку, а когда толща эта возносила и вдруг падала, то дух захватывало и вовсе. На следующий урок под курткой школьной, за поясом у меня спрятана была деревянная шпажка. Не знаю, откуда она у меня вообще оказалась. А может, это была обструганная деревяшка, которую утащил с урока труда, заигравшись с ней как со шпажкой.

Пока мы разучивали слова, напевали невпопад, ничего со мной не происходило. Но стоило зазвучать пластинке, как воинственное снова повелевало душой; особенно в тот раз, когда сжимал гневно шпажку, осознавая словно некую жгучую личную тайну, и жест этот свой, скрытый ото всех, и похожую на орудие убийства деревяшку, которую прятал, скрывал от глаз учителя сначала только по случайности. Это уже не было игрою в войну. Вдруг глаза тепло заволакивало влагой. Голос рвался орать, вопить, а не то что воспеть только заученные слова.

Первый раз в жизни, слыша собственный голос, ощущал я такую силу и такой восторг, с каким должно и убивать, и умирать во имя чего-то, что выше человеческих жизней; и сколько раз гимн проигрывался после на уроках, столько раз казалось мне, что началась война. И слышал я зов, наверно, в этой музыке, на который откликался почти животным зовом умирать и убивать во имя чего-то самого главного. Уже куда позднее внушали ко времени, что это главное — партия, родина... Но после переживания той тайны обретенный позднее в словах смысл ничего не рождал в душе возвышенного, такого же искреннего в своем порыве, да и разумность только угнетала.

Наш класс принимали в пионеры; теперь уже всех непринятых ранее, человек восемь, повели толпой в пионерскую комнату, как в баню. И было такое же настроение, состояние духа, какое бывало именно в банный день в пионерском лагере: раздеваться вместе со всеми ребятами догола стыдно, но и отчего-то волнительно; ново и обездоленно держишь в руках своих полотенце да мыльце; переживаешь, как бы не разглядели в тебе какое уродство, за которое начнут дразнить; предчувствуешь помывку как испытание, а уж после бани с ощу-

щением вымытости ходишь до вечера чужой себе, сам не свой, как подлиза-чистюля.

Мы нестройно вошли в пионерскую комнату и увидели пионервожатую. Она сидела ровнехонько под кумачовым знаменем нашей дружины и встречала нас будто учительница, с тем же выражением лица. Пахло сладковато почетными грамотами, что были прикреплены на стенах; отчего-то они источали именно сладкий запах, как печенье. В шкафах, за стеклом, будто музейные экспонаты, покоились пионерские барабаны, в которых распялен был таинственный пергамент, так казалось, весь процарапанный, в темных разводах, завораживающий глаз. Точно так глаз завораживали и молчащие пионерские горны. И было чувство — любопытство, смешанное с завистью к тем, кто уж постучал и подудел, — что, когда станешь пионером, вручат тебе такой вот горн или даже барабан.

Чтобы вступить в пионеры, надо было выучить клятву да сделать свой альбом об одном из пионеров-героев. Пионерская клятва давно поджидала будущего пионера на задней обложке ученической тетради, и я уже помнил ее наизусть. Пионерский галстук обошел меня ранее только по болезни. Чтоб обладать им, вступил я тогда в соревнование, почти по-спортивному страстное, очутился в отличниках, поднадорвался — заболел. А не повязав его в числе первых, с год удрученно жевал в памяти эту клятву пионера, помнил ее как обиду на несправедливость; тогда вступить было отличием среди других, а теперь вступление стало уделом отстающих, кто плелся в хвосте класса по успеваемости и поведению. Через год галстук не казался украшением и смерял неуютно гордыню. Но волнение явилось снова, потому что верить цинично, что примут каждого, никто даже из отстающих не смел.

Мы расселись за продолговатым столом, как одна большая семья, и пионервожатая начала распределять меж нас в тишине темы пионеров-героев. Она достала стопу уже готовых альбомов, изданных в виде книжек, наподобие детских: больших, мягких, где главное всегда — это картинки, и обратилась вдруг с вопросом, а есть ли у кого-то из нас уже свой любимый герой и, может, кто-то сам ей скажет, о ком бы хотел делать альбом. Все оживились и начали подобострастно, перекрикивая друг дружку, вымалывать у нее одного и того же героя — Павлика Морозова. Вожатая растерялась и скоренько прекратила шум. В мою очередь она протянула книжицу (вынимая ее из стопы так особенно, словно гадала судьбу) с портретом то ли грустно, то ли обреченно глядящего мальчика с автоматом в руках и партизанском тулупчике — Лени Голикова... Мне стало так тоскливо, будто снова заболел и лишился пионерского галстука, — этот мальчик не нравился, было даже стыдно, что достался мне какой-то там «Леня», и я не видел в его внешности ничего геройского, а только что-то деревенское, о нем вот ничего и не слышать, какой же он герой!

А Леня Голиков грустно глядел на меня (теперь выражение его глаз казалось даже просящим) и будто просил: ну возьми меня, видишь, какой у меня автомат красивый, какой я сам никому не нужный, возьми и не пожалеешь, не сомневайся, в пионеры я тебя проведу. Мне казалось именно так, что я взял его из жалости, потому как никто его не хотел брать, чтоб делать альбом. Теперь мне предстояло все узнать о его жизни да разукрасить ее с любовью, будто яичко к Христову дню.

Случилось так, что на третий день знакомства с его судьбой я уж плакал. Его не мучили, как других пионеров, он погиб мгновенно от пули, но отсутствие геройских мучений как раз делало его смерть какой-то грустной, безутешной. Леня Голиков погиб на месте, и чудилось, это просто смерть впилась в него, как в отбившуюся от стада легкую добычу. Он должен был погибнуть, потому что в чем-то был слабее других. Глаза его теперь мерцали мне с портрета, будто я глядел на них из темноты. Все уж выучил наизусть, вдруг ясно понимая, что должен выучить наизусть чужую смерть и что рассказ мой будет только о смерти. Я купил в магазине самый добротный альбом из уважения к этой смерти; мне и

не пришло в голову выгадать на цене именно из-за уважения к этому мальчику. Я украшал свой альбом так, будто впервые в жизни делал могилку. Все шло в ход. И цветная бумага, и даже елочный «дождик». Где-то я достал точно такой же портрет, вырезал его и вот поместил в своем альбоме как бы в утешающую красоту. Именно за красоту получил я замечание от вожатой, когда сдал альбом. Но о подвиге Голикова рассказал плача, так что даже пришлось ей меня в конце концов утешать, чувствуя, верно, свою вину.

Слова о том, что в кумаче моего галстука есть капли Лёниной крови, долго не казались мне просто словами, только гордости я не почувствовал, когда повязали галстук, и клятву произносил фальшиво: там, где клялся не пожалеть жизни, вдруг чувствовал, что вру. Именно жизни своей мне и стало жалко, и тому будто и научил меня Леня Голиков, когда я бредил им много дней: быть убитым, умереть, превратиться из живого мальчика в ничто — это неправильно, это страшно... Ко мне являлся много дней грустный убиенный мальчик и светом потухших глаз только о том и жаловался: я убит, я убит, я убит... Все, что мог узнать до того о войне, угнетало картинами разрушений, убийств и заставляло испытывать счастье от мысли, что вот меня-то никогда уже не будут так пытаться да убивать. В сознании бродили образы пыток да разрушений из военных фильмов и пугали до смерти. И так же пугал голод. Вообразить, что может стать нечего есть — было ужасом, где все меркло. Потом другой страх, что мог не родиться, погибни отец или мать еще до рождения моего на той войне. Протяженность их жизней всегда соединял со своей, и было особенно важно то, что мои родители почти не застали войну. И выспрашивал маму: а что ты ела тогда? Чем кормили тогда детей? И ее ответ должен был сделаться моей верой, что от голодной смерти люди не умирают даже во время войны.

Бывало, в классе как по команде прекращался урок — в школу нагрянули гости. По приказу Аллы Павловны учащиеся младших классов, будто военно-обязанные, спешно группировались в нестройные колонны и направлялись походным порядком в актовыв зал. Подыматься надо было на последний этаж, но столпотворение на лестничных пролетах, суматоха, нервные окрики растерянных учителей делали это восхождение похожим на эвакуацию. Так, подобно пожару, школу застигали врасплох идеологические мероприятия районного масштаба, даже о времени проведения которых давалось знать и самой Фейгиной, наверно, только в последнюю минуту. Зал должно было заполнить, чтоб не торчало ни одного пустого стула. Для внушительности она усаживалась среди школьников сама, и в мертвой тишине, когда все было готово, несколько человек выходили одиноко на сцену; а среди них совсем одинокий подымался на помост кто-то ряженный — его и возили в тот день по школам района... Было неясно, для чего эти люди пришли и чего хотят добиться; а по-тогдашнему, что нужно запомнить, чему выказать единогласное одобрение.

В тот раз всех представила Алла Павловна гостями школы, но по виду смущенному на гостя ходил только один из них — сутулый странный мужчина, причесанный и одетый вовсе не как уважающий себя человек. А двое смазливых дядечек, что дежурили при нем — в одинаковых темных костюмах, с комсомольскими значками (на значки глядели все с завистью да обожанием) и одинаковыми аккуратными прическами, — предпочитали стоять отчего-то за его спиной, на шаг подальше, будто сторонились чуть брезгливо и подчеркнуто вели за ним наблюдение. Они глядели по-хозяйски в актовыв зал, куда нас согнали. Один напыжился, увидев в зале одних пионеров, был неприятно удивлен. «А где же комсомольцы? Среднему возрасту будет непонятна наша тематика. Эту лекцию мы планировали для юношества...» Алла Павловна почуяла в нем хлюпика и во всеуслышание тут же заявила: «В своих старшеклассниках я уверена, им надо готовиться к экзаменам. А вот здесь как раз немало таких, пустоголовых, кому полезно будет послушать и о вреде религии. Тишина в зале! Всем слушать! Молодые люди, прошу начинать...»

Привередливый инструктор смирился, затих, он в конце концов и сам отбывал положенные часы. Его напарник-близнец еще сговорчивей поспешил

взяться за работу и как затейник обратился со звонким дружеским призывом в зал: «Ребята, среди вас есть верующие в Бога? Кто знает, кто такой Иисус Христос?» Зал оживился, предчувствуя то ли викторину, то ли еще что-то увлекательное, но пока молчал. «Ну, не бойтесь! А крещенные есть?» Несколько голов тут уж горделиво откликнулись, с глуповатой верой в поощрение: «Я крещеный!», «И я!», «А меня бабушка крестила!» Затейник довольно заулыбался: «Ну вот, молодцы... А крестики носите? Видали крестики? Ну что же вы, ну хоть у бабушек своих...» Зал смолк. «Я видал! — раздался во спасение инструктору запоздавший ребячий голос. — Моя мама носит такой. Она говорит, что он из золота. И еще человек на нем лежит. Бог». «Загорает, что ли, Боженька?» — изобразил изумление инструктор, да так уморительно, что насмешил зал. Мальчик, которого осмеяли, дерзко да со злостью выпалил: «Мертвые не загорают». Затейник вдруг посерьезнел: «А откуда ты знаешь, что мертвый?» Мальчик выждал, чтоб в зале стихли последние смешки, и с удовольствием произнес, наверно, воображая, что сразит поднявшего его на смех инструктора да неверных товарищей: «Этого только дураки не знают, что Бог мертвый. Его убили...»

«Алямов! Закрывать рот!» — взорвалась было Алла Павловна, но инструктор ее успокоил. «Ничего, ничего, все движется по плану... Пионер Алямов вступил со мной в полемику, и это очень важно, ребята, что вас волнует эта тема. Бог действительно мертв. Но он не просто мертв, он еще мертвее, потому что в природе Бога нет! Это доказывает наука, а те, кто еще верит в Бога, отстали от времени. Или их обманывают, запугивают Страшным судом. Наша эпоха покорения космоса наглядно доказала, что никакого Бога не было и нет, не будет и никакого Страшного суда. Сегодня на встречу с вами пришел бывший служитель культа, бывший священник товарищ Ерофеев. Раньше он не только верил в Бога, но и работал в церкви, где крестят еще у нас детей некоторые темные бабушки. Также когда-то и его окрестила бабушка, но вот прошло много лет, и товарищ Ерофеев понял, что оказался участником обмана. Сейчас он вам расскажет, как нашел правильный путь и порвал с религией, с этим пережитком прошлого. И о Боге, я думаю, тоже расскажет, ведь расскажете, поможете ребятам во всем разобраться, Александр Ильич?»

Все с любопытством разглядывали странного человека, в котором уже начало мерещиться что-то таинственное, зловещее. Он сидел на стульчике, как одеревенел, и чем дольше пустословил инструктор, тем, чудилось, больше ему было сидеть, точно длилась для него какая-то пытка. Он был одет тоже в костюм, но такой ветхий, пыльный, что казался в нем привидением. Лицо его поросло жиденькой бородкой, налипшей на щеки и подбородок, как водоросли, а волосы имели такую же длину, что и у женщин, до самых плеч. Они были собраны в хвостик, как и у многих девочек, сидящих в зале. Женоподобный хвостик волос, туго стянувших к тому же голову мужчины, будто был натянут на нее эдаким шерстяным чулком, для слыхом не слыхавших ни о Боге, ни о служителях культа тут же превратился в символ чего-то неестественного, пугающего. В наглядное уродство человека, якшавшегося с мертвецами. Любопытные взгляды пионеров неожиданно обозлили гостя, как обезьянку. Со злой обезьяньей гримаской бывший служитель культа и поднялся со стула, когда инструктор дал ему знак. Помолчал. Помедлил. «Ну, товарищ Ерофеев...» — подал раздраженно голос привередливый комсомольский вожак. «А что говорить? С кем говорить? С этими?! — мучительно обратился тот в сторону стоящих за его спиной и остолбеневших от удивления инструкторов. — Этим чего лекции-то читать, будет только вредней. Мне бы комсомольцев... Вы же сказали для старшего возраста вроде лекцию прочитать...» «Товарищ Ерофеев, возьмите себя в руки. Мы не на базаре, прекратите торговаться, ну же...»

Теперь я понимаю: они ходили по всем районным школам и водили за собой этого блудного, обозленного на весь мир человека, верно, и сана-то лишеной за какой-нибудь блуд. Он отчего-то сохранял внешний облик священника — не стриг бороды и волос. Лекция была, наверное, проплачена райкомом комсомола. Зазвучали слова: «Бог», «Иисус Христос»... Слово «Иисус» навязчиво

рифмовалось-путалось в голове со словом «уксус». Существо с таким чудным именем могло взяться разве что из мультяшки... Чудилось, рассказывают мультфильм. Рассказчик был так одинок и зол, что его поначалу занудное исчисление вреда, наносимого верой в Бога здоровью, разразилось в неистовый монолог. Вдруг его охватило подобие лихорадки. Задрожал. Покрылся на лбу склизким потом. Пугая уж и своих конвоиров рвением, принялся ругать «уксу-са», как только хватало страсти. А потом стал лаять в зал обвинения в жестокости: «Он приказывал сыновьям отречься от матерей!.. Он делал людей своими рабами!.. Он только на словах призывал к любви, а на деле сам судил, как па-лач, кому жить, а кому не жить!..»

Инструкторы порывались вмешаться, одергивали, шипели за спиной: «Александр Ильич, не уходите от темы...» Но несчастный не унимался, хотя голос его и начинал то дрожать, то глохнуть в приступах уже и не злости, а чего-то больного. Слушать буйного стало не по себе. Все его проклятия и обвинения отчего-то тут же запоминались, втверживались камешками в сознание. «Его надо было убить! Убивать и убивать, как только появляется!» — воскликнул он в последнем порыве сил и словно тут же испустил дух. Пришел в сознание. Опять оскалился обезьянкой и ясно произнес: «Урок окончен. Никому не верьте, чада мои, на этом свете».

Алла Павловна шумно поднялась с места и произнесла на весь зал: «Верьте, ребята, в мое слово... Клянусь своим партийным билетом, что больше в нашей школе такое безобразие не повторится. Да, товарищи, ничего не скажешь, просветили вы нас! В следующий раз привезите ветеранов — вот кто умеет воспитывать молодежь. Воспитывать, дорогие мои, надо на подвиге, на героизме. А этого бы хоть подстригли. Слышите, товарищ, я вам говорю, как там ваша фамилия, — неприлично мужчине ходить с такими волосами. Когда я была комсомолкой, мы таким не давали свободно расхаживать по улицам. А тем более по школам!» Бывший служитель культа опустошенно молчал. Молчали и опозоренные директором школы инструкторы. Как-то быстро они взяли сопровождаемого чуть не под локотки и повели на выход. Он понурил голову и сам старался быстрее уйти прочь.

С тех пор что-то лишило меня то ли простодушного незнания, то ли покоя. Уже обостренно ловил глазом картинки с церквями. А когда ездил к бабке за город по ярославскому направлению, на электричке загорской до станции Правда, и наталкивался то и дело взглядом среди пассажиров на попов или семинаристов в черных их рясах да с громоздкими крестами — всегда мерещился в них тот ненормальный человек и казалось, что они едут на край света, где просто люди уже не живут и начинается такая же черная тьма. Одного не понимал: почему они ездят в электричке вместе со всеми людьми в таком виде, так вызывающе от всех отличаясь, наряженные, как в платья. Кто и что им запрещает носить обычную одежду, быть одетыми, как все мужчины? Ведь если запрещают, то есть и наказания за нарушения запрета, как в милиции. И если есть у них наказания, то наказывать и вправду могут только злые. Наказаний вообще, каких бы то ни было, даже их возможности, снести без протеста я не мог, приученный мамой к тому, что никто не смеет меня наказывать. А эти странные люди боялись да слушались зачем-то одного имени какого-то «уксуса». Хотя даже школьники не боялись его.

Линейки пионерские и ощущение, возвышающее да тошнящее, схоже было, наверно, с торжеством постящегося. Все эти линейки начинались рано утром, еще до уроков. Оттого, что мало спал, кружилась легонько голова. В январе, когда умер Ленин, и уже в апреле, в день его рождения, все классы строились шеренгами в спортивном зале — это был такой огромный зал, с дощатыми крашенными полами, как в казарме высоченными потолками и зарешеченными наглухо, по-тюремному окнами. Из потолка и стен торчали крючья спортивных снарядов, похожие на дыбу. Ровнехонько за спинами нашими свисали канаты. И вся эта обстановка заставляла чего-то напряженно, мучительно ждать, чувствуя свою несвободу и раздавливающую душу покорность.

Голоса звучали гулко, как приказы. С утра мало кто смог поесть, и стояли мы в шеренгах натошак; помню это голодное ощущение, когда рот затекал безвкусной слюной. За окнами зала бродили ранние сумерки. Еще рыскали учителя, проверяя, у всех ли есть галстуки. К тому возрасту многие их уже стыдились повязать, считая себя куда взрослее, и под окриками учителей без всякой радости повязывали мятые алые тряпицы, доставая их из карманов; а тем, у кого не было все же своего пионерского галстука, их тут же, на линейке, раздавала напрокат наша пионервожатая.

Это была девушка лет семнадцати с зардевшимся лицом, но и с молочно-мраморной кожей, как у статуи. Все звали ее Мариной, будто свою подругу, ведь у пионеров все были равны и дружны. Игравя простодушно в это братство с подростками, пионервожатая делалась первой в их жизни вожденной женщиной. Торжественная пионерская линейка в промозглом спортивном зале, с глухими тюремными решетками на окнах и жесткими крючьями снарядов под толчком, от вида которых стекленела поневоле душа, наполнялась незримо и тем тайным блудом. Пионеры, кто повзрослей, стоя в своих безликих шеренгах, томилась, поедая наряженную парадную Марину голодноватыми пугливыми глазками. Ее девичья зрелая плоть делалась уж вовсе откровенной да зовущей, обтисканная кукольной юбочкой да пионерской рубашкой. Но в тот миг как раз являлось в спортивный зал *она* — мужикоподобное с карающим взглядом существо директора школы Аллы Павловны Фейгиной... И начиналась наша линейка. Голоногая пионервожатая маршировала к директору, звонко выкрикивая о готовности дружины. Алла Павловна глядела на нее, заставляя себя терпеть весь этот ее нечаянный развратный плотский вид, а Марина чуть дышала, не понимая, чем провинилась перед ней. «Продолжайте...» — произносила гробово директор в полной тишине. Раздавался грохот барабана. Вносили наше знамя. После положена была декламация, а Фейгина следила со своей высоты, чтоб не раздался в шеренгах шум. Если она что-то замечала, то молча подходила к тому, кого приметила, и неожиданно давала ему по шее затрецину, стискивая поженски губы от злого своего усилия. Или если замечала, что у какой-нибудь девочки в ушах сережки или подкрашены ресницы, то рывкала на весь зал, как опомнившись, обрывая нахраписто линейку: «Беляева, ко мне! Вынимай из ушей побрякушки!», «Румянцева! Шагом марш в туалет смывать мазню!» И не было ни разу, чтоб кто-то мог ее послушаться.

На линейках бывало, что кому-то делалось плохо, так что вдруг раздавался грохот: кто-то падал в обморок из шеренги прямо лицом об пол. И чаще всего случалось это с девочками. Но линейка не прекращалась, и тот миг был самый торжественный да жуткий: к упавшей или к упавшему подбегала учительница, помогала подняться, давала платочек утереть разбитый нос и задками, прячась за колонны учеников от недовольного цепкого взгляда Аллы Павловны, бесшумно уводила в медпункт.

5

Москва, как что-то блестящее да праздное, начинала манить издали райскими кущами Ботанического сада и помпезно-разгульной вавилонской громадой ВДНХ; стоило проникнуть на крышу многоэтажки — и эти ландшафты открывались дымчатой далью во всю ширь.

В саду Ботаническом дикарями трясли мы мичуринские яблоки да поганили красивенькие из неведомых цветов клумбы, точно мстили за что-то диковинной этой красоте; бросали нарочно мусор в искусственные пруды, похоже на спелую сливу. На выставке же можно было повеселиться серьезней. Можно было спрятаться, а то и проникнуть после закрытия на территорию, забравшись в какой-нибудь павильон. Тащили что попадало под руку, и дух захватывало от собственной храбрости да ловкости. А на пустырях за Яззой рыли потайные землянки, что простодушно украшались внутри всем добытым на выставке. Была и своя «флотилия» — из пенопласта сделанные плотики, и мы плавали на них

по мутно-желтой водице давно умерщвленной речки. Уплыть на тех плотках было некуда. Но всякий год случалось, что ниже по течению, где вода уходила то ли на очистку, то ли в коллектор, утягивало один такой плотик в сток, и это становилось тайной, будоражило душонки страхами: «Там в прошлом году утонул...» — и смерть, которую своими глазами никто не видел, превращалась в тайну, схожую с тайной убийства. Страшнее делалась Яуза, и все ее три аршина будто полны были под водой утопленниками. Но это и манило еще сильнее оказаться на пенопластовом плотике; манило даже подплыть ближе к тому стоку, откуда раздавался метров за двести предупреждающий гулкий рев воды.

До поры до времени не знали и того, что за каждое свое проникновение на территорию выставки оказывались подсудными. Не знали, что за пенопласт, что добывался вороньими залетами на стекольной фабрике и которого истребили на Яузе вагон, а то и два, всерьез искали расхитителей дяди из милиции. Невозможно было осознать, что там, где прорываешься на свободу и обретаешь ее, будто урываешь воздуха глоток, таится как раз такой ком каменный, что если подвалит к горлу, то придавит. Ничего ведь и не делали всерьез, и если лезли на завод или на выставку, то не воровали, а играли, и мало кто мог осознать, что за это покарают, как преступников. Каждый лет с тринадцати уже знал, что на чужой улице могут до полусмерти без всякой пощады избить или даже ножичком порезать, и там уж не было игры. Там была тайна — тайна смерти. Боялись только смерти, боялись играть с ней, признавали да уважали до окостенения души. А где не верили, что убьют, там играли, там искали свободы. И если все же случалось несчастье, то верилось, что это случилось с тем вот несчастным и только потому, к примеру, что у него был самый плохонький, никудышный плотик, да и сам он был таков, как и его плотик: не первый, всего боялся.

Одно искушение, на которое поддался, обретая свободу, рождало через время другое, так что становилось еще рисковей. В моих карманах стали позвякивать медяки: обуреваемый то ли жадностью скопить денег, то ли азартом, пристал я к ребятам темнить на переменах в «трясучку». Натрясти за день этой нудной, будто старательской, то ли работы, то ли игры, когда везло, можно было не больше рубля, если только не вспыхивала вдруг игра по-крупному: железными рублевыми монетами. Но «трясучка» разочаровала. В школе же было немало ребят, что ходили на ВДНХ и возвращались оттуда со жвачками и всякими другими штучками — например, с заграничными монетками, и это уже превращалось во всеобщую страсть. Все хотели страстно иметь такие же заграничные монетки, а после уж начинали меняться друг с другом ими или фантиками от жвачки, собирая свои коллекции. Добывали эти коллекции, как думали, путем честного обмена, меняясь с иностранцами на значки. Одноклассник научил меня, как надо это делать, и я, обзаведясь десятком значков с Лениным, тоже стал ходить на ВДНХ, страстно желая подсобрать коллекцию монет.

Была в самом разгаре книжная ярмарка, и иностранец валил валом. Чужая речь слышна была повсюду, и роились вокруг тех иностранцев назойливые горделивые стайки детей, не давая им нигде прохода, обсыпая особенно густо каждого иностранца с негритянской наружностью. Дети эти боялись только милиционеров, потому что только милиции и был приучен бояться обычный ребенок, совершая что-то плохое. Что совершаю плохой поступок, в том сомнений у меня не было, и я тоже боялся милиционеров, когда сновал любопытным жадным зверьком под ногами у интуристов, заманивая их из-под полы золотыми россыпями значков. Но плохим каждый из тех детей простодушно считал само свое общение минутное с иностранцем. Если я знал, что *они* наши враги, то, конечно, и чувствовал себя в душе немножко виноватым, когда ради монетки волей-неволей позволял *этим* соприкоснуться с собой. Обмен значка на монетку никому и в голову не приходило считать неравным: на значок с Лениным тратил я в киоске «Союзпечать» пятнадцать кровных своих копеечек и вовсе не понимал, что монетка, на которую я этот копеечный значок обменивал, была не чем иным, как американским долларом... Никто не разбирал даже, сколько и какой

валюты школьник за день нагребал в обмен на те копеечные значки. И вполне могло случиться, что после, уже в коридорах школы, американский доллар, которых у самого оказывалось полно, с радостью менялся на чешскую крону, ну а уж за африканскую монетку с какой-нибудь пальмовой веткой отдавать надо было и американского дядю, и канадского оленя.

Так безмятежно и радостно прошла для меня на ВДНХ неделя, и я чувствовал себя уже знатным собирателем. Удивляло, что иностранцы чаще всего не брали значков, а давали монетку просто так. Невозможно было понять, отчего *они* такие добрые. А бывало и иначе: бывали такие иностранцы, которые вдруг хапали значок и ничего не давали взамен. Или совали жвачку, но получить жвачку в обмен на значок считалось неудачей. Жвачек боялись, пуганные тем, что *они* нарочно подкладывают в них яд. Выходило, что ты обменял значок на фантик, но фантиков уже не хотелось, если начал собирать монетки. И если мне совал иностранец жвачку, то после я просто ее выбрасывал, боясь как-либо иначе сбить с рук. И всю неделю не замечал я вокруг себя взрослых с напряженными взглядами людей, не ведая, что они есть на свете и что я им буду нужен.

За детьми, что выменивали монетки, охотились на выставке под носом друг у друга, как теперь мне понятно, одновременно два рода людей. Одни отслеживали этих детей, чтобы ограбить: подманить в кусты, притиснуть и вытрясти из кармашков целые пригоршни иностранных деньжат. После угрожали они, что побьют, если тут же не пойдешь и не принесешь им еще столько же монеток. Дети не понимали, что происходило. Кто был посмелее, давал деру или начинал орать благим матом. А кого запугивали до смерти, те выходили из кустов и, дрожа от страха, клянчили уже под их приглядом монетки у иностранцев. Через раз-другой хозяева их добрели, имея цель уже не запугать до смерти, а приручить, чтобы монетки хотелось самим носить.

Раз я попался этим людям, а на другой попался другим. Ограбленный да избитый, я не испугался, а даже было чувство, что сделался умней. Я решил, что в другой раз сразу буду орать, только они захотят меня утащить. И вот уже на выходе центральном с выставки, под самой колоннадой, человек в штатском вцепляется мне в плечо и начинает куда-то в сторону тащить. Заорал я, думая, что снова хотят все отнять и бить будут, а толпа кругом заволновалась. Тот, что меня тащит, старается меня как-то прижать ртом к себе, а сам лопочет испуганно: «Спокойно, граждане, спокойно... Я сотрудник...» Он затаскивает меня в пустоватое помещение, а там с десятков детей на скамейке сидят, и стоят над ними несколько живых милиционеров да эти, в штатских костюмах.

При виде милиционеров стало мне тут же до слез стыдно и страшно. Я вдруг расплакался, а со мной заняла без удержу, жалобно и вся ребятня. Все мы ощутили себя чем-то единоутробным. Милиционеры растерялись, а люди в штатском принялись нас успокаивать и обласкивать, внушая, чтоб мы умолкли. В тот миг я почувствовал, что нас будут не наказывать, а прощать. И воцарилось голодное ожидание прощения, будто все мы ждали теперь с голоду, когда ж нас накормят. Один в штатском спросил, есть ли пионеры, и все дружно ответили, уже по-пионерски: «Еесть...» И он начал говорить, похожий на пионервожато-го: «Ну так вот... На первый раз мы вас простим и отпустим. Сюда вы попали сами знаете за что. Выкладывайте что есть в карманах. Все выкладывайте, чтоб было по-честному». Дети стали в очередь к столу, сдавая кто жвачку, кто валюту. Глядя на жвачку, человек в штатском доверительно стал рассказывать то, что всем было уже известно — про отравленные пластинки или что в них, бывает, прячут иностранцы иголки. Все замирали, как при таинстве. А после стал он говорить о деньгах, заставляя нас понять, что иностранцы вовсе не обменивались с нами, а считали, что дают нам, советским детям, милостыню, как нищим. У них там много бедных и несчастных детей, так вот очень им хочется, чтоб и советских детей выдавать за таковых. Это уже слушали без таинственности, а с замиранием, потрясенные тем, что, оказывается, были мы для иностранцев попрошайками. От стыда горело у меня лицо, я чувствовал, как жарко, об-

жигая все внутри, ходит во мне кровь. В то же время ясно помню, что плавали уже в моем воображении лица тех иностранцев, и я плевался в их рожи мстительно да отчаянно, как только мог, мстил им за жгучий свой, мучительный стыд.

От ощущения, что теперь все стало в мире и во мне правильным, хотелось броситься целовать этих добрых дядечек. Они ж были довольны и уже хвалили нас, кинувшихся в порыве общем докладывать про тех иностранцев всякие разности: прорвался мой голос выше других, и я успел выпалить, что жвачки, которые они мне давали, даже не раскрывал, а сразу выбрасывал, и живо было чувство, что очистился душой. После нас допросили о тех, кто отнимает монетки. Просили указать внешность этих людей. И стали выпускать на свободу по одному. Каждый давал честное слово, что больше не будет ходить на ВДНХ за монетками. Дал такое слово и я, и после если попадал на выставку, то шарахался, только завидя или слыша иностранца, но не от страха, а из чувства брезгливости, опасаясь их нечистоты, сокрытой за блестящим видом да улыбочками.

В другое время уже в актовом зале нашей школы однажды состоялся самый взаимправдашней суд над преступниками: судили учеников седьмого класса Вдовина и Лобачевского. Вдовин и Лобачевский жили в старом Свиблове, а никто из нашего класса так далеко от школы не жил. Бывало, я встречал их на Яузе, они всегда ходили вдвоем. Мама у Вдовина, я слышал, была пьяница. И у Лобачевского тоже мама сильно пила. С первых классов они как будто задремали и стали необучаемы. Сидели все годы на галерке, за спинами ребят, из которых почти никто с ними не знался, тише воды и ниже травы. Они были всегда будто запуганы. Лобачевский — худой, со впалыми синюшными глазами — так и во все всегда молчал. Молчал и виновато улыбался, если кто встречался с ним глазами. Вдовин — упитанней, разговорчивей, ловчей. Однажды в младшем классе он стащил у меня какую-то мелочевку: то ли карандаш, то ли линейку. Я углядел у него свое и хотел уже побить, но вдруг он стал угодничать, извиняться, а я, чувствуя, что ему страшно, не смог даже невзлюбить его. После он выделял меня еще очень долго — все норовил угодить, услужить. А было дело, когда стали мы постарше, попал я на улицу их Русанова вечерком, и окружила меня в проходе между чужими домами толпа незнакомых взрослых ребят. Вдруг мелькнул за их спинами Вдовин, а там гляжу — и Лобачевский рядом. Вдовин поначалу несколько минут отмалчивался, хоть меня уж и окружили, но осмелился и стал будто ластиться к своим, умолять их жалобно за меня, чтобы не били. И тем скучно стало, они меня отпустили, но со Вдовиным мы даже слова одного не сказали друг дружке, будто б и знакомы не были, а в классе я уже старался с ним, как с чужаком, не соприкасаться.

И вот новость удивительная: суд! преступники!

Отменили уроки у старших классов и погнали всех в актовый зал. Актовый зал помещался на последнем этаже, так чужевато, будто в поднебесье. Его берегли, распахивая для школьников только в дни торжеств. Но даже линейк пионерских, торжественных, в зале этом не проводили, потому что берегли лакированный, сверкающий паркет. Это было помещение куда больше спортивного зала — в нем могли уместиться все классы, все триста человек расселись бы на красных мягких стульчиках, глаза на сцену. Бывало, приезжали артисты. В углу сцены доживал свой век старый, разбитый немецкий рояль. Артисты, понятно, ездили по школам без своего рояля, и, кто б ни приехал, все звучал один и тот же фальшивый нашенский аккомпанемент, под который певали и мы на самодеятельных конкурсах.

Суд над Вдовиным и Лобачевским тоже поместили на сцене. Там, на сцене, сидели за ученической партой по правую сторону от троих судей обвиняемые. Надо их было как-то внушительно усадить, но в школе были только парты, а покрыть ее хоть сукном — не покрыли. Судьи — скучные по виду люди, одеты даже не нарядно, а так скучно, бедновато, как если б вовсе не умели жить. За спинами ребят стоял конвоир, и за занавесом чувствовалось присутствие людей, наверное, милиции. Вышла перед рядами Алла Павловна и открыла громоглас-

но суд: «Сегодня мы будем судить двух наших бывших учеников. Прошу внимания! Чтобы в зале было полное молчание!» Воцарилась растерянная тишина. Никто, собираясь в тот день в школу, и не думал, что окажется на суде. Вдовин и Лобачевский с месяцем как исчезли из школы, были всеми мертво позабыты — и вот сидели за партой на возвышении, наряженные отчего-то в отутюженную школьную форму, в белых рубашках, застегнутых под горло на пуговку (исключили из пионеров). До них было метров десять, но из-за своего неестественного положения на сцене казались они вылепленными из воска, неживыми. В качестве свидетелей вызывали отчего-то учителей, и они произносили речи, которые я даже не помню оттого, что не было в них никакого смысла. Это длилось с час и походило на митинг. Когда дали слово самим, то Лобачевский не смог ничего произнести: стоял и виновато улыбался. А дошло до Вдовина, то он уж и сам сознался, угодничая, и сказал, что Лобачевский тоже с ним воровал. Вдовин, наверное, уверился, что их не посадят, когда привезли не в суд настоящий, а в школу. И когда судья зачитала приговор, где их осуждали на три года колонии, то Вдовин немощно, растерянно заревел, а когда коснулся его плеча конвоир, то рванулся в последней истошной надежде из-за парты, упал на колени и заголосил со сцены в зал, захлебываясь слезами: «Простите меня! Ну пожалуйста! Я больше не буду! Простите! Простите!..» Из-за занавеса мигом выскочили на крик двое милиционеров, схватили его за руки и уволокли. На сцене остался один Лобачевский, про которого из-за этой истерики его дружка, чудилось, забыли. Он стоял, словно его-то вовсе не осудили, а простили, и это стояние его неприкайное, свободное длилось несколько минут. Столько времени хватило, чтоб милиционеры справились за сценой с Вдовиным, а после вышли за ним, за оставшимся, подбирая его под локоток уже успокоенно, даже картинно, осознавая поневоле, что находятся на сцене и что глядят на них из зала сотни замерших от происходящего глаз.

Закрывать суд было некому. Учителя плакали. Плакала и Алла Павловна, вовсе отчего-то уже не стеснясь своих слез. Школьники же на цыпочках выходили из зала, сделавшись всего за час послушными да примерными.

Несколько дней послушание это царило в школе. И учителя уже ходили хозяйчиками — чувствовалось, что ласкала их уши эта подобострастная тишина и души млели от покоя и ощущения своей власти. Фейгина на своих уроках вопрошала, есть ли среди нас желающие оказаться там, где эти двое... А после, спустя несколько месяцев, появились в школе письма, написанные будто бы Вдовиным да Лобачевским из колонии, и эти письма зачитывали в классах на политинформации.

Что я помню из своих ощущений, когда вершился этот суд, так это миг, когда поднялся вдруг по знаку Аллы Павловны староста наш, уже комсомолец, зубрила тихущий Володя Кочайник, казавшийся мне всегда правильным до тошноты, и тоже вдруг выступил с речью, как если бы от имени класса, давая подсудимым характеристику. И сколько он выступал, столько времени трусливо тряся я внутри меленькой дрожью, охваченный неожиданным пониманием, что тот же набор слов можно было бы сказать и обо мне. За тем колючим, испуганным ощущением наступило новое, что сижу все же со всеми в зале и никто не вспоминает обо мне.

Однажды я услышал о себе разговор учителей: они рассуждали потихоньку, что, оказывается, я вовсе не такой уж дурак, каким прикидываюсь, а умею даже очень неплохо думать и размышлять... Но то, что я нечаянно подслушал, было и унижительно, и ошеломительно. Мне до той самой минуты всегда казалось, что на людей этих взрослых я произвожу именно то впечатление, от которого должны они относиться ко мне как к человеку способному, думающему. А оказывается, всем видом своим я только и походил для них на туповатого, серого человечка. Но я уж никак ни с кем из учителей не хитрил, не знал этого за собой, а они рассуждали о моей хитрости, довольные, будто бы разгадали, что я за фрукт. И так я впервые осознал, что есть огромная пропасть между тем, кто я есть сам в себе или для себя, и мнением обо мне взрослых людей. Будучи умным,

школьник должен всегда еще и притворяться умным, чтобы это было видно. А кто не притворялся, тех не замечали или видели их как в кривом зеркале, посредственными да никчемными.

Услышать, что воровали Вдовин с Лобачевским колеса с машин и что их судят за это, было странно. Я сидел покорно, слушал, но не мог сообразить, зачем нужны им были колеса, для каких-таких своих машин. Ну еще угнали б чужую покататься — в это верилось. А что колеса могли быть нужны, в это никак уже не верилось.

После этого суда еще долго было не по себе. Про жизнь в колонии, на малолетке, узнал я понаслышке из откровений того человека, что учил меня с некоторых пор уму-разуму. Нас было мало, будто б избранных, подросточек, что прильнули к его силе, к храбрости, и он правил нами, то ли как старший брат, то ли как отец. Звали мы его Игорьком, для всех чужих, кто его боялся, он был Митрофаном; это фамилия Митрофанов, у которой пропал сам собой конец, превратила его из такого же еще подростка точно бы в зловещего мужика.

Игорек был старше нас, казался человеком взрослым. Он был из нашей школы. Семья — воровская. Отца с матерью своих он почти не знал, так как они не вылезали из тюрьмы, а вырастили его бабка с дедом, у которых на квартире водился притон; дед его был вором, воровкой с прошлым была и бабка. Игорек говорил нам, что даже родился в тюрьме. Завирал он для лихости или нет, но искренно считал себя пропащим, простодушно заявляя, что все впитал в тюрьме с молоком матери и что дед научил его пить водку стаканами уже с семи лет. Но при всей этой родословной и врожденных инстинктах воровских он тяготел к добру, к мягкости. Потому отшатнулся от мирка взрослого, а собрал вокруг себя нас, по меркам этого мирка не тянущих даже на сявок. Он был вынослив и очень силен физически. Ради фокуса, чтоб поразить наше воображение, мог затушить о себя сигарету и не издать даже звука. Всех своих он заставлял уважать в Свиблове, как самого себя. Мы чуть не молились за нас. Все наше времяпровождение с ним заключалось в поисках некоего важного дела, будто б клада или подвига. То мы рыли на Яузе землянки, считая это важным делом, чтоб было где темнить нам зимой, и Игорек задавал всякую подобную работу именно загодя, не позволяя нам слоняться без дела, все чего-нибудь запасая. А зимой, когда местом наших сборов делалась землянка, где было тепло и даже светло от свечей самодельных из колотого на куски, как сахар, заводского парафина, Игорек затевал готовиться уж к лету в поход — сплавиться по Яузе на плотках, и мы принимались потихоньку мастерить настоящие плоты. Глупым выводком выгуливал нас Игорек и поразвлечься, а развлечение было единственное — пойти в кино. В кинотеатре «Сатурн» каждое воскресенье последний сеанс был сходкой; а если кто на сходку эту не заявлялся, то тех в Свиблове не признавали уж за силу. В сумерках просмотрного зала, где вставали широкоэкранные тени фильма, будто лес, выясняли под шумок накопленные за неделю обиды или сговаривались о делишках. Но мы жадно глядели фильм, подавленные, как лилипуты, любовями да мордобоями — гулливерскими в размахах широкого экрана, и ничего не боялись, потому что за нас все улаживал потихоньку Игорек. Его одинокая маленькая фигура передвигалась по залу, и в конце концов он стал тем человеком, что всех кое-как или укрощал, или мирил.

Злом, что творили мы поневоле, были разудалые нелепые кражи. Игорек как мог не допускал нас до краж, усмирал, но не всегда в том успевал. Я сдружился с двумя своими одноклассниками — нас троих сплела в крепкую веревочку еще и дружба вольная с Игорьком. Раз мы трое залезли в павильон на ВДНХ и унесли оттуда колонку — все мы мечтали о своем «вокально-инструментальном ансамбле», даже деньги копили, собирая и сдавая бутылки на будущие музыкальные инструменты; так вот эта колоночка будто б сама и заставила нас украсть себя с выставки. Она была огромных размеров — наверно, концертная. Опасаясь Игорька, что заставит от нее избавиться, мы решили до поры до времени ее схоронить, но ничего хитрее на ум не пришло, как запрятать ее в сумер

ках на чердаке школы, и мы лезли по лестнице пожарной выше пятого этажа, рискуя сорваться с этой громадиной. Прошла неделя. Добычей своей стали мы тяготиться, так как поняли наконец, что совершили кражу, а украденное теперь намертво держалось за нас. На чердак же, боясь, как бы не отыскали колонку, стали лезть что ни день, перепрыгивая и так и сяк. И в очередной раз нас взяла с полочным на пожарке сама Алла Павловна — думала разогнать куряк за школой, а наткнулась на нас. Хватило часа, чтобы мы сознались, зачем лазили на крышу и что прячем на чердаке. Колонка оказалась теперь в ее кабинете. Алла Павловна обрела равнодушный к нашим судьбам и беспощадный вид. Изрекла: «Сообщаю в милицию», — и отпустила на свободу до следующего дня.

Втроем мы приволоклись на Язу, где собирались наши, и все рассказали Игорю. От услышанного тот сделался как живой нерв. Желая помочь, но только запугивая нас, уже снаряжал к своим загадочным друзьям куда-то на Север: бросил тут же клич отдавать нам деньги, какие у кого есть, чтоб могли мы сегодня же бежать. Но вдруг Игорек объявил — уже новым голосом, уверенным в себе и успокоенным, — что завтра он придет в школу к самой Фейгиной.

Алла Павловна не раз в свое время спасала его от неприятностей. Тихого спившегося подростка с горемычной судьбой она отчего-то жалела; так мы и подумали, что Игорек решился разжалобить ее. Назавтра, уже с утра, он подждал нас одиноко у школы: проводил на уроки и ждал еще до полудня, сидя несколько часов на приступке, похожий на сильного зверя, которому тяжело даже двинуться от какой-то глубокой раны... Прошли уроки. В школе нам стало нечего делать, и мы тягостно вышли во двор, зная, что Игорек все еще там сидит, но и ничего не делает для нашего спасения. Это его многочасовое пребывание бездвижное у школы нас уже страшило. И тут он сказал: «Ну пошли... Что ни услышите — молчите».

Алла Павловна нас не ждала, а Игорька встретила так живо да напористо, будто сразу поняла, зачем он явился и что задумал: «Слушать ничего не буду. Иди вон!» Игорек переборол робость невольную ученика и молча стоял напротив нее, всем видом давая понять, что не сдвинется с места. Фейгина сдалась — даже что-то немощное, дряблое проявилось в ее лице. «Колонку я с выставки украл. Потом сказал вот этим, чтоб спрятали на чердаке школы. А что краденая — они не знали, я им не сказал. Звоните ментам». Проговорив это вызывающе спокойно, он замолчал, но Фейгина тоже молчала, ждала, будто ничего и не было вслух сказано. «Звоните ментам!» — не вытерпел молчания Игорек. «Пусть, пусть милиция придет! — вдруг возмутилась директорша. — Они разберутся, чьи там отпечатки пальцев!» Игорь мигом понял, о чем она проговорилась, и Алла Павловна сама осознала, что сболтнула в сердцах улику; ведь на колонке неоткуда было взяться отпечаткам пальцев Игорька. Колонка так и стояла в углу ее кабинета, на виду, куда мы, пойманые, затащили ее впопыхах. «Не смей!» — крикнула она испуганно, но Игорек несколько раз неловко облапал огромные черные бока колонки. Фейгина снова обмякла. Начался другой, неожиданный для наших ушей разговор — хладнокровный, расчетливый, щадящий.

Верно, мысль эта уже приходила ей на ум, иначе нельзя объяснить, как она тут же предложила нам раз и навсегда забыть о том, что мы украли, — в обмен на ее молчание украденное перейдет в имущество школы; концертная колонка оборудовала бы лучше некуда актовый зал, а в школе, как могла поразмыслить Алла Павловна, никто и никогда не догадался бы искать что-то украденное. На том и кончилось. Мы вышли на улицу, чувствуя себя выпущенными на свободу, на волю. Стали смеяться, радуясь, как все легко нам сошло с рук. Игорь, шедший впереди, вдруг развернулся, и мы успели увидеть только зверскую гримасу на его лице: как-то по-звериному, будто заключая в объятия, он ринулся на нас и начал избивать всех троих так быстро, что мы не успевали даже продохнуть, барахтаясь под его дикими ударами. Он расправился с нами, верно, в несколько минут и бросил, не желая добивать. И пока мы ползали по земле, приходя в себя, исчез, точно его и не было.

Когда мы спустя несколько дней осмелились показаться ему на глаза — вернуться к своим на Язуз,— Игорек встретил нас как чужаков и дал понять, чтобы больше мы трое не считали его своим другом и заступником. Где бывал Игорек, там больше не стало места для нас. При встречах, если сталкивались с ним на улице или в магазине, он, не глядя, проходил мимо.

И со временем я стал чувствовать при таких встречах неожиданную жалость к нему. Все стало видаться иначе: и маленькая одинокая его фигурка, и землистое, пропитое лицо, меченное шрамами, и это молчание человека, будто б на что-то обреченного... В пору дружбы с Игорьком об учебе не было никаких мыслей, с ней хотелось скорей покончить. Игорек внушал нам, что надежнее всего в жизни — это работа автослесаря, ну на худой конец крановщика. А тут я стал поневоле от скуки зубрить учебники, остался все же в школе, оброс новыми интересами и друзьями, но клонило в какой-то дремотный сон. Будущего своего после десятилетки я не представлял. Выбора никакого жизненного так и не сделал, а мама ни к чему меня сама не принуждала. Она легко отпускала в любую сторону, куда б ни потянули дружки или какая-то мимолетная увлеченность, но та легкость, с какой пускала она на волю в любую сторону, склоняла меня как раз застыть на месте. Воли не чувствовал я там, где не приходилось ей перечить. Однако перечить себе не давала она вовсе никакого повода, потому я начинал перечить друзьям, а увлечения щелкал как орехи; особенно в спорте, где и увлекался только играми, когда бежать заставляет за собой мяч. Мячики эти сменялись с лихорадочной быстротой — то баскетбольный, то гандбольный, то я уже играл в регби и этому спорту готовился посвятить жизнь. Но игра за игрой быстро наскучивали. Регби я любил, в этой игре сочеталось все то, что меня влекло,— дружба, борьба, азарт и действия на поле, бывшие уже игрой ума. Играл за юношескую сборную, но в команде нашей сменился тренер — новый делал ставку на бег да физическую выносливость, и тренировки из игры превратились в многочасовые кроссы. Просто же бег я ненавидел. Это было единственное, чего я не хотел делать,— заставлять себя бежать притом, что гонишься за самим собой да еще и с пустой, как натошак, башкой, когда час бега превращается в час безмыслия да тупого ожидания финиша, накручивающего круги по чаше стадиона, как кишки. Было я увлекся борьбой. Прошелся по спортивным школам самбо, дзюдо, вольной борьбы, но отовсюду через несколько месяцев исчезал, не найдя препятствий для самого желания и так и не дождавшись соревнований, а без них было скучно, или так и не найдя себе товарищей по душе. Занимался стендовой стрельбой в «Динамо». То вдруг увлекся шахматами и доигрался до олимпиады, но после поражения сбежал из кружка, потому что проигрыш тоже отчего-то не становился препятствием и не заманивал играть дальше, а как раз с легкостью разочаровывал. А один день в своей жизни даже увлекся фехтованием. Разыскал у черта на куличках эту секцию, отскакал там одно занятие с какой-то глупой деревяшкой в руках и не понял, для чего это мне нужно. И это происходило у меня во всем. Но вдруг попытки истратились. Наступил первый в жизни день исчезновения.

Были сданы экзамены. Десятиклассники собирались во двореке школы на выпускной вечер, одетые в костюмы, при галстуках, похожие на ухоженных породистых собачек. Вдруг во двор вошли с улицы двое парней, показавшихся сначала незнакомыми, а после в одном из них кто с недоумением, кто с испугом стал узнавать... Вдовина. Тот был в ношенных старых не своих вещах — в шерстяном свитере на голое тело и в клоунски широченных выцветших штанах, с дружком на много лет старше, которому годился сам в сыновья. Дядя тот красовался просто в майке, откуда выдавались мускулистые руки в татуировках. Они уселись в сторонке, как собутыльники, но уже через минуту Вдовин наглово поманил к себе разодетых мальчиков одного за другим — не по именам, а как чужих, незнакомых. Ничего другого не говоря, потребовал денег. Одного заставил отдать себе галстук и нацепил его поверх свитера, громко гогоча с дружком. Они творили что хотели.

Я стоял в стороне, но отчего-то вовсе его не интересовал; все мы, кто чувствовал себя крупнее в толпе класса, старались сохранить независимость, делая вид, что не замечаем этих двоих. Но было жутковато ощущать, какая робость сковала нашу разодетую праздничную толпу и как с десяток неслабых парней стояли, боясь шелохнуться, чем-то ему не угодить; а те, что отдали ему свои вещи, теперь дожидались униженно их возвращения. Он, конечно, понимал, что от него хотят отделаться пока что поспокойнее из-за неуверенности, молчанием и тем же унижением. Понимал он и то, что попал на выпускной вечер, но нельзя было до конца ощутить одного — интересно ли это ему, да и помнит ли он, что находится среди знакомых с детства людей. И я в этот миг почувствовал странное разочарование — почувствовал, что и сам пробыл все эти годы не в гуще себе подобных, а один-одинешенек. Что мне уже неинтересна их жизнь и я не понимаю, отчего надо было нам жить так тесно, почти как братьям да сестрам, воспитываться по одним правилам, как в детдоме, носить одинаковую форму, десяток лет видеть одно и то же, а может, и чувствовать, как сиаемским близнецам, одинаковые страхи, радости и даже страдания, чтоб в конце концов разойтись в разные стороны поодиночке, навсегда забыв друг о друге и о том, что с нами было.

6

С первого класса я ходил в школу одной и той же дорогой. Два, три раза мама отводила меня в школу и приводила сама же домой, чтобы запомнил эту дорогу.

За нашим домом, похожим на парафиновую свечу, оказалась шеренга таких же домов, их было шесть. Надо было пройти по тропинке из бетонных плит мимо этих домов, после свернуть и идти прямо, а там перейти через спокойную улицу. В том месте были киоски «Табак» и «Союзпечать», где продавали газеты с журналами и всякую всячину (значки, воздушные шарики, авторучки), отчего я всегда останавливался и заглядывался, начиная мечтать, как бы все это однажды купить, и каждая побрякушка, безделушка, вещица завораживали только во всем наборе, разнообразии и многоцветии. Когда перешел улицу, надо было пройти наискосок чужими дворами, срезая угол, и перейти другую улицу; а кругом были невеликие пятиэтажные дома, окруженные деревьями; у каких-то домов росли почти куски леса, где прятались стаи ворон, что молчаливо сидели на голых ветвях да сучьях, и не было их слышно, будто уснули.

Переходя улицу, я упирался в одинокий многоэтажный серый панельный дом, заставлявший всегда думать о себе как о живом человеке, вставшем на пути; и мне отчего-то грезилось, что в доме этом люди живут счастливей, чем в моем. То же было и с киоском «Табак»: проходя мимо него, всегда я поневоле о нем думал с замиранием, как о чем-то запретном, запоминая все до мелочей — и наименования сигарет, и даже душок горьковато-травянистый.

И весь этот ежесуточный неминуемый маршрут, как мог, направил в дальнейшем мое сознание. Лет в десять я попробовал сигарету, и с тех пор курю, но так не случилось отчего-то со многими, кто в школу ходил другой дорогой. Коллекционировал горячечно все, что продавалось в киоске «Союзпечать», — от значков до марок, отчего развились и азарт, и мечтательность, да и жадность, как у рыбежки, хватающей все блестящее. Многоэтажный серый дом, виду которого я всякий раз в душе завидовал, сравнивая с тем, в котором жил, влюблял меня только в девушек, живших в нем, но любовью неуверенной в себе, подневольной. А шагая по бетонным плитам, я до сих пор испытываю подсудно чувство покоя, и оно очень явственное, выпуклое, как бывало всегда, когда выходил я поутру из дома, и беспокойство невольного пробуждения тут же рассеивалось на воздухе; зимой, в утренней лиловой мгле, шагая невесомо, пружинисто по спрессованному морозом снежному насту, серебрящемуся наподобие лунного грунта, приходил в себя от ощущения своей нездешности, будто и вправду оказался на Луне, а то, что ярко, холодно светило в мглистом небе, казалось жа-

лостливо Землей. Странность, похожая на заучивание. Был такой гипноз: иду учиться. И вот уже, из дома выходя, готов к тому, чтоб заучивать все, что услышу да увижу. А эта дорога от дома до школы — первый попавшийся, самый навязчивый урок.

Но я, наверно, никогда бы не написал эту повесть, если б не узнал, что директор школы, о которой давно уж позабыл, Алла Павловна Фейгина, выехала еще в начале девяностых годов на постоянное место жительства в США — как еврейка, по вызову каких-то родственников. Больше всего оглушило известие, что она была еврейкой, — это было и изумление, и потрясение. Это ведь была Алла Павловна, что клялась партийным билетом выгнать меня из школы, а иступленные эти крики рождал в ней вид моего ремня, полоски брезентовой ткани, раскрашенной, как американский флаг, — купленный у фарцовщика ремень был тогда единственным моим богатством в смысле одежды. И никого она так не мучила в классе на моей памяти, как нескольких учащихся-евреев. Я помню, как она могла вслух сказать на своем уроке, что Шендерману не мешало б в будущем сменить фамилию или что у Светланы Горенштейн «врожденная тупость», — и сама же обращала на них всеобщее нездоровое внимание как на «евреев». А еще ненавидела люто пепси-колу, заявляя как химик, что она представляет собой опасную химическую смесь наподобие кислоты и что в нее добавляются наркотики. И в качестве пропаганды здорового образа жизни устраивала образцово-показательные «уроки здоровья», которыми особо гордилась и куда даже приглашались ею, как на званый обед, инспекторы из роно да инструкторы из райкома комсомола: уроки о том, как вредно и опасно для здоровья пить газированный напиток под этим названием. Пепси-колу нашего производства можно было купить в любом продуктовом магазине, но Алла Павловна на «уроке здоровья» выставляла пустую заводскую бутылку нашенского разлива как экспонат и всерьез обращала внимание школьников, что этикетка на этой бутылке раскрашена опять же не просто так, а «цветами американского флага». Об ее эмиграции в Соединенные Штаты Америки стало известно так: она распродавала свои вещи и обзванивала всех, кто мог ее помнить и быть ей благодарным — своих любимцев из бывших учеников, родительниц, которых она когда-то чем-то благодетельствовала. Те, кто с нею разговаривал и что-то у нее покупал, говорили, что никак не могла она распродать хрустальные вазы — лет двадцать ей на День учителя дарили от родительского актива хрустальные вазы. Кто-то из тех же родительниц теперь за бесценок и приобрел по вазочке на память об Алле Павловне.

Радиоприемник

РАССКАЗ

Проснувшись, не открывая глаз, но чувствуя сквозь сомкнутые веки утренний свет, я продолжал делать вид, что сплю, не сразу просонья сообразив, почему я это делаю. Вспомнив же, тем более не разомкнул век, но, якобы сонным движением подняв под голову подушку, повернулся к стене. И уж тогда только открыл глаза. Когда никто этого не мог заметить.

А куда было деваться? Конечно, еще какое-то время лежать. Благо, что осенние каникулы уже наступили, в школу никто будить не придет. Но надолго ли этим спасусь? Мама вот-вот отправится на работу, а перед уходом непременно заглянет ко мне. Но в тот момент вовсе не мамы я опасался. Скорее она могла бы смягчить ситуацию. С бабушкой она в контрах, а на бабушкин радиоприемник ей вообще наплевать. Ей хватало громкоговорителя — круглой черной тарелки, висевшей в нашей комнате на стене между дверью и шкафом, чуть выше шкафа. Громкоговоритель весь день напролет громко говорил на чистом русском языке, умолкая только на время моего сна. Все новости, все русские и советские песни, все радиоспектакли (о седой китайской девушке, сражавшейся с оккупантами, о Зое и Шуре, о каких-то американских людях-шакалах), все призывы выполнить решения исторического XX съезда КПСС, все итоги выполнения этих призывов безостановочно лились из рупора громкоговорителя. Радиоприемник казался мне, как и маме, излишеством.

Он, разумеется, был *вещью*. Массивный, в деревянной светло-коричневой лакированной коробке, с четырьмя круглыми ручками-колесиками, которые можно было вертеть, со шкалой, при включении загорающейся зеленым светом; на ней выделялись темно-желтые названия иностранных городов, написанные латинскими буквами. Стрелка бегала по этой шкале взад и вперед, вызывая к жизни разнообразные звуки — каждый раз нового происхождения. Бабушка привезла этот агрегат из Испании. Конечно, это память о гражданской войне. Конечно, это было героическое время и приемник — память о нем. Но бабушка сама же сказала на собрании, посвященном юбилею «испанских событий», что она не видит поводов для ликования и поздравлений друг друга: войну-то мы проиграли, выиграли ее фашисты во главе с генералом Франко. Ее тогда чуть с праздника не поперли — и могли бы, если б не была она там чуть ли не единственной участницей той войны. Да еще с орденом Боевого Красного Знамени. Так что приемник — *память о проигранной войне*. А стоит ли о ней вспоминать?

К тому же сквозь шорох и треск, доносившиеся почти с каждой точки, на которую попадала на шкале стрелка, ничего осмысленно русского я разобрать не мог. Там же, где было отчетливо все слышно, звучали иностранная речь либо программа передач нашего громкоговорителя. Бабушка, правда, почти каждый вечер проводила у радиоприемника: она свободно говорила по-испански и по-французски. Но слушала обычно поздно, когда я уже готовился ко сну.

Последнее время к отцу стал ходить в гости лохматый, неряшливый поэт с женским именем. Он вернулся в Москву из карагандинской ссылки, жил по друзьям. Ленина он называл «марксистом-любителем», Сталина — вурдалаком, рассказывал

смепную, но отчасти безумную историю о том, как в Караганде в день похорон «главного людоеда», когда шли плачущие толпы, один ссыльный бросился навстречу знакомой с криком: «Анна Петровна! Наконец-то! Дожили! Издох, собака! Поздравля-аю!» И как потом они бежали проходными дворами, спасаясь от рассвирепевших обывателей. Этот зековский язычок, зековское меланхолическое остроумие были мне в диковинку, хотелось подражать такому стилю, но не получалось. Во всяком случае, небритый поэт стал для меня авторитетом. Он поначалу заинтересовался бабушкиным радиоприемником, спросил у отца дрогнувшим, но слегка притушенным голосом: «Ловит?...» Отец отрицательно помотал головой, пожал плечами. Поэт, разумеется, попробовал сам покрутить ручки настройки, однако ничего, кроме все того же писка, треска, хрипа и шуршания, не нашел, если не считать голосов иностранных дикторов. Но чуждой речи поэт не понимал, поэтому досадливо отошел от приемника, буркнув: «Глушат, сволочи».

А то, что слушала на испанском и французском бабушка, она все равно никому не рассказывала. Читывая же ее любовь к нравоучениям и пересказам газетных статей, я умозаключил, что ничего для себя (а стало быть, и для нас) она из этих иностранных радиопередач не извлекала. Да и какие там могли быть новые факты, которые не сообщались бы по нашему громкоговорителю!

Вот почему я в конце концов после долгих просьб отдал вчера утром радиоприемник Алешке Всесвятскому — на радиодетали. Он собирал свой, хотел выйти на связь с таким же, как он, радиолюбителем из соседнего района. А деталей у него не хватало, купить же было негде. Жил он этажом выше и почти каждый день забегал ко мне покляничить испанскую игрушку.

— Все равно твоей бабке он не нужен. Чего там на этих *иностранных* языках *честного* услышишь! Отец твой его не крутит, он и так умный. А мне для дела.

Для дела — это был весьма сильный аргумент. Так нас учили в школе, так говорили родители, так каждую минуту внушали мне бабушка и громкоговоритель, что *нет на свете ничего важнее дела*, что ради дела можно пренебречь буржуазно-интеллигентскими условностями, уж тем более не обратить внимания на свою собственность, ибо собственность — вообще нечто плохое.

— Неужели *другу* жалко для дела? — снова и снова спрашивал меня Алешка.

Был он стройный, худощавый, с большими синими глазами и себе на уме: прямо вьюном вился. Хотел надуть меня. Это понял я уже потом, лежа в постели, глядя в стенку и перемалывая в мыслях все, что я натворил.

Хотя вроде ничего особенного.

Алешка вчера утром прямо обманул меня, сказав:

— Дай мне ненадолго, я только посмотрю, как он устроен.

Я отдал, хотя и чувствовал, что отдаю — *для дела*, для *его* дела. И правда: уже к вечеру Алешка зашел ко мне и признался, что разобрал приемник до последней лампочки, что многое из деталей может ему пригодиться, но он все равно готов все вернуть, только вот заново собрать у него не получается.

Я, конечно, мог бы сказать: «Все равно приноси. Я сам соберу». Или: «Приноси. Отец соберет». Но было ясно (и Алешка это прекрасно знал), что ни отец, ни я собрать приемник не в состоянии. «Руки не тем концом приделаны», — так оправдывала мама папину и мою хозяйственно-техническую непригодность. Я растерялся, а Алешка, торжествуя, удалился к себе. Понятно было также, что ни бабушка, ни отец не пойдут к нему с требованием вернуть — слишком интеллигентны. Так что приемник останется у него.

Мое счастье, что вчера бабушка долго беседовала с кем-то по телефону и отправилась в папин кабинет, где стоял приемник, видимо, уже после того, как я улегся спать. Вечером таким образом я избежал неприятных нареканий. Но тем острее ощутил утром непоправимость содеянного. И час расплаты приблизился. Не скажешь ведь, что Алешка виноват: во-первых, сам отдал, а во-вторых, валить на друга неприлично.

Я прислушался. В кухне шел разговор. Говорили обо мне. Говорила бабушка — как всегда правильные слова, которыми она словно бы защищалась от всех

моих, папиных и маминих неправильностей и необдуманных поступков. Да и от всей остальной жизни, которая не была такой правильной, как ей хотелось бы.

— В конце концов он уже взрослый человек. Двенадцать лет — это совсем немало. И должен сам отвечать за свои поступки.— Голос бабушки Лиды звучал жестко, прямо-таки дышал непреклонностью. Я так и видел мысленно ее прямую спину и вскинутую вверх голову.

А что папа? Мама-то небось уже на работе. Она бы заступилась, хотя бы ради того, чтоб поперечить бабушке с ее, как маме всегда казалось, высокомерным тоном. Потому что, поясняя мама, слишком долго твоя бабка по Европам ездила, все к нашей простой жизни привыкнуть не может. Бабушка и впрямь биографии была не совсем обычной: старый член партии, с девятьсот третьего года, после тюрьмы эмигрировала в девятьсот пятом в Швейцарию, сначала жила там, а потом переехала в Аргентину. И вернулась в страну победившего пролетариата только в двадцать седьмом, и тут, как посмеивался лохматый поэт, случился фарт: ее не посадили. А не посадили потому, говорил он, что все партийные посты были уже расхvatаны, ей куска пирога не досталось и никому она не была соперницей. Так себе, обломок прошлого с партийным стажем. Но сама бабушка никогда не жалела, что вернулась на Родину, ибо жила идеалами, а не реальностью. Так мне казалось, а об идеалах твердили все газеты и громкоговорители, совпадая с бабушкиным душевным порывом прежних лет. Правда, Алешка, выклянчивая у меня радиоприемник, ехидничал:

— Глупо сделала! Жила себе в Америке. А приехала сюда, к нам. Теперь поди жалеет, что в нашу серость вернулась. Вот и слушает свой приемник. Только растрavляется. Ей от этого слушания только хуже, понимаешь?

Мама считала так же, как Алешка. Что бабушка на самом деле *жалеет* о своем возвращении в Россию, только горда, потому молчит, а так тут все не по ней, Европы ей не хватает с ее удобствами, поэтому она всех и учит, как надо жить, жить *цивилизованно*, не нравится ей, как у нас работают, а самое главное — недовольна она тем, что ее сын (мой отец) взял себе жену из *простой* семьи. В чем-то мама была права, во всяком случае, я тоже не раз видел, как бабушка бывала недовольна работой слесарей или плотников, призывавшихся для мелкой починки в квартире. И мне было неудобно, когда она им *указывала*, что тут вот недоделано, а здесь сделано *не так, как она хотела*. Как и маме, мне это казалось *барскими капризами*. Неумением или нежеланием жить «простой жизнью», как все живут. И в маминих перепалках и ссорах с бабушкой я всегда держался маминой стороны. Поэтому от нее ждал бы сейчас поддержки, если б она была дома.

И тут я услышал маму.

— Я сейчас подниму его,— сухо сказала она.

Потом распахнулась и хлопнула дверь моей комнаты, и мама резко дернула меня за плечо, разворачивая от стены к свету:

— Нечего прикидываться! Натворил — изволь отвечать!

Я открыл глаза. Мама была в том своем платье, в котором она ездила на работу, причесана, тонкие, уже накрашенные губы плотно сжаты, смотрела она на меня с гадливостью, в сильном раздражении.

Сердце упало, я испугался. Когда мама сердилась, мир рушился: оправдаться было невозможно.

— Я из-за тебя на работу опаздываю! Вставай немедленно и отчитывайся, зачем это сделал! Пока подзатыльник не получил! Довоспитывали! Мой сын из дома вещи ворует! Чем ты лучше любого подзаборного?.. Меня же теперь тобой твоя бабка попрекать будет! Скажет, что я тебя таким воспитала, потому что сама — *из простых*. Да уже попрекает! Ну? Что молчишь? Язык проглотил? Отвечай!

Вжав голову в плечи, я торопливо выскочил из постели и принялся молча и суетливо запихивать одеяло, простыни и наволочку с подушки в ящик для постельного белья. Но мама была так раздражена, что вырвала простынный комок у меня из рук, швырнула обратно на диван и крикнула:

— Отвечай, когда спрашивают! Я за тебя краснею и отдуваюсь, а он отмалчивается!.. Всю жизнь не промолчишь! Или свою дорожку уже нашел? Так потихонечку начнешь вещи из дому таскать? А потом что? У *чужих* воровать пойдешь?!

Мама в детстве нагладелась многого, живя на рабочей окраине Москвы, и ее волновали простые и здравые вещи. Она знала, что *такое* бывает. Впрочем, знал и я, в школе у нас разные учились. Но ко мне, был я уверен, это не имело никакого отношения: я не воровал, я отдал свое, потому что всё, находившееся в квартире, воспринимал как общую собственность, как общее, как наше, а стало быть, и мое. Это я и попытался сформулировать, запинаясь и дрожа.

— Свое! Свое! — взорвалась мама. — Это не твое! Не тобой куплено! Не тобой поставлено! Не тобой возьмется! Это и не мое тоже. Поэтому не у меня проси прощения. У меня — не за что! У бабки своей проси. Это ее приемник. А меня ты расстроил хуже некуда. Вырастила себе опору!..

И, не удержавшись, мама все-таки влепила мне подзатыльник. Потом, тряхнув за плечо, сказала:

— Все! Не сопи. За дело! Убирай постель, мойся, завтракай. И объяснись с бабкой. Нашкодил — держи ответ! А мне на работу пора бежать...

Мама вышла, но дверь за собой все же закрыла, оставив меня в огороженном пространстве, как бы защищенном от нападающих реплик и взглядов из кухни. Только теперь я начал понимать, а точнее — ощущать свой проступок. Конечно, уже с самого пробуждения понимал, но все же не до конца, думал, что вдруг преувеличиваю, вдруг обойдется. Не обошлось. Выходить на кухню мне не хотелось. Что сказать? Как оправдаться? К тому же бабушка недолюбливала Алешку, комната которого располагалась как раз над бабушкиной, и оттуда допоздна неслись дикие тогда звуки джаза и блатных песен. Алешкины родители развелись давно, мать снова вышла замуж, а он жил с ее родителями — добродушной и глуповатой бабкой и дедом-профессором, которому дела не было до внука и его занятий. Быть может, сказать, что такое нам было школьное задание — разобрать и собрать приемник? Алешка мне помогал, да вот прокол случился — разобрать разобрали, а собрать не сумели. Но звучало это неправдоподобно, и я отмел этот вариант. Однако, придумывая оправдания, я немного успокоился после маминого нашествия и сидел на диване, размышляя, как жить дальше. Хуже всего было (и я это знал), что вину мою уже никак не исправить. Не принесу же я пустую коробку радиоприемника, из которой выпотрошено Алешкой всё содержимое...

Я надел теплую байковую рубашку и вместо синих хэбэшных китайских шаровар толстые школьные брюки. Мне чудилось, что так я будто в броне. И вышел.

Мама уже уехала на работу. Еще в комнате я услышал стук входной двери, после чего и решил выползти из своего убежища. Папа и бабушка сидели за кухонным столом друг против друга и молчали. Не ели, ждали меня. Отец выглядел смущенным и раздосадованным. Бабушка посмотрела на меня сквозь свои очки без оправы, но ничего не сказала. Она была одета в парадный жакет с орденской колодкой и длинную темную юбку, словно собиралась на партсобрание или какое-нибудь торжественное заседание. Но что-то было в ее взгляде, да и во взгляде отца отчасти тоже, что я не сразу понял. И только когда, чистя зубы, увидел свою физиономию в зеркале, догадался. Ибо глянул в какой-то момент на себя *их глазами*. Они смотрели на меня, как на *чужого*, как на неприятного им чужого мальчика, случайно оказавшегося в их квартире.

Я почувствовал, что жар приливает к голове, а лицо как будто даже распухает незнакомо и краснеет. Более того, становится и мне самому чужим. Я взгляделся в зеркало. Оно отражало очень неприятного меня. Бывали минуты, когда я любил крутиться перед зеркалом, принимая воинственные позы, а то и рассматривать, какое у меня может быть сосредоточенное и умное лицо. А иногда я пугался, видя, до чего я нелеп — с короткой шеей, слишком широкими плечами и морщинистым лбом, нос тоже толстый и вообще никакого отпечатка благородства — не то что у стройного и изящного Алешки. Мне становилось не по себе

от мысли, что мой облик отражает мою будущую мелкую, неаристократическую жизнь. А кто же в детстве не мечтал быть благородным графом или бароном!.. «Вдруг я и в самом деле ничтожество, которое и родным даже уважать нельзя?» — думал я. А потом еще более страшная мысль, напугавшая почти до икоты, посетила меня: «А что если я и впрямь чужой? Подкидьш? Ведь случается такое... А теперь *они* мне это скажут...»

Дверь ванной комнаты отворилась. На пороге стоял отец. Верхняя губа его вздрагивала не то от гнева, не то от презрения ко мне.

— Ты, может, перестанешь наконец отсиживаться и выйдешь? Ведь знаешь, что тебя ждут.

Повернулся и ушел.

Признаться ли? Отца я обожал, и самое тайное и основное стремление моего детства и моей юности было походить хоть немного на него. Я не был дворовым ребенком, улица отпугивала меня, мне больше нравились умные разговоры взрослых, которые я слушал не в школе, а дома. Я весь был в семье, но семья не бытовое, а той, где постоянно обсуждаются всякие высокие материи, говорят о поэзии, о философии, истории, а если о политике, то не конкретно, а в общем плане мироустройства.

К тому же я видел, что все друзья отца не просто уважают его, а относятся к нему с пиететом, считают человеком, который призван к чему-то высшему. Срывавшиеся с их уст слова: «Ну, ты гений», «С гением не поспоришь», восхищение его редкими статьями — все это конструировало мое отношение к отцу. Я был уверен, что лет через сто, когда идеи отца будут оценены по достоинству всем человечеством и он будет прославлен, не забудут и про меня: ведь все же я его сын, и он со мной первым делился своими мыслями. И какая-нибудь строчка в толстом исследовании о жизни отца будет и мне посвящена. Быть упомянутым хоть строчкой в таком исследовании казалось мне тогда самой завидной судьбой. «Я сын гения» — таково было мое тщеславие. Я впитывал каждое слово отца, принимал все его трактовки и объяснения без возражения и проверки, никогда и ни в чем не перечая ему. Впрочем, и сам отец подавал пример подобной сыновней любви, беспрекословно выполняя все просьбы своей матери, моей бабушки, даже когда, как я мог понять, не во всем с ней соглашался. Ибо в сути был согласен: в отстаивании коммунистических идеалов, которые однажды просияли во мраке человеческой истории, но были загублены сталинистами. «Лучше и выше идей коммунизма — свободы и счастья всех в этой жизни — не было придумано, — говорил он. — А то, что у нас, никакого отношения к коммунизму не имеет, безумие и бред».

Неужели им так важен этот приемник? Какое отношение имеет он к бабушкиным идеалам? К коммунизму? К спорам с лохматым и нематым поэтом, который утверждал, что преступнее, чем нынешняя система, в мире никогда не бывало?.. Может, я чего-то не понимаю? Как же мне сейчас держаться? То, что виноват, — спору нет. Но *как* виноват? Насколько?

Я прислушался. Но ни звука не долетало до меня. Очевидно, ждали, когда я выйду. Зачем они ждут? Мало им того, что мама набросилась на меня? Что еще им нужно от незащитного человека? Может, исчезнуть? Убежать?.. Но куда? И для чего?

Волна холодного озноба прокатилась по спине, и задрожали от слабости ноги. Может, мама права и дело в том, что я и впрямь — *украинка*. Ведь скажем, мне и в голову не придет отдать кому-нибудь папину пишущую машинку — это было бы настоящим воровством, *это его вещь, он на ней работает*. А приемник, успокаивал я себя, стоял почти совсем бессмысленно. Даже когда бабушка слушала свои зарубежные передачи на иностранных языках, на вопрос мой или папин, что она слышала нового и интересного, обычно отвечала торжествующе: «А, как всегда — буржуазная чепуха. Болтают всякую чушь». И удовлетворенно почему-то кривилась и морщилась. Зачем же хранить вещь, по которой только ерунду и чушь услышишь?.. А для информации газеты и громкоговоритель имеются.

Ноги дрожали, но на кухню я все-таки вышел. Мне ведь некуда было больше идти. Не на улицу же, в никуда...

Папа и бабушка сидели все так же молча. Папа спиной к двери, бабушка слева, у окна. На мое «доброе утро» отец даже не обернулся, а бабушка только кивнула. Но ее выпуклые безресничные глаза сквозь очки следили за каждым моим движением. Сама же она, казалось, застыла в своей прямоспинности. Я подошел к кухонной плите, положил на тарелку из кастрюли уже остывшую и потому невкусную манную кашу, налил в стакан прохладного чая. Бросил туда кусок рафинада и смотрел, как он стал оплывать, почти не растворяясь в чуть теплой воде. Потом, наконец, осмелился, повернулся, сел за стол.

Заглотнул, не поднимая глаз, комок холодной каши...

— Что же ты молчишь? — спросила вдруг бабушка.

Отхлебнув глоток противного чая, я виновато и торопливо ответил:

— Я не подумал, когда делал... Я больше не...

— Жаль! — прервал меня неприятно отец. — Думать всегда надо. Если ты себя человеком считаешь.

И опять замолчал. А что я мог возразить? «Думать всегда надо». Конечно, кто бы спорил... Аксиома, не вызывающая возражений. *Но что же делать, если я уже не подумал!*.. От холодного, пренебрежительного тона отца глаза мои наполнились слезами. Я чувствовал, что его настроила бабушка, и настроила основательно. Не перенастроишь!..

— А я вот не подумал. Может же человек хоть раз в жизни не подумать?..

— Но не больше, чем раз,— усмехнулся отец.— А ты уверен, что уже не превысил?..— Но тут же замолчал, потому что за разговор взялась бабушка.

— Я все пытаюсь понять,— торжественно-траурным голосом, словно на собрании выступала, начала она,— каковы причины подобных поступков? Глупость? Но ты вовсе не глуп. Желание сделать мне неприятность? Но зачем?

— Не хотел я вовсе тебе делать неприятно! — воскликнул я голосом, неожиданно перешедшим в противный взвизг.— Просто мне казалось, что приемник никому особенно не нужен!

— Представь себе тогда,— холодно сказала бабушка,— что ты дежуришь в пионерской комнате, а там валяются старый, давно не используемый горн или старое, рваное знамя, которое уже не выносятся. Ты что, сочтешь возможным отдать это любому, кто тебя попросит? Ведь ни горн, ни знамя уже не используются. А просящему знамя нужно на рубаху, а горн, к примеру, приспособить вместо гудка для его машины. Вроде бы для дела. Ты бы отдал?

Мне припомнились Алешкины слова и аргументы, и я вдруг разозлился. Алешка говорил: «Жалко ее, что сюда приехала. Вот и слушает свою границу. Опять туда хочет. А зачем тогда возвращалась? Я понимаю, что там лучше. Вот бы и оставалась там. А уж к нам попал, от нас не уедешь! Теперь себя растравляет».

— Тебе просто нужна твоя граница! — выкрикнул я.— И не надо приемник со знаменем сравнивать! Знамя — это честь школы. А это — личное радио. Или тебе мало громкоговорителя? Зачем тебе приемник?! Зачем? Ты все равно говоришь только то, что и наш громкоговоритель! Или, может, тебе просто звуки иностранного языка дороже русского?..— И сам испугался своей догадки.

Бабушка, похоже, была ошеломлена моей речью. Она аж побледнела. Медленно и величественно поднялась со стула и руку вытянула, указывая на меня пальцем.

— Посмотри на него, — обратилась она к отцу.— И это твой сын! Мой внук!

Я вспомнил — проклятая начитанность! — «Судьбу барабанщика» и старика Якова, матерого шпиона, но сразу отогнал этот образ: не то, не то, другое...

— Знамя — это отличие,— продолжала бабушка, уже и меня беря в расчет.— Оно отличает один отряд от другого. Как и горн, как и барабан. Приемник отличал наш дом от других. Ты забыл, что я получила его как награду за бой в Испании. *Это еще один мой орден. Да и вообще это собственность, и не твоя!* — пробудилось в бабушке ее буржуазное прошлое.— Но не в этом дело,— тут же поправились она.— А в том, что ты предал свое отличие, свое знамя. Бывают люди, преданные делу, идее, друзьям, семье, а бывают — предатели всего этого. Ты оказался в числе последних. Ты не украл, ты дом свой предал.

Эти слова были ужасны. Страшнее слов нельзя было найти. Ибо я знал, что гнуснее предателя нет на Земле человека.

— Я не знал про награду,— сказал я, давясь слезами.— Мне никто этого не рассказывал. Но я вовсе не предатель! Я докажу это!

Самые настоящие рыдания охватили меня, и я почти бегом, отмахиваясь от отца и бабушки, бросился к себе в комнату. Я докажу! Докажу! Оденусь сейчас и уйду! Пусть знают! На улице, где все чужие и враждебные. И там всей жизнью докажу верность дому и его идеалам. Я докажу, что я не меньше предан тому, за что сражалась бабушка и во что верит отец... Умру за эти идеалы. А *от них* никакой помощи!.. Пусть предлагают. Откажусь — гордо и иронично. Пусть *потом* раскаиваются...

Напрасно отец вдогон шагнул:

— Сыночек, успокойся!

Сквозь слезы я сумел рявкнуть:

— Иди лучше бабушку успокой! Это она за свой приемник переволновалась. Собственница она, а не коммунистка! Я еще вам докажу, кто из нас настоящий коммунист. Если такой строй вообще может на Земле быть, то я это сделаю!

Отец вышел. Но пришла бабушка, села на диван и молча смотрела на меня, рывшегося в шкаф в поисках уличной одежды. Молчала долго, так что я не выдержал, бросил на пол свитер и, повернувшись к ней, вытерев глаза, спросил сухо:

— Не понимаю, зачем тебе нужен был этот приемник? Ведь ты сама говорила, что передают западные станции только буржуазную чушь и ерунду. Но он тебе зачем-то нужен, иначе бы ты не устроила мне *судилище*.

В ответ бабушка еще помолчала, глядя на меня сквозь очки своими безрешительными глазами, словно решала, сказать или нет. Потом произнесла:

— Видишь ли, мне тебе это трудно объяснить. Но приемник был нужен мне для дела. С его помощью я могла слушать мир. Когда-нибудь и ты выучил бы иностранные языки, и перед тобой открылись бы безграничные возможности для постижения действительности...

Я был уверен, что она снова хочет прочесть мне мораль. Снова говорить о долге и ответственности, о моем проступке, который отбрасывает меня в число отверженных. Тех, что никогда не смогут стать членами идеального общества, которое она всю свою жизнь пыталась построить. Но вдруг я почувствовал в ее речи какую-то змеиную двусмысленность: сквозила она почти в каждом предложении, поскольку каждое из них можно было понять и прямо, и совсем наоборот. В моем мозгу стоял треск, создавая помехи, как в радиоприемнике.

— Люди имеют привычку забывать о проклятом прошлом, о том, как тяжело жилось им при царе и капиталистах,— вещала бабушка.— Сейчас смотрят на Запад, думают, там лучше, а сами там никогда не были. Я была и знаю. Там рабочий класс тоже выдвигает требования. И многого добился. Но полной победы нет. Поэтому глупо и неправильно заниматься самооплевыванием, что, мол, у нас не получилось. Там еще хуже. И об этом мне сообщала почти каждая радиопередача оттуда. Миллионы нерешенных проблем там остались. Мне важно было это слышать для сравнения. Здесь, у нас, все-таки во главе угла — идеалы коммунизма. А там — наживы. У нас много недостатков, да и Сталин во многом извратил линию партии, но я не жалею, что приехала сюда с Запада. Понял? И приемник ежедневно, ежевечерне подтверждал правильность этого моего решения. Он помогал мне слышать мир, чтоб утвердиться в верности избранного пути. Вот и подумай теперь в свете моих слов о своем поступке.

Осуждающе глянула она на меня снова, не моргая, словно гипнотизируя. Сознвала ли она сама второй смысл своих слов? Она слушала радио, слушала мир, не слыша его, слушала, чтобы услышать себя. Моих оправданий она тоже не захотела выслушать. Прямошпинная, как всегда, поднялась она с дивана и вышла из комнаты, не удостоив меня ни словом, ни взглядом. А я не знал, что сказать ей вслед.

Да и что я мог тогда сказать?!

Потерянная фотопленка

РАССКАЗ

Этo был наш последний день в Дели. Апрель. Жара. Нагретая пыль поднималась от земли, из-под тысяч ног, копыт и колес, а сверху опускался чудовищный делийский смог, и иллюзорность мира оказывалась если не осязаемой, то неприятно обоняемой. Мы прятались от пыли и жары в зоопарке. По дорожкам ходили толпы школьников в сопровождении учителей, редкие семейные пары вывели на экскурсию детей, мальчишки торговали с тележек лаймовым соком, разбавленным водой, и не моргнув глазом сообщали нам цену — десять рупий, хотя настоящая цена — десять пайсов, ровно в сто раз дешевле — была написана на тележке сбоку.

Делийский зоопарк — зрелище, уступающее по степени отстраненности разве что бангалорскому Диснейленду. Выжженная, растрескавшаяся земля с редкими пучками увядающей травы, деревья почти без листьев, которые уже успели высохнуть на солнце и опасть, грязь, мусор, камни, скорее всего метеоритного происхождения — настолько инопланетным выглядит пейзаж, и хотя здесь собраны животные, обитающие лишь в Индии, они абсолютно не вписываются в него. Кажется, что их похитили пришельцы для своих загадочных опытов. В редкой тени, на островках чудом сохранившейся травы паслись косули и носороги, отгороженные друг от друга и от людей рвами с водой. На отдельном острове развлекались обезьяны. В бетонном бассейне дремало два семейства бегемотов с малолетними отпрысками. В железных клетках, зачем-то закрытых проволочными сетками, томились птицы и обезьяны с детенышами, как будто кто-то нарисовал их на бумаге в клеточку. Маленький кенгуру сосредоточенно копошился в вольере. На площадке среди деревьев катали на слоне. Слон равнодушно обходил по кругу крошечный пятачок, помахивая хвостом и попрошайничая, и возвращался к помосту за новой порцией седаков.

Я вяло фотографировала, исключительно из чувства долга перед оставшимся в Москве братом, чувствуя, как с каждым кадром все больше превращаюсь в японскую туристку. Все подряд, лишь бы поскорее закончилась пленка. Когда я собиралась запечатлеть огромный баньян, вспышка перестала срабатывать. «Ты замени батарейки», — посоветовал мой спутник, вытаскивая из плеера батарейки на замену. Зачем-то вместо отделения для батареек я открыла фотоаппарат, засветив пленку. Я тупо смотрела на раскрытую камеру, не понимая, как это меня угораздило. Потом перемотала пленку назад и... В кинофильмах в такие моменты резко меняется место действия, в театре опускают занавес, в жизни срабатывает волшебная формула — я же совершенно точно помню, как... Я совершенно точно помнила, как выкинула пленку в урну. Зачем мне засвеченная пленка? С туризмом было покончено. В Москве я сокрушенно качала головой и с притворным расстройством сообщала, что пленка засветилась.

Спустя полтора года меня вместе с драматургом Олей Мухиной пригласили поучаствовать в международной писательской программе в университете штата Айова. Программа вызывала ощущение антропологического эксперимента на

тему «Что будет с тридцатью взрослыми людьми, если их поселить на три месяца на одном этаже университетского общежития?». Айова-Сити — маленький университетский городок — затерялся среди кукурузных полей и находился почти в четырех часах езды от Чикаго. Весь он состоял из университета, огромного госпиталя, одного из самых больших в Америке, студенческих общежитий, домов преподавателей университета и персонала госпиталя, маленького даунтауна, с десятком баров и кафе, одним супермаркетом, одним молотом и несколькими книжными магазинами. По вечерам с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье Айова-Сити ходил ходуном — пьяные студенты развешивали на деревьях гирлянды из туалетной бумаги, штурмовали бары, вопили и шатались праздными толпами по улицам. В остальное время это было типичное американское захолустье, правда, с активной литературной жизнью. Организаторы программы с гордостью рассказывали о знаменитых американских писателях и поэтах, учившихся или преподававших в местном университете. Среди них были Теннесси Уильямс, Марк Стрэнд, кажется, Апдайк и еще множество менее известных личностей.

Эксперимент протекал вполне забавно. Писательский паноптикум давал щедрый материал для наблюдений. Молдавский поэт Василь рассказывал всем и каждому о русской угрозе и русской вине, норовил при любом удобном случае нарисовать круг, поясняя, что это Румыния и Молдова вместе, потом делил круг на две части — это Молдова, которую *колонизировали* русские, указывал он на одну из частей. Далее следовал рассказ о том, что Молдова хочет присоединиться к НАТО, но русские не дают. И что все прогрессивные силы должны поддержать борьбу Молдовы за присоединение к НАТО. В общем, по сравнению с глобусом Молдовы, который я видела на одной из выставок в Малом Манеже, это было даже скромно. Поэт писал неожиданно хорошие стихи — по крайней мере в переводе на английский — и, как профессор Выбегалло, вставлял в каждое английское предложение слова «эта» и «значит», беззастенчиво заимствуя их из языка колонизаторов. Сексапильная молодая писательница из Уганды Аетта оказалась автором весьма откровенных рассказов о половой жизни женщин своей страны, изобиловавших словами «дефлорация», «преждевременная эякуляция», «внематочная беременность» и им подобными. Три четверти ее сюжетов затрагивали тему инцеста, причем грешили этим не только люди, но и страстные боги угандийского пантеона. Все это давало американцам чудесный повод поговорить о социальных и правовых предпосылках униженного положения женщин Африки. Двадцатилетняя немка Беатрис написала постмодернистскую повесть о двух сестрах-лесбиянках, которые очень любили друг друга, но старшая оказалась вполне бисексуальной и влюбилась в мужчину. Младшая этого не выдержала и в день свадьбы старшей сестры попыталась покончить с собой. Ее спасли и отправили в психиатрическую лечебницу в Данию (и почему ее звали не Офелия?), откуда она пишет сестре письма, вспоминая об их любви. Палестинец Махмуд, советник Ясира Арафата по культуре и автор «очень-очень коротких историй», длиной в несколько строчек и напоминавших суфийские анекдоты, быстро сдружился с еврейским журналистом из Тель-Авива Игалем, остроумным циником, называвшим нас с Олей «религиозными русскими девушками». Литовская поэтесса отказывалась говорить по-русски, по-английски понимала с трудом и, как и Василь, вставляла чуть ли не через слово в свою английскую речь словечко «ну». Сорокалетний поэт из Венгрии Андраш страдал от отсутствия женского внимания, пробовал приставать к американским студенткам, был многократно отшит и жаловался на то, что Америка — чудовищно фригидная страна. Чилиец пил и писал стихи, воспевавшие шлюх и сексуальную агрессию, чем очень расстраивал политкорректных организаторов. Все это происходило на фоне скандала вокруг Билла Клинтона и Моника Левински, поэтому быстро сложившаяся коалиция мужчин-писателей постановила, что женщины распоясались, отбились от рук, сошли с ума, не ведают, что творят, а творят, что хотят. Венгр причитал, что впервые в жизни не чувствует себя мужчиной, и интересовался, сколько жен у Махмуда. У Махмуда была всего одна жена, пото-

му что даже советнику Ясира Арафата было не по средствам содержать разрешенных Кораном четырех жен. Вдобавок ко всему Махмуд не верил в Бога и любил свинину. Бразилец усиленно занимался спортом, аргентинец — ему единственно повезло — крутил роман с переводчицей с синими волосами, полячка страдала от неразделенной любви к еврею, курила, хандрела и писала роман «про время». Оля учила английский, закупив в магазине комплекты «магнитной поэзии» и облепив ими наш холодильник, а также время от времени посещала салон пирсинга в даунтауне, методично прокалывая пупок, нос, брови. Под конец поездки она столь же методично избавлялась от них в том же салоне, поставив таким образом своеобразный рекорд. Я читала книжки, впервые за два года получив возможность заниматься этим с утра и до вечера.

Организаторы программы были милы, улыбчивы и словоохотливы и именно по этой причине иногда становились невыносимыми. Они честно развлекали нас как могли — возили на местный тракторный завод, знакомили с местными старичками и старушками из благотворительного комитета, устраивали фуршеты в местном банке, проводили тематические встречи на актуальные темы — «Образы Америки» и «Создание индивидуальности через литературу» — и раздавали пригласительные билеты на выступления ультраправой феминистки Андреа Дворкин, поэта-лауреата Роберта Пински, некоего нобелевского лауреата, пережившего Освенцим и ставшего известным правозащитником, русского не то посла, не то министра иностранных дел, до которого мы с Олей так и не дошли, шокировав всех своей аполитичностью, и юной нимфы, бывшей на протяжении года любовницей затворника Сэллинджера, когда ему было за пятьдесят, а ей восемнадцать, незамедлительно написавшей по этому поводу мемуары и разъезжавшей с ними по всей Америке.

В один из вечеров нас с Олей пригласили в гости ребята музыканты, жившие все вместе в большом доме среди кукурузных полей, километрах в пятнадцати от города. Днем они учились в университете, а по вечерам играли веселую сумасшедшую музыку — смесь рок-н-ролла и кантри. В дом набивалась толпа народа, музыканты играли, гости танцевали, пили пиво и курили марихуану, растущую прямо в доме на подоконниках. Вспоминались старые добрые времена у Петлюры, на Петровском бульваре и у художников из Крапивинского переулка. Молодой человек со странным именем Сэс пытался общаться на ломаном русском и собирался эмигрировать в Россию. Шикарная мулатка в сомбреро и ковбойских сапогах, пошатываясь, бродила по дому, как диккенсовский призрак, гремя вместо кандалов бубном и маракасами. В одном углу целовались, в другом — обсуждали игру университетской бейсбольной команды, на втором этаже хозяин дома Макс демонстрировал коллекцию кальянов и чиламов. Еще утром мы с Олей купили в книжном магазине фото пленку и теперь фотографировали все подряд, уворачиваясь от полупьяных орущих людей, пытаясь найти места по светлее среди полумрака и клубов сигаретного дыма и прячась от Сэса, проклинавшего американскую бездуховность и жаждавшего настоящего *русского* общения по душам, о котором он так много читал в книге mister Erofeev «Russian Stations». Нам потребовалось время, чтобы догадаться, что речь идет о гениальном Веничке, а «Russian Stations» — это «Москва — Петушки».

Ближе к ночи музыканты убрали инструменты, на середину комнаты выволокли деревянный стол, на котором два здоровых бородатых молодых человека в клетчатых рубашках и джинсовых комбинезонах разложили какие-то железные колодки, подшипники, детали от машин и принялись стучать по ним деревянными палочками с круглыми резиновыми наконечниками, извлекая завораживающую варварскую музыку. Чувствовалось, что добропорядочные американские студенты могут составить достойную конкуренцию не только Гаррику Виноградову, но и родоначальникам жанра — немецкой группе «Айнштурзенд Ньюбаутен». Голливудские продюсеры сделали свое дело, «почтальон» Кевин Костнер разносил письма выжившим после атомной катастрофы, «девушка-жестянка» совокуплялась с кенгуру, а волна индустриального шаманизма докатилась до тихого ханжеского Мид-Уэста. Мы дощелкали последние кадры и отбы-

ли домой в гигантском лимузине семидесятих годов — дребезжащей и разваливающейся гордости нашего знакомого.

Почти месяц спустя, перед самым отъездом, мы с Олей решили наконец напечатать фотографии, собрав раскиданные по обеим комнатам коробочки с отснятыми пленками. Всего их набралось штук пятнадцать, мы уже давно не помнили, что, где и где чье, поэтому все имевшиеся в наличии пленки вывалены на прилавок в местном супермаркете в надежде, что каждая в итоге вспомнит, что она фотографировала. Спустя пару дней, Оля отправилась забирать фотографии. Началась полоса отъездов, писатели устраивали прощальные пати, и в этот вечер было решено устроить всеобщее прощание в холле перед лифтом. Веселье было в самом разгаре, когда двери лифта открылись и в холле появилась ошеломленная Оля в компании с нашей знакомой, Гилой. Ее родители эмигрировали из Киева в Израиль, где она и родилась, но русский стал для нее родным, как и иврит, и теперь она изучала русскую литературу в университете Айовы. Оля протянула мне пакет с фотографиями — смотри! Я открыла. На первой фотографии слон, повернувшись ко мне спиной, уходил от помоста с желющими покататься. На второй млели в бассейне бегемоты. Засвеченная фотопленка из делейского зоопарка! Но этого не может быть! Я помнила, как собиралась в Америку и не брала с собой никаких пленок, ни новых, ни тем более старых. Я помнила, что всего у меня должно быть семь пленок, купленных в «Айова Букс», и все они были здесь — семь пакетов с фотографиями, один из которых не имел никакого отношения к Америке. А фотографий с вечера у музыкантов не было. Я перерыла комнату, я искала эту пленку везде, даже в холодильнике и в духовке, но ее не было. Все выглядело так, как будто кто-то невидимый и всемогущий решил подшутить надо мной и поменял местами выброшенную в урну пленку из Индии и отснятую в Америке.

Вокруг нас уже собралась толпа. Все выдвигали возможные версии произошедшего. Раскрасневшийся от вина аргентинец рассказывал, как в юности он путешествовал по Амазонке и жил полгода в одном из племен, шаман которого давал ему аяхуаску, и однажды к нему в видении пришла черная пантера и принесла в зубах медальон, который он и обнаружил у себя в руках, вернувшись из шаманского путешествия. И что, если бы мы были в Буэнос-Айресе, он мог бы его показать. Еврей качал головой и утверждал, что Бога нет, а если и есть, то на то он и Бог, а не местечковый штукарь или Дэвид Копперфилд, чтобы развлекаться такими фокусами. Молдаванин не понимал, почему русским уделяется столько внимания, и пытался пуститься в пляс, выдергивая поочередно из толпы какую-нибудь писательницу. Чилиец проникновенно смотрел мне в глаза и, как акын, бубнил что-то вроде «все будет ОК, беби, выпей пива, ты знаешь, Анастэзия, ты очень странная». Он тянул это на одной ноте и без пауз, доводя до гротеска всеобщее безумие.

Профессор Питер Назарет серьезно кивал головой — это сиддхи. Несколько лет назад он пережил две клинические смерти, и это серьезно изменило его картину мира. Еще в самом начале программы, узнав, что по образованию я физик, он кинулся обсуждать со мной квантовые скачки и отличие квантового типа сознания от сознания, базирующегося на аристотелевой логике. Он родился в Уганде, в семье индийских эмигрантов из Гоа, потом переехал в Англию, а оттуда — в США. Пережив просветление и осознав, что мир — един, он валил в кучу концепции, традиции и верования, и иногда мне казалось, что он не различает целостность и винегрет. Питер был автором нескольких книг и безумных идей. Так, скандал вокруг Билла Клинтона он интерпретировал как конфликт белого ханжеского Севера и страстного черного Юга, и в этой схеме играющий на саксе Билл Клинтон оказывался наследником черного освободительного движения, так как у всех южан наверняка есть африканская кровь. Теперь загадочным образом возникшие фотографии лишний раз подтверждали его теорию единства, так как ничто не пропадает, даже выкинутое в урну, а рано или поздно проявляет себя.

Ги́ла тем временем рассказывала историю, которая произошла с ней после смерти бабушки. Ее разбудил телефон, она подошла к нему, совер-

шенно наяву, как сейчас, а там ее бабушка, стопроцентная еврейская бабушка, начинающая разговор с претензии — ты почему так долго не берешь трубку? — но Гила, достойная дочь своих родителей, тоже отвечает вопросом на вопрос — откуда ты звонишь? — а бабушка ей — что значит откуда? From Heaven! С небес! Что ты задаешь идиотские вопросы? — а у вас там что, даже телефон есть? — спрашивает Гила — так если я звоню, то как ты думаешь, есть или нет? — закипает бабушка — а Гила — стопроцентная еврейская внучка, поэтому она говорит — не трать деньги, в рай, наверное, все дорого, дай свой телефон, папа тебе вечером перезвонит — и бабушка ей диктует телефон, причем явно международный, потому что цифр очень много, штук десять, и говорит — только пусть не поздно звонит, здесь рано ложатся спать, а то я Марика знаю, вечно он всех соседей перебудит — и вешает трубку. Гила кладет бумажку с телефоном на тумбочку и засыпает. И когда она проснулась, то бумажка с телефоном лежала и даже телефон был, но, когда она стала по нему звонить, ей все время говорили, что данный номер отключен в связи с тем, что абонент переехал.

У всех были версии, рациональные и абсурдные, мистические и циничные, но ни одна из них в итоге не объясняла появление фотографий, которые были *засвечены!* Присутствующие допили вино и пиво, подарили друг другу прощальные сувениры и разошлись, окончательно убедившись, что «эти русские — милые девочки, но совершенно сумасшедшие». Я сидела на кровати, перебирала фотографии и понимала, что вот оно — чудо. Пронзительное ощущение того, что «небо становится ближе с каждым днем», было настолько интенсивным, что в полном соответствии с законами современной физики пространство и время свернулись вокруг него в маленькую капсулу, и эта случайно дарованная мне вечность включала в себя все, даже то, чему не было названия и объяснения. Почему-то мне вспомнилась история о том, что на средневековых христианских картах рай располагался на востоке, и Колумб, отправляясь на поиски Индии, на самом деле плыл в рай. И до конца жизни был уверен, что там побывал. Не знаю, правда ли это, но было что-то завораживающее и символическое в путанице континентов и фотоснимков.

Прошел месяц после нашего возвращения из Америки. В Москве, разбирая вещи сразу после приезда, я вновь перетряхнула содержимое чемоданов, но никакой затерявшейся фотопленки не было. В декабре я уехала на два месяца в Индию. Месяц мы жили с другом в ашраме Саи Бабы, потом поехали вдоль побережья в Гоа. Я уже не сомневалась, что индийские фотографии в Америке были знаком и указанием на это путешествие. Мой друг разом отменил все мои возражения по поводу фотографирования и умудрялся делать снимки даже там, где это было строжайше запрещено. Отснятые фотопленки он сваливал в карман моего рюкзака, и к моменту нашего возвращения карман был полон.

Февральская Москва казалась заколдованным местом, которого не может быть. Местом, до сих пор живущим по жестким сказочным законам, где действительно можно испотать три пары железных башмаков и сжевать десяток железных хлебов. На этот раз индийские фотопленки были вывалены в окошко киоска на «Китай-городе», и спустя два дня я забирала два распухших конверта с фотографиями. Я открыла первый: Пальмы, океан, закат на Вагатор-бич, блошиный рынок, стол с железными подшипниками и деталями от машин, два парня в джинсовых комбинезонах, коллекция трубок и чиламов, которую собирал Макс, потерянная мулатка с бубном, смеющаяся Гила...

У меня нет никаких объяснений, да я и не нуждаюсь в них. Скепсис и экзальтация равно скучны. Вероятно, «всесильный Бог деталей» действительно «сохраняет все», оставляя нам свободу признавать или не замечать его чуда.



Борис ХАЗАНОВ

Понедельник роз

Dennoch die einsamste Rede des Künstlers lebt von der Paradoxie, gerade vermöge ihrer Vereinsamung, des Verzichts auf die eingeschlifene Kommunikation, zu den Menschen zu reden.

(И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям.)

Т. Адорно. Философия новой музыки.

I

Как это бывало со мной при чтении каждой новой книжки, я решил, прочитав первую часть «Фауста», создать что-нибудь подобное, если не лучше. В моем мозгу клубился замысел мировой драмы, список действующих лиц состоял из исторических и легендарных персонажей всех народов и эпох. Главный герой должен был прожить жизнь, равнозначную истории человечества. Попытка состязаться с Гёте свелась к тому, что я сочинил короткую сцену, откровенное подражание Сну в Вальпургиеву ночь. «Фауст» был снабжен комментарием. Я тоже написал комментарий к своему творению, оказавшийся втрое длиннее основного текста. Похоже, что все предприятие было затеяно ради этого комментария.

К этому времени — мне было 14 лет — в моем портфеле находилось подражание «Евгению Онегину», начало поэмы, похожей на «Домик в Коломне», и многое другое в этом роде, но критика, предисловия, введения и то, что называется аппаратом художественной литературы, мне казались не менее интересными, чем сама литература. Шла война. Я писал дневник, издавал газету и вел литературную переписку с двоюродным дядей, который сам писал стихи, переводил французских поэтов и выразил некоторое удивление, узнав, что я взялся заново учить забытый немецкий язык.

Может быть, во мне говорит наследие предков, составителей комментариев к священной книге и комментариев к комментариям; может быть, античная филология приучила меня не видеть ничего противоестественного в том, что две строки классического автора сопровождается страница примечаний. Считается, что мания рассуждать о литературе, вместо того чтобы «просто писать», свидетельствует о творческой немощи, подобно тому как слишком пространные рассуждения о Боге изобличают недостаток веры. Возможно, правы те, кто говорит, что мы живем в александрийское время, что словесность, размышляющая и разглагольствующая о самой себе,— это и есть нормальная литература нашего века. Как бы там ни было, я возвращаюсь к отроческим развлечениям. Я отлично понимаю, что пример некоторых знаменитых писателей — критиков и комментаторов собственного творчества — не может служить для меня оправданием. Отечественная традиция приучила нас видеть в пространных диатрибах

о себе нечто нескромное. Вдобавок они чаще всего недостоверны. Как сказал Д. Г. Лоуренс, верьте художнику, а не его рассказу. Если книжка не говорит сама за себя, никто за нее этого не сделает. И, наконец, то, что происходит у нас на глазах — тихая катастрофа литературы, — заведомо обрекает все подобные упражнения на невнимание и провал.

Приступы литературной болезни начались у меня лет с девяти или десяти, когда я создал некий прообраз Самиздата — киностудию «Самфильм», где я был одновременно сценаристом, художником и киномехаником. На рулонах бумаги, разграфленной на кадры, студия фабриковала исторические и приключенческие фильмы. Была лента под названием «Загадочный портрет», фильм «Верденская мельница» о мировой войне и т. д. Несколько позже писательство приняло более регулярный характер, я предпочитал солидные жанры: эпическую поэму, роман. Кроме того, я писал ученые трактаты, составлял Краткую астрономическую энциклопедию, сочинял литературоведческие статьи и прочее, о чем уже упоминалось. Самый вид литературного текста восхищал меня: строфы или главы, помеченные римскими цифрами, тире, которыми обозначаются реплики персонажей; меня пленяла пунктуация XIX века, точки с запятой где надо и где не надо, вопросительные и восклицательные знаки посреди фразы. В конце войны, когда я был рабочим на газетно-журнальном почтамте, я кропал философско-лирические поэмы (например, стихотворение о Шопенгауэре, где была странная строчка: «Пред ним молчит надменный Шеллинг»), это была дань возрасту; были еще попытки обдумать свое отношение к музыке и какие-то поползновения создать собственную метафизическую систему. В 16—17 лет огромное значение приобрел германский мир. Все это странным образом сделало меня абсолютно нечувствительным ко всеобщей ненависти к Германии и даже к смутным известиям о том, что немцы уничтожают евреев. Кроме того, я пришел к выводу, что мы сами живем в фашистском государстве. Ленин, правда, сумел продержаться несколько дольше Сталина, который рухнул, подняв пыль, зато я помню, как я объяснял одному приятелю, усатому мальчику, приехавшему из Киржача, что марксизм — ошибка: совершив революцию, рабочий класс сам захватит себе все блага.

В университет я поступил в год окончания войны, это было время, когда все писали и читали друг другу стихи. В полуподвальных коридорах клуба на Моховой стояли под тусклыми лампочками кучки мальчиков и девочек и кто-нибудь в середине рубил кулаком воздух. Но сам я почему-то уже не занимался сочинительством. Дневник, где Вождю и советской власти воздавалось по заслугам, был порван и выкинут в уборную после ареста Семьи Виленского, в ожидании, когда придут за нами. Что в конце концов и произошло. Нас было четверо, один оказался доносчиком — довольно обычная пропорция для тех лет. Наш товарищ был студентом закрытого военного института иностранных языков, был сыном «сотрудника» и упражнялся в своей будущей профессии разведчика. Меня арестовали в ночь на 28 октября 1949 года, когда я был уже на пятом курсе классического отделения; я находился под следствием во Внутренней тюрьме и Бутырках и весной следующего года, получив восемь лет, был отправлен в Унжлаг. Как известно, то были не брежневские времена — арестованный исчезал бесследно. Так как здесь речь идет о литературе, можно упомянуть о том, что некоторую роль в моем деле сыграли роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку» и чрезвычайно крамольный 66-й сонет Шекспира, который следователь счел моим собственным произведением. В некотором высшем смысле он был прав.

В лагере я предавался мечтам о книгах, которые напишу, если когда-нибудь выйду на волю. Как-то раз по дороге в зону, когда колонна, несколько сотен человек вместе со смертельно уставшим конвоем, в сумерках месила ногами снег, я придумал целую повесть, действие которой происходило на солнечном морском пляже. Позже я ее написал и вообще писал что-то, если позволяли условия; были неприятности по поводу одного рассказа, жалкого сочинения, найденного

у меня, в котором случайно упоминалась витрина Военторга (на бывшей улице Калинина), описанная без должного пиетета перед символами вооруженных сил. Вообще же времена были разные — плохие и хорошие. Я вынырнул из уголовного мира благодаря тому, что был зачислен на лагерные курсы бухгалтеров, после чего у меня появилась возможность более основательно заняться бумагомаранием. Хотя население наших мест почти сплошь состояло из полуграмотных или просто неграмотных людей, мне встречались изредка люди не чуждые искусству и литературе. Я буду помнить до конца моей жизни литовца Антанаса Криштопайтиса, художника, и его приятеля поляка Чеслава Ожеховского, с которым он постоянно пикировался. Оба помогали мне. Ожеховский писал романтические письма к незнакомке на волю, выдавая себя за инженера на большом строительстве. Один армянин из Бейрута с 25-летним сроком за измену родине (какой?), малорослый забитый человек, почти ни слова не знавший по-русски, трудился по вечерам в бараке над поэмой в честь Сталина, упоывая на восточное происхождение Вождя, который должен был клонуть на его лезье. Мой лагерный товарищ Петр Пастушок, украинец из Ровно, был почитателем Котляревского. Для одного механика я написал краткую грамматику французского языка. Я подружился с одним самодеятельным поэтом, и мы читали друг другу свои сочинения.

На другой день после того, как радио гробовым голосом сообщило, что Ус отбыл к праотцам, он показал мне под большим секретом посвященную мне оду «На смерть тирана». Этому человеку было лет 35; как и другие, он казался мне стариком. Странно подумать, что когда-то — и в школе, где я просидел восемь лет вместо десяти, и в университете, и в заключении — я был моложе всех окружающих. Как бы ни насмеялась надо мной судьба — у меня в кармане было бессмертие. Сейчас из десяти встречных девять младше меня. У меня была тетрадка, сшитая из оберточной бумаги, собрание моих лагерных рассказов; каким-то образом она сохранилась, засунутая в книжку, но была найдена и изъята при обыске спустя двадцать пять лет.

Была еще пьеса, которую я сочинял на лесном складе; была какая-то хаотическая поэма, написанная белым стихом, с рифмами в финале и, само собой, крамольного содержания («огромным лагерем встает Россия...»), врученная с просьбой вывезти одному товарищу, который ее выкинул, к счастью для нас обоих.

Я был выпущен «условно-досрочно» весной 1955 года, после чего литература провалилась под землю. Лагерь вылечил меня от многих болезней — как казалось, навсегда. Я смотрел с отвращением на книжки, оставшиеся дома после моего ареста, словно меня предал не товарищ студенческих лет, а греческие и римские классики и некогда нежно любимый Шопенгауэр. Все же я не удержался и зашел на наш факультет. В коридоре висело расписание лекций и практических занятий, какой-то семинар по Маяковскому... Глядя на все это, можно было только пожать плечами. Крысиный марш заключенных из рабочего оцепления в зону по шпалам узкоколейки, по четыре в ряд, крики конвоя, едва поспевающего за колонной, вождельный лагпункт впереди, вышки и прожектора — и семинар по Маяковскому. Мертвый храп зимней ночью в бараке, где под чехлой лампочкой за столом дремлет дневальный, — и вся эта чушь, эта херня, которую обсасывали доценты и их питомцы. Сто лет назад Московский университет и Владимир на Клязьме, куда уехали Герцена, еще кое-как уживались друг с другом. Университет и лагерь не могут сочетаться никогда. Там, где существует одно, не может быть другого. Дело не только в том, что на университете, кишевшем стукачами, стояло большое черное пятно. Дело было в абсолютной несовместимости «культуры» с русской жизнью, с той подлинной жизнью, которой жили и продолжают жить десятки миллионов людей. И с этой точки зрения и Маяковский, и Пушкин, и Гораций — все едино: глуповатый поэт революции, и *Eheu fugaces**, и «Друзья мои, прекрасен наш союз» равно незаконны. Шлиссель-

* «Увы, несутся летучие годы» (Гораций) (лат.).

бургский узник Морозов додумался до того, что античного мира не существовало: вся эллинская и римская словесность сочинена средневековыми монахами. Таким фантомом кажется вся русская литература. Не зря непозволительность умственных и эстетических упражнений, «когда народ страдает», — старый то-пос русской мысли. Чувство незаконности духовной культуры в нашей стране и этот урок жизни, который твердит тебе, что книга есть не что иное, как дезертирство из мира действительности от проклятия труда, от всеобщего убожества, от мрачного и враждебного народа, а если ты занимаешься искусством, литературой, философией, то это значит, что за тебя должны вкалывать другие, — это чувство и этот урок я не забыл по сей день.

Вообще же восстановить тогдашнее настроение теперь уже не так просто, не впадая в некоторую стилизацию; настала оттепель, что-то вроде отпускной поры; я был уверен, что, когда она пройдет — не может же она длиться вечно, — меня снова посадят, и надо было успеть приобрести хотя бы начатки какой-то реальной профессии, чтобы не оказаться во второй раз голым среди волков. Был такой случай: вскоре после возвращения кто-то дал мне почитать роман Набокова «Лолита» по-французски. Книжка вызвала у меня отвращение, это была истинно буржуазная литература, нечто такое, что сочиняется для чтения лежа на диване после сытного обеда.

II

По необъяснимому недосмотру КГБ и местного начальства я выдержал приемные экзамены в медицинский институт в Калининe, был прописан в этом городе, занимался с энтузиазмом, с отчаянием, был лучшим студентом и окончил институт с отличием. Принимая во внимание мою национальность, я был отправлен в глухой район. Эта ссылка меня не огорчала. Напротив, работа врача в деревне восхищала меня, медицина казалась единственной достойной профессией; немалое значение имело и то, что я по-прежнему носил в кармане волчий билет. Об этом никто не знал; никто не видел мой паспорт; попавшись однажды в военкомате на том, что в моих бумагах имеются расхождения, я сочинил себе липовую биографию. Я испытывал потребность уйти от луча, то самое желание укрыться в глубинке, о котором сказано в одном малоудачном рассказе Солженицына, или опуститься «на самое дно реки», как говорит Лаврецкий в «Дворянском гнезде», в восхитительной XX главе, — и с веселым сердцем прибыл в замшелую земскую больницу, где мне все нравилось. Впервые в жизни у меня была собственная квартира и выдавший виды медицинский фургон военного времени. Жена моя еще оставалась некоторое время в городе. И вот однажды, после прочтения воспоминаний Сомерсета Моэма, очаровавших меня своим слогом, поздней осенью, когда я шел пешком из села в свою больничку, ко мне вернулась старая болезнь. Темными вечерами, недели за две, я написал некое полубеллетристическое и полуавтобиографическое произведение под названием «Там я среди них» (цитата из Матфея: 18, 20: «...где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»). Подразумевался, не без некоторого sacrilège*, провокатор в нашей компании).

С тех пор, словно нарушивший зарок наркоман, я уже не мог остановиться. Я лечил больных всех возрастов, от ветхих стариков до грудных младенцев, колесил по снежным или залитым грязью дорогам, занимался и внутренними болезнями, и хирургией, и педиатрией, и рентгенологией, делал вскрытия, добывал лекарства, строил водопровод и проводил электричество, был и швец, и жнец, и в дуду игрец, но в печенках у меня сидела литература. Я насиловал свое перо так и эдак; однажды мне пришла в голову мысль, показавшаяся многообещающим открытием: можно писать, не раздумывая над тем, что пишешь, а просто фиксируя на бумаге все, что приходит в голову; идея автоматического письма, очерде-

* Святотатство (франц.).

ное изобретение велосипеда, почти не оставившее следов в моем писательстве. Зимой морозы доходили до 44 градусов. По вечерам мы сидели вдвоем в натопленной комнате за чудовищно изобильным ужином. Под Новый год у нас стояла осыпанная разноцветными лампочками елка, я притаскивал ее из леса. Это было лучшее время моей жизни.

К концу 1963 года, когда меня зачислили, тоже по какой-то случайности, в медицинскую аспирантуру, я был автором экзистенциалистской пьесы, нескольких псевдостихотворений в раешном стиле и десятка рассказов, среди которых можно упомянуть «Дорогу на станцию», первое произведение, которое понравилось мне самому; я писал его с большим волнением. Приобретение пишущей машинки было торжественным событием, словно примерка свадебного платья для невесты. В Москве, получив временное право жительства, я в первые же недели начал сочинять повесть о деревне. Самое лучшее в ней был прекрасный, благоуханный отрывок из Аксакова, служивший эпиграфом; отсюда же было почерпнуто и заглавие: «Белый день». У меня не было читателя и советчика, и я сам себе был врач. Среди моих знакомых не было ни одного писателя. И тогда, и позже у меня было чувство, что в писательстве есть нечто постыдное и недостойное мужчины, вроде вышивания или, пожалуй, тайного порока. Если бы нашли мои писания, я бы сгорел от стыда. В лагере я давал себе слово: если когда-нибудь выйду на волю, то никогда и ни за что на свете не буду больше работать; эта аннибалова клятва осталась невыполненной. У меня не было времени, я должен был подрабатывать, не говоря уже о диссертации, и литературой мог заниматься лишь урывками. Я учился писать и с великим трудом, медленными шажками, но все же делал кое-какие успехи; этот период учебы занял десять лет.

III

К тому времени, когда я почувствовал, что научился отличать хорошо сделанную фразу от плохой, меня поработила лагерная тема; не меня одного, как потом обнаружилось. В Калинин, где мы снова поселились, и затем в Москве я писал повесть «Запах звезд», мысль о которой возникла неожиданно после чтения одного рассказа Юрия Казакова. В лагере мне довелось работать хозвозчиком, я научился обращаться с лошадьми. «Запах звезд» — история коня, у которого был прототип. Вместе с тем это было, кажется, первое мое произведение, где угадывался некоторый мифологический фон. Громадный белый конь стар и, кажется, едва стоит на ногах, но все еще тверд духом, вынослив и могуч. Этот одёр, прошедший огни, воды и медные трубы, старый артиллерийский конь-доходяга, чья фантастическая худоба вызывает смех, привезен в лагерь, чтобы закончить свои дни на лесоповале и отправиться, подобно всем своим товарищам, в последний путь по кишкам заключенных. Его безжалостно эксплуатируют, истязают, как только в неволе люди могли истязать рабочих лошадей; он чуть не погибает в болоте и топит своего возчика, жалкое получеловеческое существо, но каким-то чудом выкарабкивается из трясины и стоит, покрытый грязью, в виду далеких лагерных огней. Этот образ жуткого и величественного бессмертия — если хотите, образ русского народа, это сама страна.

То, что описано в «Запахе звезд», случилось со мной, я сам однажды чуть не погиб в болоте поздним осенним вечером со своей лошадейю и лагерной вагонкой, особым устройством для езды по круглолежневым дорогам, но все же выбрался и пошел на лагпункт звать подмогу, почти уверенный, что потерял коня. На обратном пути из темноты выставилось какое-то чудище: это был он, весь облепленный грязью. Он тоже вылез и шел навстречу по разбитой дороге, влоча обломки оглобеля.

На другое утро я отказался выходить на работу, надеясь, что начальство распорядится, наконец, починить лежневку, и был посажен в трюм, но это уже выходит за рамки моей фабулы. Вообще, повествуя о лагере, я не имел намерения писать о себе, задача была другая. Русский словарь загажен не меньше, чем

русская природа, и ни один порядочный человек не осмелится больше назвать себя патриотом: это слово звучит непристойно. Как инородец я легко могу подать повод упрекнуть меня в презрении ко всему отечественному. Мой ответ — эта повесть. Я любил этого коня и чуть не плакал от сострадания к нему, заканчивая мою повесть. Впоследствии я ее несколько раз перерабатывал. У меня было ощущение, что вместе с ней закончился целый этап моей жизни. Я почувствовал опасность работы с автобиографическим материалом, но познал и литературную свободу: оставаясь учеником, почувствовал себя все же хозяином своего материала. В эти годы я написал еще несколько рассказов о лагере. Разумеется, не обошлось и без «влияний», но если когда-то, очень давно, меня гипнотизировал Мопассан, а в деревне — Чехов, Хемингуэй, отчасти князь Лампедуза, автор романа «Леопард», то теперь тон стал задавать Фолкнер, а в рассказике «Частная и общественная жизнь начальника станции», по-видимому, дает себя знать присутствие Франца Кафки.

Экзистенциализм, тогда новый в России, носился в воздухе; казалось, его продуцирует сама наша действительность, и можно было удивляться тому, что философия эта была сформулирована не у нас. До чего-то подобного дошел и я, еще живя в лагере; например, до идеи безнадежного, но необходимого сопротивления. Презумпция сопротивления содержится в формуле Спинозы, одной из тех фраз, которые застревают в памяти с юности: «Сила, с которой человек отстаивает свое существование, ограничена, и сила внешних обстоятельств бесконечно превосходит ее». То есть корабль идет ко дну — и ничего не поделаешь. Что бы мы ни предприняли, корабль идет ко дну. Но какой флаг взвевется на мачте, зависит от нас. Абсолютная беспочвенность морали, чье единственное основание, единственный смысл и резон — достоинство человека в абсурдном мире. В мире, похожем на тот, который мог бы создать психически поврежденный Творец. Эти настроения сказались в повести «Час короля», о ней будет речь ниже.

С другой стороны, меня преследовала навязчивая мысль о том, что лагерь отнюдь не принадлежит прошлому; скорее это пророчество о будущем. Тотальная регламентация жизни, культ производства и «плана», ставшего чем-то вроде религии. (Здесь было какое-то пересечение с «Рабочим» Эрнста Юнгера.) Лагерь, созданный как инструмент террора, но уже в тридцатых годах превратившийся в инструмент экономики и постепенно ставший ее главным рычагом. Без него невозможно было бы построить социализм, что бы ни подразумевали под этим словом. Лагерный пункт, окруженный высоким тыном, с рядами колючей проволоки и сторожевыми вышками, охраняемый собственными вооруженными силами, лагпункт с его начальником-Вождем, тайной полицией (оперуполномоченный), тюрьмой (штрафной изолятор), службой пропаганды (КВЧ, «культурно-воспитательная часть»), с радиоточками в каждом бараке, лозунгами, развешанными в рабочем оцеплении и над воротами зоны, с его великой целью выполнения плана, с его системой снабжения и распределения, наконец, с неизбежной для этого общества строжайшей социальной иерархией, с поистине кричащим социальным неравенством, с серой массой работяг, бюрократией и паразитической элитой — социализм концлагеря,— этот лагерный пункт с населением в тысячу человек представлял собой миниатюрную копию большого советского общества. Он казался прообразом будущего, быть может, не только русского. Самочувствие и самосознание одинокого и беспомощного человека в обществе, устроенном по образцу лагеря,— вот что казалось единственным, о чем стоило писать.

Этот лагерный человек не был интеллигентом. Интеллигент пришел в мою литературу гораздо позже и с другими темами. А это был человек, из каких состояло девяносто девять процентов крысиного коллектива лагерных мест и девять десятых населения страны; человек — ходячий позвоночник; темный, упорный, необычайно живучий, подозрительно-недоверчивый, вечно ожидающий подвоха, не верящий ни в кого и ни во что, ненавидящий просвещение и

культуру, — и поделом культуре! Словом, «простой человек». Человек, которому не на кого надеяться: ни на друга, который предаст, ни на Бога, который молчит; только на самого себя; человек, который «лежит, спиной накрылся»; человек, у которого два главных врага: напарник, пыхтящий с ним в одной упряжке, и грозное абстрактное государство, таинственные «они», начальство. И так, прочь от стихов и книг, от немецкого идеализма, которым я кормился в 17 лет, от романтики и любви. Кто однажды отведал тюремной баланды, будет жрать ее снова. Чем хуже, тем лучше. И чем лучше, тем хуже: ближе расплата. Только таким мироощущением и может питаться литература. Мне казалось, что в благоустроенных странах, без войны и нищеты, без тайной полиции, литература должна задохнуться: о чем писать?

После изнурительных хлопот, писания заявлений и обивания порогов нам разрешили жить в Москве, моя молодая жена бросилась целовать чиновницу, сообщившую нам об этом милосердном решении, затем начались поиски работы, при которой можно было бы надеяться получить жилье. Один старый товарищ познакомил меня с Борисом Володиным, пожелавшим прочесть мою прозу; однажды вечером я позвонил к нему в дверь, вручил папку и ретировался. Встреча с ним имела для меня большое значение, он ободрил меня.

IV

Я корпел над своими фразами, пользуясь каждым проблеском свободного времени, как китаец старается обработать каждый свободный клочок земли; я работал где угодно: в больнице на ночных дежурствах, в поликлинике, в гудящей, как улей, полуподвальной комнате Центральной медицинской библиотеки на площади Восстания, где за 60 копеек в час подвизался в качестве устного переводчика иностранной научной литературы для сочинителей диссертаций и со своей рукописью, в углу, ждал очередного клиента. Я погружался в свою литературу, словно нырял в воду, и сидел там на дне, среди чудных водорослей и проплывающих мимо рыб. Никакой надежды напечатать свои сочинения у меня не было, но не было и охоты. Если желание публиковаться естественно для писателя, то не менее естественно, я думаю, и нежелание быть опубликованным. О том, что моя продукция ни при какой погоде не могла быть обнаружена в этой стране, нечего и говорить. Все же Борис Володин предложил мне написать что-нибудь о медицине для детского журнала «Пионер» и представил меня дамам из редакции; первый в моей жизни гонорар, равный месячному заработку врача, я получил за статейку о переливании крови. Кроме того, я писал статьи об алхимии, об истории естественных наук и о знаменитых химиках и медиках для научно-популярного ежемесячника «Химия и жизнь». Покушался даже на science fiction и сочинил повесть под названием «Ганнибал», не без влияния Михаила Булгакова, ставшего тогда очень модным. Ганнибал было имя горной гориллы, которой пересадили в научно-экспериментальном институте мозг человека; она подметала двор в институте, но однажды, услышав с улицы военную музыку, сбежала. Спустя некоторое время Ганнибал, сменив дворницкий фартук на роскошный мундир с эполетами и орденами, совершил военный переворот в каком-то африканском государстве и стал там президентом. Повесть была с негодованием отвергнута ответственным секретарем «Химии и жизни» как порочащая освободительную борьбу народов Африки против колониализма.

Впоследствии я писал этюды о врачевании для еще одного журнала, «Знание — сила», и приобрел некоторый опыт в области околонучной эссеистики. Бенедикт Сарнов, у которого я впоследствии многому научился, натолкнул меня на мысль написать книжку о медицине для детей, что я и сделал, слабо веря в успех этого предприятия. В 1975 году книга, где в некоторой мере отложились мои медицинские и деревенские годы, мое преклонение перед трудом врача и медицинской сестры, наконец, многолетнее увлечение историей медицины, вышла в свет; она называлась «Необыкновенный консилиум». Мы придумали для

автора псевдоним: Г. Шингарёв, в честь земского и кадетского деятеля, убитого матросами в 1918 году, чей дневник (подаренный мне поэтом Александром Межировым) я читал незадолго до этого.

Занятия психиатрией (не клинические, а литературные, если можно так назвать) мои переводы огромного вороха психиатрической литературы, которые записывались на пленку, были отпечатаны на гектографе и служили пособием для врачей в Институте психиатрии), а также один рассказ Фазиля Искандера, где было употреблено выражение «комплекс государственной неполноценности», вдохновили меня на рассказ или новеллу, которая стала для меня некоторой вехой. Там разработана тема страха, точнее, двух модификаций страха, обычно обозначаемых как Furcht (конкретная боязнь чего-то или кого-то) и Angst (метафизическая тревога Хайдеггера): страх перед вездесущими Органами превращается во всеобъемлющий ужас бытия. Рассказ так и называется «Страх». Его сюжет вымышлен.

Я всегда чувствовал себя отверженным в стране, где я родился и вырос. Это связано не в последнюю очередь с тем, что я русский интеллигент и еврей, то есть более или менее ненавидимое существо; с ненавистью, подобной запаху, о котором не знают, откуда он взялся; с чувством стеклянной стены, о которую то и дело ударяешься лбом. Я был изгнанником задолго до того, как покинул страну. История моей жизни, а значит, и писательства, мне кажется, подтверждает это.

Я никогда не забывал и не забуду до конца жизни, что я бывший заключенный. Это все равно, что бывший люмпен или граф. Чувство это не покидает меня и сегодня, когда я сижу в моей комнате в Мюнхене, в белый февральский день, немецкий Rosenmontag*, и пишу эту литературную автобиографию. Можно быть кем угодно: служить в банке, сочинять романы или развозить по домам глаженое белье — и при этом ни на минуту не забывать, что ты граф. Лагерь есть принадлежность к особому сословию. Лагерь есть особого рода расовая принадлежность. Или профессия, которую можно слегка подзабыть. Но разучиться ей нельзя, она остается с тобой навсегда. Лагерь был нашим истинным отечеством, вся же прочая жизнь представлялась поездкой в теплые края, отпуском, затянувшимся оттого, что всемогущие учреждения перегружены делами и до тебя просто еще не дошли руки. Если мою удачу заметят, я пропал, как сказано в одном стихотворении Брехта: Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Мы все остались в живых по недосмотру начальства.

И я всегда буду помнить это отечество, эту истинную Россию, потому что только такое отечество у нас и было. И у меня всегда было чувство, что если я жил в московской квартире, и был счастлив с моей женой и сыном, и ходил свободно по улицам, и притворялся свободным человеком, то это был всего лишь отпуск, это было попустительство судьбы, чье терпение однажды иссякнет. В любую минуту меня могут разоблачить. Почему бы и нет? Ибо на самом деле я переодетый граф, я кадровый заключенный, мое происхождение никуда от меня не делось, мои бумаги всюду следуют за мной, и моя пайка, очко в сортире и место на нарах за мной, и лагерь где-то существует и ждет меня, как ждал в сорок девятом году.

V

Случилось так (по инициативе Володи Лихтермана), что я занялся переводом писем Лейбница для задуманного в одном издательстве пятитомного издания. Я принялся за работу, имея самое общее представление о философии Лейбница, но постепенно вошел в мир его мысли, и, хотя обещанное вознаграждение было ничтожным, хотя я трудился несколько лет, не получая за это ни копейки, а позже должен был долго и униженно выколачивать свой гонорар, я не жалел о том, что взялся за это. Я перевел французскую переписку

* «Понедельник роз», последний понедельник масленицы (нем.).

с Бейлем, Мальбраншем, Ник. Ремоном, Бернетом де Кемни, с подругой Джона Локка леди Мешэм (а заодно и ее английские письма), несколько обширных полемических трактатов и многое другое, всего около 25 печатных листов; работал я над этими переводами, как всегда, на ходу, то на ночных дежурствах, то где-нибудь на подоконнике в школе рисования, куда я возил своего сына. Издание сочинений Лейбница в СССР было по тем временам рискованным начинанием — имея в виду злосчастное увлечение основателя нашего государства философией: мимоходом он успел заклеить и Лейбница. Спустя десять или двенадцать лет сочинения все же начали выходить в свет, но к этому времени дела мои шли уже так плохо, что только в первом томе успела проскользнуть моя фамилия.

Лейбниц ввел меня в XVII век, «столетие гениев», и я расхрабрился написать для журнала «Химия и жизнь» популярный очерк о споре по поводу открытия дифференциального исчисления. Достаточно авантюрное предприятие, учитывая, что у меня нет физико-математического образования (если не считать одного семестра, который я провел в Высшем техническом училище перед тем, как стать рабочим на почтамте). Но изделие это понравилось Борису Володину и впоследствии было расширено для одного из сборников «Пути в неизвестное». Д. Данин, пролагавший эти пути, изобрел «научно-художественную литературу» (забыв о существовании *vie romanisée**), и его теория замечательно оправдала себя на практике: произведения этого жанра оплачивались по тарифам художественной литературы.

В дальнейшем, осмелев, я сочинил еще несколько этюдов о науке этой головокружительной эпохи, верившей в то, что изучение природы доказывает существование Творца убедительней всех ухищрений схоластического богословия; с увлечением писал о Гуке, о Бэконе и других, публиковал переводы старинных текстов (для чего вместе с Борей мы основали специальный раздел в «Химии и жизни») и, наконец, написал для детского издательства биографию Исаака Ньютона. Г. Шингарёв делал успехи: это была уже вторая его книжка. Третья, тоже популярного характера, но написанная для взрослых на необычную в СССР тему философии врачевания и медицины (она называлась «Следствие по делу о причине»), с комическими усилиями пробивала себе путь и погибла в последний момент, когда была уже набрана: я собрался поднять якорь. Это было позже. Между тем сама медицина, некогда утешавшая меня, наполнявшая тайной гордостью мою душу, все больше отодвигалась в тень. Я ушел из старой больницы в Очакове, где заведовал отделением, в поликлинику, надеясь иметь больше свободного времени, а затем получил предложение работать в вышеупомянутом журнале; это значило: ходить на службу два раза в неделю, а остальные дни сидеть дома.

Сидеть дома и заниматься литературой! Об этом можно было только мечтать. Постепенно литература пожрала все вокруг себя. Все остальные занятия — работа, переводы, статьи — были способом зарабатывать на жизнь, числиться где-то и маскировать главное: литературу. Я был подпольным писателем, потому что писать и не печататься, писать и не состоять служащим литературного ведомства, писать, не числясь писателем, означало заниматься противозаконной деятельностью. Не говоря уже о том, что я не мог преодолеть внутреннего барьера — не то гордости, не то стыда. Свои работы можно показывать только тому, кто интересуется ими. Но заинтересоваться может лишь тот, кто знает об их существовании. Я был глубоко законспирированным сочинителем, и о моих упражнениях было известно трем или четырем людям: я твердо усвоил с самого начала, что литература есть занятие одиночек.

Три пары глаз, не более, прочитали рукопись под титулом «Дебет-скребет», нечто вроде очерка моей жизни. В это же время или, может быть, немного раньше я принялся писать повесть «Час короля», которая вначале была рассказом; я несколько раз возвращался к ней.

* «Романизированная биография», термин Андре Моруа (франц.).

Ее «идея» все еще продолжала старые экзистенциалистские вдохновения: это была философия абсурдного деяния, изложенная кратко, но довольно ясно в самом тексте и подкрепленная эпиграфами из Мигеля де Унамуно и «Писем к немецкому другу» Альбера Камю; в перевод этих коротеньких текстов я вложил столько же страсти, сколько и в текст моей повести. Разумеется, в режиме, который устанавливают в маленьком северном королевстве завоеватели, невозможно было не узнать режим другой страны; узнали и те, кто позже конфисковал эту повесть у автора. В собственно литературном смысле она была для меня новым шагом. Я окончательно отказался от популизма, от имитации народного мировоззрения и языка. Кажется, в одной не имевшей для меня никакого значения книжке я вычитал легенду о короле, который украсил себя звездой Давида. В датском учебнике истории я нашел фотографию семидесятилетнего Кристиана X на прогулке, верхом на коне. В пьесах Шварца, в каких-то детских грезах живет образ северной провинциально-протестантской столицы. Этим ограничивались «реалии», использованные в моей сказке, которую мог бы поставить кукольный театр.

(Говорят, легенда родилась во время войны и была основана на сообщении одного современника, будто в частном разговоре король заявил, что, если евреев, граждан его страны, заставят носить желтую звезду, он наденет ее первым. Через много лет я познакомился в Германии с родственником военно-морского атташе Георга Ф. Дуквица, предупредившего датчан о готовящейся депортации еврейской общины. Я побывал, наконец, и в Копенгагене, одном из прекраснейших городов, какие мне посчастливилось видеть, но внимательный читатель заметит, что действие моей повести происходит не в Дании. Добавлю еще, что в Германии «Час» был истолкован как притча о гражданском неповиновении.)

Повесть представляла собой пародию на ученый исторический труд. Это дало мне возможность опосредовать несколько сентиментальный материал существенной дозой иронии.

Между прочим, там есть такая сцена: монарх маленькой оккупированной страны играет в шахматы с приятелем. Король проигрывает. Но в отличие от гибнущего в честном, хоть и неравном бою на доске белого короля реальный король все еще пытается приспособиться к обстоятельствам, вместо того чтобы быть самим собой. Может быть, здесь имела место бессознательная ассоциация с анекдотом из времен Столтеней войны, о Карле VII, которого схватил в бою английский солдат, вскричав: король взят! На что монарх ответил: «Ne savez-vous pas qu'on ne prends jamais un roi, même aux échecs?» (Ты что, не знаешь, что короля не берут даже в шахматах?) Я прилагал старания к тому, чтобы не впасть в плоский аллегоризм; если это и удалось, то все же не вполне. Однако игрок, склонившийся над доской, на которой стоит он сам посреди своих деревянных сограждан, был не только метафорой двойного существования монарха в качестве символа и человека, — этот образ потом трансформировался в захватившие меня размышления о ситуации романиста в его творении, о времени персонажей и божественном антивремени демиурга.

Внешняя судьба повести «Час короля» была следующей. В 1972 году физик Александр Воронель основал самиздатовский машинописный журнал «Евреи в СССР». Я познакомился с Воронелем в связи с путешествием в Донецк, которое года за два до этого мы совершили с Беном Сарновым: он — в качестве журналиста и корреспондента «Литературной газеты», я — в роли эксперта-медика; речь шла о разоблачении некоего невежественного доцента, заведующего кафедрой в местном медицинском институте. Это забавное похождение напоминало сюжет «Ревизора». У доцента, который собирался стать профессором, было много врагов, притащивших к нам в гостиницу целую кучу историй болезни, при помощи которых он сляпал свою фальшивую диссертацию; главный антагонист доцента был приятелем Воронеля. В седьмом выпуске «Евреев в СССР» редактор поместил мою статью «Новая Россия». По правилам журнала анонимные или псевдонимные материалы не публиковались. Тем не менее, не желая под-

вергать меня (и себя) слишком уж очевидному риску, редактор сделал автором статьи человека, до которого, как предполагалось, КГБ уже не доберется. Это был инженер по имени Борис Хазанов, не имевший отношения к литературе, подполью и диссидентству, к тому времени уехавший в Америку. Если когда-нибудь он прочтет эти строки, пусть примет мои извинения. Так родился мой псевдоним, который прилип ко мне. Псевдоним — не только способ скрыться за вымышленным именем, но и самоотчуждение; я до сих пор не привык к нему. Моей следующей публикацией в журнале был «Час короля».

Публикация — так это называлось. Незачем повторять, что соваться в настоящую литературу, предлагать свои вещи издательствам, выпускавшим сотни книг, и журналам с тиражами в десятки, сотни тысяч экземпляров было бессмысленно и бесполезно. Эта тема вообще не обсуждалась. Но что значит «настоящая»? Для нас настоящей, единственно заслуживающей внимания была литература подпольная.

Если верно, что в основе некоторых мифов лежат действительные события, то подоплекой великого русского мифа о воле нужно считать *побег с концами*. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, побег с каторги по славному морю, глухой неведомой порою, звериной тайною тропой, бегство из зоны, из оцепления, из таежного, заполярного, степного и пустынного края: исчезнуть, слинять, сорваться! Поистине мы впитали эту идею с молоком матери. Жуки на булавах, мы все лелеяли эту мечту. Наконец, кому из сидевших не приходилось слышать дивную повесть о беглеце, который сумел обмануть всесоюзный розыск и уйти в полном смысле слова с концами — за границу?

Настало время, когда побег из страны, отравленной дыханием лагерей, предстал перед многими уже не только как романтическая греза. Старый товарищ и бывший однокурсник, ныне покойный, убеждал меня, что евреям — да и не только евреям — в России больше делать нечего, он был первым человеком, которого я знал, собравшимся отвалить в Израиль. Мысленная контроверза с ним, а лучше сказать, с самим собою, была побудительным мотивом для статьи «Новая Россия» с ее абсурдно-провокативной концовкой. Он уехал, выдержав неизбежную борьбу и связанные с ней унижения. Отбыл спустя некоторое время и Воронель — и захватил с собою несколько моих манускриптов. Они составили сборник, который вышел в Тель-Авиве незначительным тиражом на средства какого-то доброхота; книжка была озаглавлена «Запах звезд», по названию включенной в нее повести о белом коне.

Мое двойное существование, Doppelleben Готфрида Бенна, приобрело новое качество. С одной стороны, я был сотрудником редакции научно-популярного журнала, занимался правкой или переписыванием статей по медицине, истории естественных наук, науковедению, переводил и редактировал фантастические повести и т. п. С другой — царапал свою прозу и стал нелегальным литератором в прямом смысле слова. Журнал «Евреи в СССР», чуть ли не самый долговечный в тогдашнем машинописном Самиздате, был задуман его основателем как собрание «свидетельств»: его материалы должны были иллюстрировать духовную, психологическую и социальную ситуацию советского еврейства, точнее, русско-еврейской интеллигенции, будто бы поставленной перед дилеммой: окончательно зачехнуть или отбыть в Израиль. При преемнике Воронеля Илье Рубине горизонт расширился, сборник приобрел характер литературно-философского журнала. Его тираж был 20 или 25 экземпляров. Илья жил и дышал журналом, неустанно собирал материалы, мотался с набитым крамоллой портфелем по тусклым московским окраинам и путешествовал по городам. Журнал был его дитя, был единственный свет в окошке. Илья говорил мне, что ведет фантастическую выморочную жизнь, и в самом деле кажется удивительным, как могли взрослые люди жить этой игрой в публицистику и литературу, рискуя своим и без того сомнительным благополучием. Но невозможно забыть азарт и веселье, и чувство освобождения, и предвкушение чего-то захватывающе-интересного, с которым брали в руки толстую кипу листов папирусной бумаги с обтрепанными уголками и полуслепой печатью.

(Впоследствии я сделал редактора «Евреев в СССР» героем романа «После нас потоп», но, как сказано в посвящении, это «другой Рубин».)

Илья Рубин уехал, едва не угодив в тюрьму; он писал, что из окон его дома видна апельсиновая роща. Kennst du das Land, wo die zitronen blühen?..* Через одиннадцать месяцев он умер от инсульта, тридцати шести лет от роду, и был похоронен в песке на краю Иудейской пустыни. Перед отъездом Илья просил меня «не оставлять журнал». Я состоял кем-то вроде литературного консультанта при двух следующих редакторах до конца журнала, то есть до его окончательного разгрома; Борис Хазанов был довольно быстро разоблачен, несколько статей я поместил под другим псевдонимом.

Осенью 77-го года ко мне пришли с обыском. В те времена любимым занятием подводного общества было строить гипотезы, объясняющие те или иные зигзаги в тактике Органов; я думаю, что никакая бюрократия не заслуживает попыток отыскивать в ее деятельности скрытую логику, в особенности та, что медленно и неотвратно надвигалась на нас, чье мертвящее дыхание мы чувствовали на каждом шагу. За обыском, как водится, последовал вызов в прокуратуру, а затем на Кузнецкий мост в КГБ к субъекту в штатском, вероятно, майору или полковнику, который старался убедить меня в том, что автор найденной у меня, вышедшей в Израиле книжки Б. Хазанов — это я. Кто сидел, знает, что тактика в этих делах может быть только одна: глухая несознанка. Некоторое время спустя нашу квартиру взломали, унесли какие-то пустяки, например, мелочь из копилки моего двенадцатилетнего сына; приходила милиция, честно или для видимости искавшая преступников; вторжение было предпринято с целью установить подслушивающее устройство. Само собой, прослушивался и телефон. Несколько лет я официально числился состоящим под следствием по делу о подпольном журнале «Евреи в СССР». Правда, с работы меня почему-то не выгнали.

VII

Когда я вспоминаю Россию, то вспоминаю тесноту. Воистину это была главная черта нашего образа жизни. Езда одной ногой на трамвайной подножке, другая нога на весу, одна рука схватилась за поручень, другая обнимает стоящего рядом — только тот, кто так путешествовал по городу, понимает смысл метафоры Манделштама «трамвайная вишенка». Теснота, оставлявшая детям грязные задние дворы, пьяницам и влюбленным — холодные подъезды. Переполненные тюремные камеры, товарные поезда, до отказа набитые людьми, клетки столыпинских вагонов, где в каждом отсеке по восемнадцать, по двадцать душ, и так, друг на друге, день и ночь под перестук колес, долгие сутки и недели; теснота пересылок и лагерных барачков, теснота любого человеческого жилья, любого селения; стиснутая деревенская жизнь, изба, куда входят согнувшись, чтобы не расшибить лоб о притолоку, дорога, где не разъедешься, тропинка, на которой не разойдешься, — или сходи с дороги в грязь выше щиколоток и в снег по колено. А вокруг бескрайние просторы.

Мы жили в огромной стране, где было поразительно мало места, в стране все еще почти девственной, где плотность истории на единицу географии представляет ничтожную величину, — и вместе с тем перенаселенной, как Бенгалия. Мы жили в стране, где всего не хватало и только люди, человеческий фарш, были в избытке. Не повернуться, не протолкнуться, не продохнуть; яблоку негде упасть, плюнуть некуда... В тесноте, да не в обиде! Не зря, должно быть, наш язык так богат этими выражениями. Теснота и скученность городов, теснота автобусов, вагонов метрополитена и железных дорог, очереди, в которых выросло несколько поколений, толпы людей с узлами на вокзалах,

* «Ты знаешь ли край, где лимоны цветут?» (Песня Миньоны из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера») (нем.).

точно вся страна куда-то бежит, теснота магазинов, теснота больниц, теснота кладбищ; и, как пролог всей жизни, теснота коммунальной квартиры, где прошло мое детство.

Эту квартиру я сделал местом действия маленького романа, для которого выбрал несколько претенциозное название из Иоанна: «Я Воскресение и Жизнь». Я писал эту вещь в те времена, когда мы жили сначала в Свиблове, а затем в Чертанове, где вели изнурительное существование, тратя много часов на езду с работы и на работу в утренней и вечерней мгле, в переполненном метро и автобусах, которые брались штурмом. Некоторые элементарные мысли могут приобрести неожиданную новизну. Я помню, что намерение написать эту повесть забрезжило в моем сознании при чтении одного из романов Франсуа Мориака; я подумал, что не жизнь общества и «народа», а жизнь семьи, взаимоотношения родителей и детей, жены и мужа — королевский домен литературы. Другая мысль была подсказана книжкой Януша Корчака «Как надо любить детей». Мне как-то вдруг стало ясно, что ребенок — человек не будущего, а настоящего. Не тот, кто еще будет, а тот, кто *есть*. Ребенок, не знающий страха смерти, не поработанный будущим, — особый и притом более совершенный человек, чем взрослый; человек, живущий более полной, гармоничной и осмысленной жизнью. Детство есть подлинный расцвет жизни, за которым начинается деградация. Детство есть подлинный материал для «Воскресения» в значительной мере послужило мое собственное детство и отчасти детство моего сына. (Несколько времени спустя я получил записку от Марка Харитоновна, похвалившего эту вещь; неожиданная поддержка, о которой я никогда не забуду.)

В этом произведении имеется одно очевидное противоречие. Повествование ведется из перспективы взрослого, который вспоминает себя шести- или семилетним ребенком и как бы формулирует его собственные мысли и чувства на своем взрослом языке. Но роман кончается самоубийством ребенка. Я не хотел и не мог исправить эту несообразность, так как смерть героя все же носит до некоторой степени символический характер; гораздо позже одна читательница решила этот вопрос так: ребенок умирает, и рождается взрослый.

Флобер называет себя (в одном письме к Луизе Колэ) «вдовцом своей юности», *veuf de ma jeunesse*; с еще большим правом каждый из нас мог бы назвать себя сиротой своего детства. Нет другого времени, которое я не вспоминал бы с такой ясностью. Я помню наш быт до мельчайших подробностей и мог бы составить детальный обзор нашего жилья, описать все вещи, я помню ощущение ползания по полу, сидения под столом, беготни по двору, стояния на цыпочках в полутемном коридоре, задрав голову, перед счетчиком Сименса-Шуккерта, где за темным стеклом мелькала красная метка вращающегося диска; помню захватывающий интерес, который вызывали мельчайшие впечатления жизни, времена года, книжки, приход гостей. Как и герой «Воскресения», я рано лишился матери и провел годы детства с отцом; как и мой герой, я был воспитан домработницей, простой женщиной, любившей меня, которую всегда буду помнить, — правда, в церковь она меня не водила и не рассказывала эпизоды из Евангелия. Была ли эта повесть попыткой создать беллетризованные воспоминания, набросать детский автопортрет? Скорее можно сказать, что я распорядился материалом своего младенчества, распорядился самим собой для целей искусства, которые не могут быть определены и, во всяком случае, носят внеличный характер. Кажется, впервые, работая над этой вещью, я получил представление о том особом и кардинальном свойстве литературы, которое следует назвать беспринципностью; оно состоит в том, что все на свете, собственная жизнь и жизнь близких, тайны тела, сны и явь, и мифы, и сказки, и философия, и вера представляются собой лишь материал; в ту минуту, когда жизнь становится сырьем и материалом для искусства, не более, но и не менее, чем материалом, — собственно, и начинается литература.

Если мальчик в этой повести — автопортрет, то такой же, каким был образ белого коня в «Запахе звезд» или орла-холзана в рассказе под названием «Et ge-
10. «Октябрь» № 10

surrexit» («И воскрес»). Один натуралист подсмотрел гибель старого орла, которого живьем расклевало воронье. Я не был стар, когда писал и переписывал этот рассказ, но меня не оставляла догадка, что на самом деле я сочиняю притчу о самом себе.

VIII

Несколько новых знакомств — с Евгением Барабановым, с Сергеем Алексеевичем Желудковым, с Юлием Шрейдером, Григорием Померанцем и профессором В. В. Налимовым — приобщили меня к другой части полуподпольного диссидентского мира, не ориентированной на отъезд из страны и проявлявшей большой интерес к религиозности, христианству, отчасти христианской гностике. Деспотизм истины, будь то истина о Боге или истины философии, а может быть, и устойчивое идейное варварство русской интеллигенции, о котором когда-то писал Федор Степун, вновь, хоть и в мягкой форме, давали о себе знать; представление о независимой ценности искусства, внутри которого все другие истины и ценности приобретают условный характер, о праве литературы на особое своеобразие в обращении с любым авторитарным дискурсом — было более или менее чуждо моим друзьям, сознавали они это или нет; сам же я, как мне кажется, многому у них обучился. Я переводил разные, главным образом теологические, тексты для Самиздата, участвовал в обмене письмами, которым руководил отец Сергей Желудков, переписывался, на манер Гершензона и Вяч. Иванова, с Ю. А. Шрейдером («Письма без штампа»), ездил на так называемые школы теоретической биологии, где собиралось пестрое и курьезное общество, от профессиональных ученых до адептов всевозможных оккультных сект; в редакции я давно привык выполнять всю работу за два присутственных дня, остальное время принадлежало мне. В августе 1977 года я начал сочинять роман, не имея в голове определенного плана; как-то раз, перед тем как идти на работу в редакцию, лег на диван и написал первую страницу.

В последние недели лета, в остервенелую жару я уходил с утра в чахлую рощицу неподалеку от нашего дома (к этому времени мы уже переселились в долгожданную квартиру на Юго-Западе) и писал там эту книгу, о которой, как уже сказано, имел крайне смутное представление. Сперва я как будто собирался написать историю жизни партийного функционера; это намерение быстро испарилось; понемногу стала наигрывать в ушах интонация, своего рода музыка прозы, предшествующая «сюжету»; стал вырисовываться не то чтобы замысел, а какой-то контур — жизнеописание молодого человека; рассказ надлежало довести до того момента, когда герой втягивается в рискованную игру, мало-помалу обретающую расширительный и символический смысл. Эта неясность и вдохновляла, и приводила в отчаяние. Я листал Гессе, Музиля, чтение поддерживало покидавшую меня бодрость.

Наконец, облака разразились дождем, смутные наметки опустились на уровень более или менее конкретного материала, я начал обживать свой мир; в качестве главной темы романа выдвинулась память. Память, собственно, и есть герой книги. Жизнь человека, от чьего имени ведется рассказ, есть продукт памяти. Этот человек пытается восстановить прошлое, другими словами, отыскать в нем смысл и порядок. Внести смысл в бессмысленно-хаотичную жизнь — задача искусства. Функцию памяти можно сравнить с функцией романиста, а в метафизической перспективе — с функцией самого Бога. Память функционирует вопреки времени и как бы в обратном направлении; память — не столько «обретенное время», сколько обретение обратного времени.

Тут я набрел на мысль, которая превратилась в основной миф, организующий все повествование. Это миф об антивремени. На склоне лет рассказчик вспоминает свою жизнь, точнее, ее главную пору — детство и юность. Время состоит из двух потоков, оно течет из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Антивремя — истинное время литературы, время Автора, который пре-

бывает в будущем своих героев, подобно Творцу, которого никогда нет, но который всегда будет, чья область существования — будущее: ибо он не «сущий», а «грядущий». Божественное антивремя несется навстречу нам из будущего и превращает жизнь из хаоса случайностей в реализацию некоторого Плана. Эту фантазмагорию я отчасти излагал, поясняя свой замысел, в весьма неуклюжих статьях «Опровержение литературы», «Мост над эпохой провала» и «Сломанная стрела», а также в предисловии к «Антивремени», как был потом, в Мюнхене, озаглавлен этот роман (в немецком и французском переводах название сохранено).

Каждый человек, припоминая свою жизнь, убеждается, что ее важнейшие повороты были результатом случайности, и в то же время испытывает смутное чувство, что существовала какая-то нить, держась за которую он шествовал сквозь обстоятельства. Метафора двух потоков примиряет судьбу и случай.

Вторая тема — два отца, принадлежность к двум народам, еврейское зеркало России. Принцип зеркальности проведен, может быть, несколько искусственно, через всю книгу: люди и события перемигиваются, глядя в собственное отражение; брат и сестра — два человека, но как бы и одно лицо, и зовут их одинаково; два отца — и одно отечество; газеты, которыми торгует Павел Хрисанфович, и крамольная газета, нацарапанная на стене уборной. Сам П. Х. — некое олицетворение судьбы, стукач и псевдоученый, его «метаастрология», очевидно, не что иное, как пародия на учение о предопределении; если угодно, пародия на центральный миф романа. (Некоторые немецкие критики увидели в ней пародию на марксизм.)

Что касается собственно материала, то он, как водится, был собран с миру по нитке, кулисы вновь были взяты напрокат; как и прежде, для постройки прозы была сворована арматура моей собственной жизни. Лесная школа-интернат, где я провел полгода накануне войны, жизнь в сорок пятом году, работа на почтамте, описанная довольно точно, и университет на Моховой, с комически-непристойным памятником Ломоносову, со знаменитой, незабываемой балюстрадой, с лестницей, стеклянным небом, колоннами из поддельного мрамора и циклопическими гипсовыми статуями вождей, осенявшими всех, кто вступал в эту маленькую отчизну нашей юности. Довольно бесцеремонный плагиат у действительности представляют и такие мелочи, как упомянутая стенная газета в университетском сортире; правда, пародию на советскую газету я начертил на бумаге, а не на стене, портрет голого Вождя, разумеется, выдумка (кажется, он слегка напоминает «Генерала», статуэтку Дж. Манцу).

Был и продавец газет, коему вдобавок придано сходство с человеком, которого я знал, заведующим «культурно-воспитательной частью» на лагунке По-еж. Квартира в Лялином переулке, где живет рассказчик, отчасти напоминает нашу квартиру в Большом Козловском переулке (она же описана в «Воскресении»). История с письмом, которое мальчик получает от родителей, с извещением, что его отец — не настоящий отец, воспроизводит известный эпизод из биографии Фета. Облик Вики в минуту его первого появления в сумраке у колонны, в вестибюле университета, может напомнить рисунок Верлена: семнадцатилетний Рембо с трубкой в зубах. Философствования Вики о неродившихся детях — реминисценция Шопенгауэра (из знаменитой главы «*Metaphysik der Geschlechtsliebe*»^{*}). Главный женский образ и мотив противостояния «ясности» и «музыки» в XVIII главе отдаленно связан с романтической историей университетских лет. Рассказ старика о встрече с царем я услышал из уст одного моего пациента, бывшего дирижера, ребенком отданного в школу военных капельмейстеров, а кое-какие частности длинного монолога, который произносит в конце книги вернувшийся из ссылки отец, заимствованы из неопубликованных «Тетрадей для внуков» покойного Михаила Байтальского, небольшая часть ко-

^{*} «Метафизика половой любви» (нем.). Речь идет о 44-й главе второго тома книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

торых была помещена в журнале «Евреи в СССР» (объяснять, что ночная исповедь вернувшегося отца — отнюдь не кредо автора, очевидно, нет необходимости). Метаастрология, гороскоп младенца Иоанна Антоновича и проч., разумеется, плод фантазии, как и весь сюжет.

Два обстоятельства чисто литературного свойства стоит упомянуть. Сочиняя «Антивремя», я учился музыкальному построению прозы. Музыка, будь то «увешанная погремушками колымага джаза», прелестная «Дюймовочка» Грига или органная пьеса Дитриха Букстехуде, звучит в самом романе; о музыке говорится, что это «память о том, что не сбылось», «мумифицированное будущее»; была даже мысль использовать для романа взамен эпиграфа нотный пример из Бетховена — тему первой части 4-го фортепьянного концерта с ее стучащим ритмом, ту самую, которая обнаруживает неожиданное и трудно объяснимое сходство с начальными тактами Пятой симфонии; тема эта преследовала меня во все время работы. Но речь не об этом или не только об этом. Принцип музыкального построения состоит в том, что несущими конструкциями прозы служат не столько элементы фабулы, сколько сквозные мотивы, которые вступают в особые, не логические, а скорее ассоциативные отношения друг с другом, видоизменяются и вместе с тем остаются теми же на протяжении всей вещи. Поэтому все происходит как бы одновременно. Читатель должен держать в уме всю композицию, лейтмотивы постоянно отсылают его к прочитанному, к тому, на что он, возможно, не сразу обратил внимание, и помогают «узнавать» то, о чем говорится дальше. Можно добавить, что попытки перенести приемы музыкальной композиции в литературу (я говорю, разумеется, о прозе) чужды русской литературной традиции, самому климату нашей словесности, — что и было, возможно, одной из причин, заведомо обрекавших автора на неуспех.

Второе — это вопрос о точке зрения. Он давно меня занимал. Традиционная точка зрения абсолютного повествователя, флорберовского *Dieu dans la nature**, автора-небожителя, чье присутствие ощущается везде, но которого никто не видит, который делает вид, что его попросту нет, изжила себя вместе со всей концепцией реалистической литературы. Встал вопрос о градациях авторства и авторской ответственности за достоверность рассказа. Кто автор «Бесов»? Достоевский совершил революцию, введя условного повествователя, у которого нет никакой сюжетной функции и который, однако, выполняет важнейшую функцию; который не является ни всеведущим автором-богом, ни персонажем-рассказчиком, а скорее представляет собой персонифицированную молву; выродившийся потомок греческого хора. Не странно ли, что скептик и вольнодумец Флорбер выступает в качестве литературного Фомы Аквината, а создатель «Бесов», этот, как принято думать, апостол политического и православного консерватизма, — в эстетическом смысле революционер и безбожник; все действительные или мнимые пророчества относительно мрачного будущего России, которые охотно вычитывают из этой книги, мало чего стоят в сравнении с ее собственным разрушительным новаторством. Это атеизм истины: как уже сказано, в романном мире отсутствует всеведущий Бог. Другими словами, романист предлагает не факты, заверенные в высшей инстанции, а всего лишь версии. Вера в единую, всегда равную самой себе и абсолютную истину безнадежно подорвана; действительность, как в квантовой физике, неотделима от ее оценок; совокупность оценок — вот, собственно, что такое действительность.

Вернусь к моему сочинению, где множественности времен (время жизни героев, антивремя воспоминаний, время квазиавтора, записывающего эти воспоминания) отвечает неоднозначность точки зрения. Избрав форму повествования, близкую к *Ich-Erzählung***, я довольно скоро почувствовал недостаточность этого тона, всегда соблазняющего своей кажущейся естественностью. (В «Бесах» даже г-н Г-в — полностью фамилия неизвестна, и мало кто помнит, что его

* «Бог в природе» (франц.).

** Повествование от первого лица (нем.).

зовут Антон Гаврилович, да это и не важно, — кое-где оказывается несостоятельным, и приходится нарушить принятую повествовательную систему, призвав на помощь отставного всевидящего автора: ночные странствия Ставрогина, разговоры с Шатовым и Кирилловым, встреча с Федькой и т. д. не могут быть известны никакому согладатою. Это, впрочем, отвечает особому месту Ставрогина в романе, он не действующее лицо, как прочие лица, а словно бы стоящее над ними; неподвижная черная звезда, вокруг которой вращается планетная система романа.) В «Антивремени» по меньшей мере два угла зрения: из времени действующих лиц и из перспективы старика; но и эту двойственность нужно было чем-то оттенить. Я почувствовал необходимость в дополнительной сверхквантистине и ввел в роман сны.

«Сны, — говорится в главе XXXVI, — озирали мое существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной по сравнению с собственным моим разумом... но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. И лишь на одно мгновение... туманное око этой безличной субъективности, око божественного идиота, вперялось в мои глаза, сливалось с ними, и я как будто постигал то, что невозможно постигнуть, ибо невозможно облечь в разумные слова то, что существует до всякого слова».

Сны в моем сочинении не предсказывают будущее и не содержат иносказаний. Поэтому они не нуждаются в толковании. Сны воспроизводят то, что происходит наяву, но на свой особенный лад. Это вторая субъективность, в которую погружен рассказчик, высшая по отношению к его личному сознанию и вместе с тем первобытно-алогичная. Может быть, позади этой книги, тема которой — навязчивое стремление человека преодолеть страшное подозрение, что его жизнь была хаосом беспорядочных случайностей, стремление убедить себя в том, что это не так, применив старый как мир прием беллетристического упорядочивания воспоминаний, — может быть, позади нее стоит представление об иррациональном божестве, для которого смысл и бессмыслица — одно и то же.

IX

Этот роман был почти готов (девятнадцать отпечатанных набело страниц, остальное — ворох неудобочитаемых рукописей), когда гости явились ко мне снова. Гости — так это называлось, так было принято, выбежав на улицу, из телефонной будки оповещать друзей о только что состоявшемся обыске; было это в первых числах мая 1980 года. Они знали, когда я бываю дома, и, возможно, дожидались момента, когда *corpus delicti**, как плод на ветке, достигнет стадии восковой спелости. Отняли все до последнего листочка. Как и три года назад, операция была произведена прокуратурой, филиалом Органов. В доме, где мы жили (Ленинский проспект, 154), короткий полутемный коридор был отделен от лестничной площадки стеклянной дверью на запоре; когда я вышел, за стеклом стоял человек в милицмейской фуражке. Проверка паспортов. Тридцать один год назад тот же пароль, произнесенный вполголоса, раздавался ночью под дверью, когда пришли за мной. Жизнь, как видно, ничему нас не научила. Вместо того чтобы вернуться домой и выбросить рукопись на балкон ниже лежащего этажа, я открыл дверь, тотчас из лифта выскочили восемь человек. Все это вместе с милиционером, обгоняя меня, запыхавшись, ввалилось в квартиру, где сразу стало тесно.

После этого я вел несколько месяцев бюрократическую войну с этим ведомством, делая вид, что верю в законные формы, в которые оно изо всех сил старалось облечь свою деятельность; в этой неравной борьбе обе стороны демонстрировали истинно российское понимание закона. Закон есть система правил, по которым надлежит творить беззаконие. Я доказывал, что меня ограбили не по правилам. (На этой тактике, кстати, основывалось все правозащитное движение.) Мне удалось добиться некоторых успехов, я получил назад кое-какие книги, почти все свои бумаги, тщательно пронумерованные, и — совсем уже невероятное де-

* Вещественное доказательство (*лат.*).

ло — пишущую машинку. Но роман со всеми черновиками погиб. Меня известили о том, что роман арестован: Главлит признал его антисоветским. В этом был известный резон, так как в той незначительной части моего произведения, которая была отпечатана на машинке и могла быть прочитана, находилось описание алебастровых статуй Ленина и Сталина, поданное в эпатирующе-мифологическом освещении. Я по-прежнему числился находящимся под следствием. Вся эта комедия продолжалась полгода. В начале следующего, 81-го года я заболел, после мучительного обследования меня собрались оперировать, но на столе у меня исчезло артериальное давление, и я чуть не отдал концы. Врачи отказались от операции, я был с позором выписан из больницы; наступила пауза. Я снова пытался писать, ибо горбатого исправит только могила. Сочинил повесть под названием «Бешт, или Четвертое лицо глагола» — чрезвычайно неудачный гибрид автобиографического повествования с трактатом о литературе. О нем можно вспомнить разве лишь потому, что он тянул за собою хвост мыслей, изложенных выше.

Это четвертое лицо нет-нет да и возвращается. Мы должны вернуться к размышлениям о «точке зрения», чтобы осознать простую истину: тривиальность в литературе есть синоним неправды. Я не могу читать иные свои сочинения. Меня воротит от псевдоклассической манеры, от беллетристического *bon ton*, от этой самоуверенности автора, взошедшего на вершину, откуда он якобы обзревает правду жизни; на самом деле он обзревает тривиальную действительность. Этот автор живет даже не в девятнадцатом веке, он живет в докритическую эру. Другими словами, он видит жизнь с точки зрения усредненного сознания. Между тем «жизнь как она есть» — неправда. В поле обыденного сознания вещи приобретают вид *second hand*. Их уже кто-то носил.

Но и повествование «глазами такого-то» отзывает невыносимой тривиальностью, даже когда эти глаза принадлежат самому экзотическому существу. Изношенность литературной точки зрения фатальным образом тривиализует ее носителя — субъекта повествования. Нужно создать мир высшей, внесубъектной субъективности, если угодно, субъективности Бога. Действительность погружена в мир всеобъемлющего сознания, потому что только такой она и бывает. (Можно согласиться с Сузанной Зонтаг, что искусство — это «воплощенное сознание».) Существует великая мечта о синтетической прозе, философская мечта о действительности; к попыткам осуществить эту мечту я только лишь приступаю.

Вскоре был арестован Виктор Браиловский, последний редактор «Евреев в СССР», к этому времени уже приказавших долго жить. Я часто бывал в его доме. Когда, отсидев месяцев десять в уголовной камере, он был сослан, я отправился навестить его в Западный Казахстан. Я ехал с грузом продовольствия, никто не мог мне точно сказать, где моя остановка, и ночью я слез с поезда почти наугад. Поселок Бейнеу представлял собой обширный пустырь, заваленный всевозможным мусором. Хозяйки выплескивали помой в двух шагах от крыльца. Тощее животное с рогами и выменем жевало газету. Что-то подобное я уже видел, впрочем, во время путешествия на целину в студенческие времена; отхожее место на станции Кокчетав представляет собой нечто незабываемое даже для того, кто сиживал с дизентерийным поносом в лагерных сортирах. Из обвинительного заключения по делу Браиловского было видно, что я намечен следующим кандидатом. Я никогда не был образцовым патриотом. Тем не менее я все еще медлил, я боялся покинуть страну, где говорят по-русски, и был последним в моей семье, кто пришел к мысли, что пора поднимать парус.

Х

Моя жизнь была перерублена трижды: первый раз, когда началась война, второй, когда я был арестован, и третий раз, когда пришлось эмигрировать. Разумеется, страна лагерей была словно создана для того, чтобы бежать из нее при первой возможности, бежать, едва только приоткрылись ворота, бежать куда глаза глядят и чем дальше, тем лучше. Но понадобился осязательный пинок

в зад, чтобы это совершилось. Я потерял отечество. Я потерял его навсегда и мог бы считать, что мне неслыханно повезло. Не хочется здесь вспоминать подробности отъезда — виза представляла собой приказ оставить страну в считанное число дней, на сборы почти не оставалось времени — и незачем объяснять, отчего я избрал Германию. Загадочная судьба время от времени, как глухонемой, подавала мне знаки. Эта судьба неслышно затрубила мне в уши, когда мы вышли из самолета в Вене, в солнечный день 15 августа 1982 года, и я увидел при входе в аэровокзал немецкие надписи. То было чувство прибытия в Древний Рим — с немецким языком, священным языком юности, меня связывало многое,— и не так-то просто было освободиться от этого чувства, от привычки взирать на страну (и вообще на Европу) сквозь литературные очки, и увидеть реальность, и начать жить обыкновенной жизнью на чужбине. Моим друзьям удалось переслать мне окольными путями кое-какие бумаги из оставшихся в России, среди них — частично восстановленный роман. Я писал его заново в Штокдорфе, Веслинге и Грефельфинге под Мюнхеном, где мы провели первые годы изгнания.

Вместе с К. Любарским я основал ежемесячный (не литературный) журнал; он был назван «Страна и мир» и начал выходить в 1984 году. В нем было в разные годы помещено довольно много моих статей и переводов. Мы занимались также книгоизданием, и таким образом появился на свет сборник моих этюдов под названием «Идущий по воде». Виктор Перельман издал в Нью-Йорке небольшой том моей прозы, куда вошли «Час короля», «Я Воскресение и Жизнь» и «Антивремя», и снабдил его хвалебным предисловием. Предисловие не помогло: книга не раскупалась, единственный печатный отзыв принадлежал Асе Кунник, которая сама же и набирала ее. (Экземпляр с дарственной надписью я послал в Москву начальнику следственного отдела прокуратуры, некоему Ю. В. Смирнову, руководившему операцией по изъятию романа. Надеюсь, он был тронут.) Другой издатель выпустил в Нью-Йорке «Миф Россия», нечто вроде большого эссе, первоначально не предназначенного для русских читателей: книжка была заказана небольшим немецким издательством в Майнце, существующим со времен Гёте; основой для нее послужили статьи, печатавшиеся в мюнхенском журнале «Merkur». Вскоре благодаря настойчивости Аннелоре Ничке, ставшей моей постоянной переводчицей, «Антивремя» опубликовала DVA (Deutsche Verlags-Anstalt), издательство, которое с тех пор регулярно выпускало мои сочинения. Германия меня не предала, я удостоился премий. Впрочем, ошибки совершает даже нобелевский синклит, значение литературных премий — кроме того, что они помогают жить и выжить,— состоит не в том, что ими отмечен якобы достойнейший, а в том, что они делают отмеченного известным. В России благодаря удачному стечению обстоятельств «Антивремя» вышло в начале 90-х годов (с предисловием Б. М. Сарнова).

Осенью 1990 года мы врезались на большой скорости в легковую машину в районе Кёльна, я был оперирован и, выйдя из больницы с парализованной рукой, просидел несколько месяцев дома; это дало мне возможность разделаться с романом, которым я занимался с конца восьмидесят четвертого года.

Роман озаглавлен «Нагльфар в океане времен» (немецкий перевод называется «Unten ist Himmel», то есть «Небо внизу») и оснащен тремя эпиграфами, из которых самый большой — цитата из Младшей Эдды, приведенная отчасти ради того, чтобы пояснить или напомнить, что такое Нагльфар. Это корабль, построенный из ногтей мертвецов. Нужно не забывать остричь ногти покойнику, чтобы Нагльфар был готов как можно позже, ибо он выйдет в плаванье из царства мертвых, когда задροжит мировой ясень Иггдрасил, и океан зальет землю, и придут три зимы, тогда наступит гибель богов и мира. К содержанию романа эта мрачная мифология имеет лишь косвенное отношение. Нагльфар — это, очевидно, дом в Москве на границе тридцатых и сороковых годов, таково место и время действия. Дом и двор похожи на дом моего детства в Большом Козловском переулке, хотя на него брошен фантазмагорический отсвет.

Как и в «Антивремени», сверхгерой повествования — это сам город; главное же действующее лицо, тринадцатилетний подросток, девочка,— персонаж, в котором сосредоточен дух обновления и смерти. Дом с его обитателями погружен в подобие летаргического сна. Значительная часть действия происходит ночью. Девочка появляется в момент, когда историческое время остановилось. Мне казалось, что кс неч, тридцатых и начало сороковых годов были именно тем выморочным временем или расщелиной времен, когда революционный порыв окончательно иссяк. Казни и репрессии поутихли, наступила пауза; гаснут огни; измученное общество погрузилось в спячку. Исподволь ощущается тоска по истории, ее не осознают, ее чувствуют; дальние громы приближающейся войны обещают возобновление истории; общество ждет войны. Населенный мертвыми душами корабль Нагльфар вот-вот сорвется с якоря.

Но это роман о любви. Второй протагонист, «любимец женщин», пораженный русской болезнью черных окон — чувством пустоты,— первоначально мыслился главным героем. Этот сомнительный, хоть и не лишенный привлекательности герой, странная смерть которого служит прологом к роману, носит и слегка видоизмененную фамилию человека, умершего от алкоголизма в 1968 году, которого я не знал, и чей ярко написанный портрет привлек меня в «Снах земли» Г. С. Померанца, там речь идет о послевоенном времени. С Анатолием Бахтаревым (через «а»), талантливым парнем, из которого ничего не вышло, входит в роман тема, которая сперва мыслилась главным предметом повествования: неумирающий, но всегда какой-то полуподпольный, полусуществующий орден русской интеллигенции. Так же, как приятель Померанца сохранил в моем сочинении только имя, превратившись в другое лицо, так и от темы «ордена», по мере того как прояснялся магический кристалл, остались полупародийные отрепья; в книге есть эпизод, когда на квартире, превращенной в игорный притон, компания, шлепая картами о стол, философствует о судьбе России. С этой темой каким-то образом сплетается мотив мнимого Агасфера — старика-сапожника, проживающего в подвале.

Несмотря на очевидные промахи — быть может, есть основания говорить просто о провале,— я почти люблю эту книгу, из всех моих изделий она кажется мне наименее неудавшейся. Я вложил в нее многое. В ней использован принцип фиктивных воспоминаний, мнимой документации, наигранной серьезности, которая переходит в подлинную именно в тот момент, когда ей окончательно перестают верить; словом, принцип двойного дна. О приемах музыкального построения уже говорилось. В России роман, если не считать угрозы притянуть меня к суду за оскорбление памяти Толи Бахтырева (через «ы»), не привлек внимания, что я нахожу естественным.

XI

Агасфера, или Вечного Жида, я сделал героем одной из моих новелл (избрав для него менее употребительное имя — Картафил), над которой мучился, которую то и дело переписывал, отчего, возможно, эта вещь окончательно утратила достоинства художественного произведения; все же мне хочется о ней упомянуть. Она не публиковалась на других языках и замечена была только одним читателем — С. И. Липкиным, который поместил в газете стихотворение-отклик, посвятив его автору.

Тема этой новеллы — Освенцим. Вычитав из американских газет англоязырованное словечко «холокост», невежественные журналисты не догадывались о том, что в нашем языке давно существует пришедшее непосредственно из греческого слово *голокауст*, всесожжение. К сожалению, Освенцим отсутствует в сознании интеллигентной публики в России. «Не наше дело». То, что человечество живет после Освенцима и под тенью Освенцима, память о котором не зачеркнуть никакими силами,— в этой стране неизвестно, непонятно ни публицистам, ни церковникам, ни новым христианам ни старым фашис-

там. Так же, как не дошло до сознания, что Освенцим предъявил страшный счет христианству, что невозможно и непозволительно перед видением Освенцима рассуждать о Христе, евреях и христианстве так, словно Голокауста не существовало.

(Пример Бориса Пастернака с его высказываниями по еврейскому вопросу в «Докторе Живаго», пример поразительной нечувствительности, — всего лишь пример. Но какой красноречивый.)

В рассказе два действующих лица, второе — Агриппа Неттесгеймский, о котором одна из легенд сообщает, что он владел искусством предсказывать будущее. Я сделал Агриппу автором «Хроники о Картафиле», манускрипта, где имеется чертеж прибора, некое достижение экспериментальной теологии: с его помощью можно воспроизвести в чистом виде «абсолютное, субстанциональное и неизменное бытие». Из объяснений ученого следует, что такого рода бытие, составляющее, как учит Блаженный Августин, прерогативу Высшего существа, есть не что иное, как актуализованная вечность, иначе говоря — вечно длящееся настоящее. Чтобы оказаться в будущем, надо пересоздать время. Задача состояла в том, чтобы, следуя канонам научно-фантастического жанра, вернее, пародируя его, пустить пыль в глаза читателю.

Но нищему старику, незваному гостю Агриппы, эти тонкости ни к чему. Он пришел не ради того, чтобы удовлетворить свою любознательность, он смертельно устал от своего бессмертия, его интересует одно: сколько ему еще осталось скитаться? Пятнадцать веков тому назад в Иерусалиме человек, выдававший себя за Божьего сына, ложный Мессия, которого Картафил прогнал от своего крыльца, сказал ему: «Я уйду, но и ты будешь ходить до тех пор, пока Я не вернусь».

Действие рассказа, по-видимому, происходит в год смерти Агриппы Неттесгеймского. По расчетам Агриппы, Второе пришествие должно состояться через четыреста лет. Корнелий Агриппа, врач, философ и богослов, скончался не то в Кёльне, не то в Гренобле в 1535 году. То есть явление Христа примерно совпадет с датой совещания на вилле в Ванзее, когда будет постановлено окончательное решение еврейского вопроса.

В ходе последующего опыта будущее становится для Картафила настоящим, к великому смущению экспериментатора, который охотно допустил бы, что старец просто-напросто рехнулся. Ибо «легче предположить помрачение ума в любом из нас, нежели допустить безумие мира, куда мы заброшены». То, о чем сбивчиво и невнятно рассказывает потрясенный гость, когда волшебный кристалл гаснет, — то, что он там увидел, — оказалось неожиданностью не только для него, но и для футуролога-чародея: Иисус вернулся, чтобы занять место в очереди перед газовой камерой.

Вечный Жид был проклят во имя торжества христианства, но он единственный живой современник Христа, единственный, кто видел Христа своими глазами. А дальше получилось так, что, произнеся проклятие над Агасфером, Христос обрек себя на вечную связь с ним. Он был жив до тех пор, пока жил Вечный Жид, и погиб вместе с ним. После второго опыта в комнате Агриппы остался лишь запах обугленных костей. Картафил, оказавшийся в XX веке, сгорел в печах, так закончились его скитания. Но вместе с ним сгорел и другой еврей. Еврейство веками считалось врагом христианства. Теперь этот враг погиб. Однако он оказался условием существования самого христианства. Вместе с гибнущим еврейством умирает основатель христианства, умирает и все его учение. Потому что Освенцим перечеркивает проповедь Христа. Вместе с дымом печей Освенцима и Майданека улетело в небо и традиционное христианство, потому что в мире, где возможен Освенцим, для него нет места. Катастрофа еврейства, окончательное торжество христианства над иудаизмом, означает катастрофу самого христианства.

Занавес!

XII

Фраза, которая мне пришла в голову летом 92-го года (вскоре после того, как журнал «Страна и мир» прекратился и я стал безработным, освободившись от необходимости сидеть каждый день в редакции), первая фраза — «город Хромов обязан своим происхождением несчастному случаю», из которой началось, как из желудя, расти дерево, — эта фраза видоизменилась: довольно скоро я сообразил, что не нужно вообще называть город. Заголовок «Хроника N» сулил несколько преимуществ. N не какой-то реальный город; это *некий* город. В нем оказываются по недоразумению, но это перст судьбы. Когда же Фрося спрашивает рассказчика, она знает, что он не вернется, так как города N нет на карте.

Далее, хроника предполагает отчет о событиях прошлого, пусть мнимый, а не рассказ о герое, будь то сам «хронист» или великий таинственный муж — Кузьма Кузьмич Фотиев. Рассказчик, у которого «интерес к историческому прошлому выдает желание возместить потерю собственного прошлого», то и дело вспоминает русские летописи, и они бросают на его записки ответ вечности. Но вместе с тем это уголовная хроника.

Говоря попросту, город N — это Россия. Та Россия, «откуда хоть три года скачи». Отечественная география сравнивается с воронкой, это, разумеется, мифическая география. Мы на дне воронки. Город втягивает в себя, засасывает: город-влагалище. Одна из его персонификаций — Алевтина, кондуктор трамвая, соломенная вдова, днем похожая на замученного работой мужика, ночью женщина. Сам рассказчик, «чернорабочий любви», — лицо без определенных занятий, паспортный калека, по всему судя, вчерашний заключенный. Абсолютно одинокий человек, ищущий, куда бы спрятаться, и это сразу понимает хозяйка, некая тетя Лёля, опекающая его; но зато он должен жить с ее дочерью Алевтиной; цена этой *Geborgenheit** — новая утрата свободы.

Город, куда его забросил случай, как будто реализует «великую славянскую мечту о прекращении истории» (О. М.). Город основан в XI веке по милости несчастного случая охромевшим князем, позади 900-летняя история, полная ужасов, сотканная из преданий и легенд, и город не живет, а вегетирует в истории; это и позволило ему сохраниться. Символ истории, превращенной в растительное существование, — Заречье, бывший посад.

Конечно, все это лишь мой собственный домysel; возможны другие; вообще же, говоря словами С. Зонтаг, у произведения не спрашивают, что оно «выражает». Манию толкований оправдывает разве только понимание того, что никакое толкование не является обязательным. Легко заметить, что и в этом романе не обошлось без заимствований из биографии автора. Хотя фабула книги — вымысел, город N похож на Калинин, отчасти на Вышний Волочёк; жизнь в гостинице, игра в прятки с администрацией, вызов в милицию по делу о похищенной простыне, созерцание жареных рыбных молок в витрине магазина, жизнь под угрозой выселения, с волчьим билетом, паспортом с особой малозаметной отметкой, — мелодические ходы моей собственной жизни. Тверь, бывшая соперница Москвы, расположена у впадения в Волгу двух притоков — Тверцы и Тьмаки; на полуострове еще недавно стоял обломок Отроча монастыря, основанного, кажется, в XI веке; это сооружение при мне сначала выкрасили синькой, а затем снесли. Считается, что в «Бесах» Спасо-Ефимьевский монастырь, куда князь Ставрогин приходит к Тихону, отчасти списан с тверского; ночной визит к капитану Лебядкину в деревянном домике за рекой происходит в местах, где я жил. Как в романе, мою хозяйку, добрую женщину, звали тетя Лёля. Река, откровенно глазами рассказчика, когда он бредет по перулку, вышвырнутый из военной столовой, — это, конечно, Волга. Наконец, главному герою, «чародею-учителю», как мне пришлось озаглавить немецкую версию романа

* Укрытость (*нем.*), термин экзистенциалистской философии.

(Zauberlehrer*, по аналогии с гётевым Zauberlehrling**), дана фамилия человека, которого я знал, проживавшего в Мюнхене русского православного священника, националиста и гомосексуалиста.

Город N кажется идиллическим, грибным. Вдали, на другом берегу, как видение, стоит древний белый монастырь. Но на самом деле это развалины, а город кишит нищими и уголовной шпаной.

В Штралене на Нижнем Рейне, у голландской границы, где находится Europäisches Übersetzerkollegium***, род приюта для писателей и переводчиков, в котором я бывал прежде и куда снова приехал в надежде спасти мое сочинение, окончательно обрисовалась мысль, которая в дальнейшем вела меня: мысль написать роман о возмездии. Не рассчитывая на догадливость читателя, рассказчик говорит о том, что смерть обожаемого учителя, должно быть, и есть не что иное, как возмездие. Вопрос, кто убил, должен быть заменен вопросом: за что? Ответ: тот, кто хочет спасти мир, должен погибнуть, ибо мир не желает быть спасенным.

Я полагал, что роман, в котором время действия весьма условно может быть отнесено к 60-м, самое позднее к 70-м годам, а в общем, не подлежит уточнению, сохраняет известную актуальность: то, что произошло и происходит в стране, после того как советская власть, как некогда царская, превратилась в ancien régime****, представлялось мне историческим возмездием. В отличие от наказания, карающего виновных, возмездие настигает всех. Возмездие за претензию указывать путь всему человечеству и вести за собой человечество, за мессианские амбиции, за старый сон славянофильства, преобразившийся в коммунистическую утопию спасения. Спасать мир — с голым задом?

Ютящийся в развалинах монастыря вместе со своим «обществом охраны старины» К. К. Фотиев, чье родословие (опущенное в немецком издании) дотягивается чуть ли не до первой жены Адама, — уличный нищий. Нищета, атрибут праведности, открывает ворота в уголовный мир. Но это, конечно, и пародия на демонстративную бедность Николая Федорова, бессребреника, отрицавшего всякую, в том числе духовную, собственность. Меня так и подмывало подразнить все еще не вымерших поклонников гротескной философии Общего Дела. Проект братского единения во имя общей великой цели, гибрид казармы и монастыря, смесь христианства с самым грубым позитивизмом, имеет одну примечательную черту: в нем нет места женщине. Незачем плодить детей, а нужно все силы отдать воскрешению предков. Поэтому половая любовь, беременность и материнство репрессированы. Считается, что философия Федорова — это протест против смерти. На самом деле она дышит кладбищем. Ее пафос бездетности отзывает перверсией. Утопии гомосексуальны. Неясно, кто уколошил Фотиева, но если убийцей была Фрося, то это было другой стороной возмездия — отмщением женщины, из которой пытались сделать «брата».

(Между прочим, я посещал в университете факультативные занятия санскритом под руководством профессора М. Н. Петерсона, известного лингвиста, очень ученого и очень странного человека, приторно-любезного, с телосложением женщины. Он был сыном ученика Федорова Николая Петерсона. Оба последователя, Петерсон и Кожевников, издали сочинения учителя после его смерти; В. А. Кожевников, фантастический эрудит и поэт, перелагал учение Федорова в стихи, ему же принадлежит термин «философия Общего Дела».)

Два слова о «трактатах»: редактор предлагал их похерить. Сошлись на том, что они будут разбросаны по тексту. (В немецком издании романа трактаты, как и полагается, образуют приложение.) Авторство трактатов остается открытым, возможно, они записаны со слов учителя: как Будда или Сократ, он сам ничего

* Учитель-чародей (нем.).

** Ученик чародея (нем.), название баллады Гёте.

*** Европейская коллегия переводчиков (нем.).

**** Старый режим (франц.).

не писал. Я сочинял их с удовольствием. Мне казалось, что эти тексты, в которых обыгрываются мотивы романа, с их идиотической серьезностью, создают некоторую дополнительную ироническую перспективу.

Роман «Хроника Н. Записки незаконного человека» был отнесен Беном Сарновым в редакцию «Октября», этим объясняется странная удача — сочинение опубликовали в России.

ХIII

В одной работе И. Н. Голенищева-Кутузова (ее цитировал в статье об авторе этих строк Илья Рубин) упомянут Рутилий Клавдий Намациан, иначе Намациан, христианский поэт V века, галл по рождению, в слезах целовавший ворота Рима перед возвращением на родину. Стихи Намациана «*Srebra relinquendis infigimus oscula portis...*»* я поставил эпитафией к роману «После нас потоп» (немецкое название «*Vögel über Moskau*»**). Он посвящен «памяти другого Рубина», другого, потому что действующее лицо этого сочинения тоже носит имя Илья Рубин.

Этот Рубин, впрочем, отчасти похож на того: он тоже мотается по городу с портфелем, набитым «материалами»; возится с женщинами; но не женщины занимают его ум: как и тот Рубин, он всецело поглощен своим делом. Дело это — *Журнал*. Постепенно становится ясно, что это за дело, а вернее, так и не проясняется до конца. Что касается времени действия, то оно, должно быть, происходит в семидесятых годах или около того; датировка вообще дело сомнительное, многочисленные анахронизмы — отнюдь не следствие небрежности. Роман написан в 1995—1996-м годах и представляет собой еще одну отважную попытку преобразить в нечто ноуменальное бессмыслицу нашей жизни в России.

Если угодно, это попытка обнаружить в ней дыхание промысла, облагородить агонизирующую державу высшей метаисторической идеей; что, конечно, не отменяет иронию и игру. Двадцать лет тому назад раз и навсегда было разъяснено законодателем литературного постмодернизма Ж.-Ф. Льютаром, что «метаповествования» умерли. Всеобъемлющие идеи умерли. Я не вял этому увещеванию, в моем романе просматривается такая сверхидея. (Мы обсуждали ее однажды с Марком Харитоновым.) Все же я полагаю, что мы имеем дело не с идейным романом, но, так сказать, романом музыкально-философским. Таков мой жанр, сколь бы претенциозным ни показалось это определение.

Мне казалось, что обвал Советского Союза, или, что то же самое, распад Российской Империи, есть событие, сопоставимое с крушением Древнего Рима. Сограждане не отдавали себе отчета в историческом значении того, что происходит; современники вообще не в состоянии оценить по достоинству свою эпоху; самое понятие о смене эпох — изобретение потомков. Потоп доходит до сознания *post factum*, задним числом, когда прежняя жизнь оказывается допотопной. Жизнь накануне потопа; в романе это не столько идея — и еще менее «теория», — сколько музыкальный конструкт. (Ближайшая аналогия — Малер.)

С ним переплетены два других: Украина и Подполье. Город, у которого, как я думаю, есть все основания не то чтобы называться Третьим Римом, но встать рядом с Первым, окутан и осажден опухолью окраин. В первом приближении это так называемые новые районы с населением, которому повествователь не умеет подыскать иного названия, нежели — в шпенглеровском смысле — *феллахи*. Феллахи живут на задворках истории, но сами по себе — историческое явление. Этот мотив удваивается: подобно тому как столицу теснят окраины, ядро империи окружено покоренными провинциями. Одна из них — фантастическая юго-восточная республика, откуда прибывает в Москву степной potentat — половецкий хан.

* «Вновь и вновь я целую ворота города, который предстоит покинуть» (*лат.*).

** «Птицы над Москвой» (*нем.*).

Мотив Окраины переходит в другую тональность, когда мы узнаем, что на окраинах города ютятся участники полумифического Журнала. С Журналом в роман входит третья музыкальная тема — Подполье. В первом приближении это Самиздат, нелегальная машинописная «печать» наподобие той, к которой я был причастен в последние годы жизни в России; Самиздат как некая окраина официальной словесности. Один из моих старых друзей и немногочисленных читателей, в прошлом заслуженный автор Самиздата, был глубоко оскорблен карикатурным — или почти карикатурным — обликом участников Журнала. Можно, однако, заметить, что существенным конститутивным признаком романа является принципиальная двусмысленность. Она, я думаю, прослеживается во всем сочинении, начиная с пролога. Образы романа амбивалентны. Это затрудняет его понимание.

Журнал, редактируемый Ильей Рубиным, для которого он без конца собирает материалы, который вечно готовится и никогда не выходит, который сравнивается с «островами блаженных, с башней слоновой кости... с улиткой, рыцарем, черепахой...», за которым гонятся, как крысы за куском сала, чины тайной полиции и который ускользает, словно обмылок; Журнал, о котором, в сущности, ничего не известно, который в конце концов принимает совершенно неопределенные, почти мистические очертания, который, может статься, попросту чья-то выдумка, Журнал, конечно, есть нечто большее, чем Самиздат семидесятых годов, столь яростно преследуемый, объединивший под своей дырявой крышей самых разных людей, дилетантов и профессионалов, людей с неудовлетворенными литературными амбициями и самоотверженных идеалистов. Нечто большее, а может, и нечто совсем иное. Одно из возможных толкований: модель катакомбной культуры.

Это культура, которая чудом сумела произрасти поверх почвы, залитой асфальтом, культура, существующая вопреки тирании, не подвластная фашистскому государству, не встроенная в тоталитарное общество, бесстрашная, неподкупная, не проститурованная. Это культура кружковая, замкнутая, сектантская, затхлая и задохнувшаяся. Ее можно понимать и как культуру, которой предстоит отстаивать свою автаркию в массовом демократическом обществе, где рынок гарантирует свободу от политического гнета и преследований, но сам оказывается вездесущей репрессивной силой, враждебной духу. Культура — кастильская утопия... Уйдя в подполье или в себя, она вырождается. Ей не хватает воздуха и простора. И она совершает — в лице главного героя — самоубийство.

Книга, представляющая собой прощание с эпохой и ушедшей страной (подобно тому как Намациан прощается с Римом), начавшись с пролога, нуждалась в эпилоге. Как ни удивительно, один из аспектов бессмертия России по ту сторону бедствий и катастроф — жуткое бессмертие тайной политической полиции. Эта гидра, у которой отрастают головы, пережила всё и всех: партию, коммунизм, советскую власть, евроазиатскую империю от Востока до заката; переживет и нас. Присутствие тайной полиции было необходимой частью сюжета, и если верно, что литература — это сведение счетов, то эпилог как будто сводит счеты с монстром. Тем не менее это не публицистика и уж, конечно, не морализирование, это «философия прогулочных дворов», у которой есть, по-моему, сюжетное, музыкальное и стилистическое оправдание.

Все остальное в романе — это сам роман. В работе наступает момент, когда появляется чувство созданного тобою пространства. Начинаешь его обживать. (В одном месте Илья Рубин посещает автора. Но в пространстве прозы и автор становится персонажем.) Я воспринимал моих действующих лиц, мужчин и женщин, Шурочку, Берту, виконта Олега Эрастовича, банщика Лыкова, да и самого хана, и какого-нибудь случайно встреченного в метро оперуполномоченного, и какого-нибудь дедулю, ночного философа — всех — как живых людей, отнюдь не только как лицедеев эпохи. Я и сейчас как будто слышу их голоса. И

я слишком чувствую, что мои объяснения мало что прибавляют. Между прочим, и по причине той амбивалентности, о которой только что было сказано. Мотивы романа пародируются внутри самого романа, рассуждения условного повествователя носят игровой характер, мы возвращаемся к тому, от чего собирались оттолкнуться, в царство восхитительной несерьезности. Действующие лица смотрят в кривоватые зеркала. Можно сказать, что они обретаются по обе стороны волшебного стекла.

(Опять зеркало! В романе есть сцена, когда мужчина смотрит на женщину, стоящую перед зеркалом. Он видит ее сразу со спины и спереди, чего никогда не бывает в действительности. Она видит себя и видит его, хотя на самом деле они не рядом и даже едва знакомы. Оба оказываются в зеркальном пространстве, как во второй действительности, где все приобретает другое значение и совершается по-другому.)

Роман сочинен сравнительно недавно, я все еще не могу отделаться от тяжелого чувства поражения.

XIV

Научиться писать невозможно; научиться можно лишь тому, как не надо писать. Не существует ответа и на вопрос, зачем надо писать; для кого. Завтра мы умрем, и весь ворох сочиненного нами отправится на помойку. Я не испытывал ни малейшей охоты быть народным писателем, популярным писателем, актуальным писателем, ангажированным писателем. Остаюсь я в России, я и там не мог бы писать о том, что видел бы за окошком. Я полагаю, что литература всецело живет памятью.

Такое заявление в устах человека, давно живущего вне страны, о которой он пишет, и хорошо знающего, сколь многим литература нашего века обязана изгнанникам, звучит похвальбой или желанием оправдаться. Ведь для тех, кто остался, эмигрант всегда более или менее — человек прошлого.

Но я знаю, что проза — дело нескорое и что литературе нужно долго собираться с мыслями. В результате она является к шапочному разбору. Дистанция дает ей особые преимущества. Вместе с тем она обрекает литературу на невнимание читателя, который справедливо считает, что найдет для себя гораздо больше занимательного в газете. Писатель не велосипедист, который изо всех сил крутит колеса, стараясь не отстать от изрыгающих газ лимузинов публицистики и журнализма, писатель — это пешеход, он не ездит по дорогам, а бродит в полях. Я полагаю также, что литературе должен быть присущ известный аристократизм.

Это естественно, потому что писатель, каким бы жалким он ни выглядел, — аристократ. Это аристократизм мысли, который запрещает пользоваться шаблонами обыденного сознания, и аристократизм языка, предписывающий необходимую меру безразличия. «Всю жизнь, — говорит Эйнштейн, — я любил хорошо обдуманную, трезвую фразу и лаконичный стиль». Я готов подписаться под этим заявлением. Мне претит болтливый, расхристанный, вульгарный и щеголяющий своей вульгарностью язык. Речь улицы, некогда вторгшаяся в литературу как реакция против книжности и литературности, уже давно воспринимается как самая рутинная литературщина; так называемая народная речь безнадежно скомпрометирована; «сказ» невыносим. Ходячее представление о том, что художник — медиум языка, вызывает у меня протест. Нельзя укротить хаос жизни средствами самого хаоса. А ведь наша работа, собственно, и состоит в укрощении хаоса. Коленопреклоненная поза перед языком может быть прощательной у стихотворца; прозаик должен уметь свернуть шею языку. Прозаик обязан противостоять языку, сопротивляться его диктату. Тем самым он противостоит гнусному времени. Ничто так не очищает душу, как чтение хороших стилистов.

XV

Мимоходом стоит сказать два слова о заповедной области языка, таинственной цитадели, обнесенной стенами и башнями. Время от времени ее пытаются взять штурмом или с помощью подкопов, и, похоже, что наше время провело эту операцию успешнее, чем это удавалось когда-либо. Оно пристрелило сторожей, сорвало засовы, реквизирировало имущество и расположилось в покоях дворца с завидной непринужденностью. Имя этой крепости — эротика.

Мы пожимаем плечами, читая о скандале, который разыгрался вокруг неслыханно откровенного романа Фридриха Шлегеля «Люцинда» два века тому назад. Знаменитые нашумевшие процессы над Флобером, Бодлером, над автором «Любовника леди Чаттерли» Д. Г. Лоуренсом кажутся недоразумением. С Джойса сняты наручники. Выпущен на свободу через 185 лет после смерти в психиатрическом заточении «божественный маркиз» де Сад. Книги Жоржа Батая признаны доброкачественной литературой, а на них написаны солидные труды. Лишился пикантности апостол секса Генри Миллер вместе с его ученицей, не говоря уже о многочисленных подражателях. Выяснилось, что сочинять порнографическую литературу, вообще говоря, не так трудно. Сколько шума еще совсем недавно наделал в русской эмиграции жалкий «Эдичка»! Романы в этом роде можно печь, как оладьи.

Никакая прежняя эпоха не могла похвастать такой армией похабнейших писателей, лишив их одновременно ореола недозволенности; никакая эпоха не располагала такими возможностями тиражирования эротических текстов, которые никого не шокируют, хотя ради этого они, собственно, и сочинялись. Никакое общество не могло помыслить о таких масштабах коммерциализации пола, и то, что еще недавно могло казаться реакцией на ханжество предшествующей эпохи, восстанием против буржуазного или коммунистического лицемерия, стало рутинной массовой потребительской культурой.

Я не собираюсь обсуждать критерии порнографической словесности, ведь давно уже замечено, что, как только удастся провести более или менее четкие границы между «порно» и настоящей литературой, появляется произведение, которое их стирает. Будем довольствоваться тем, что у каждого из нас все-таки существует представление о талантливой прозе и о пошлятине. Важнее другое: исчерпанность эротического словаря, банальность «сексухи», инфляция и скука, ощущение, что, кроме физиологии и хулиганства, у нас ничего не осталось: мы больше не располагаем языком для описания феномена любви.

Времена, когда об «этом» достаточно было сообщить обиняками, когда романист, доведя влюбленных до дверей спальни, почтительно откланивался, прошли; приходится договаривать все до конца, и совершенно так же, как в XVIII, в XIX веке роман без любовной интриги — не роман, в наше время кино не может обойтись без голого тела и проза — не проза, если в ней не нашлось места хотя бы для одной откровенной сцены. Мы имеем дело с литературной конвенцией, вывернутой наизнанку. Автор вынужден раздевать своих героинь. Автор вынужден выдавать читателям положенное. Как это сделать, если все уже сказано и показано? Физические проявления любви не отличаются разнообразием, и литература, которая на Западе называется миметической, а в России — реалистической, зашла в тупик, где встретилась с другим неудачником — натуралистической кинематографией.

Вульгарность была последней отчаянной попыткой реанимировать язык. Надолго ли ее хватило?

С художественной истиной дело обстоит совершенно так же, как с женщиной; это старое уподобление, я полагаю, не вызовет у вас протеста. Природа истины такова, что ей подобает игра с покрывалом. Истина может поразить, лишь явившись полуодетой. Больше того, лишь до тех пор она и остается истиной. Подобно тому, как эротично не голое тело, а способы его сокрытия, прямая речь бьет мимо цели. Это и есть та самая «неправда правды», о которой говорит фи-

лософ, ставший модным в России, — Жак Деррида (в трактате «Шпоры»). И получается, что для того, чтобы восстановить таинственное очарование наготы, ничего другого не остается, как захлопнуть книжку. Таким образом приходится признать, что колоссальные усилия, потраченные в свое время на то, чтобы разрушить заборы, которые воздвигло ханжество, пропали даром. Оставшись без всего, раздетая догола, растабурированная эротика сбежала. Заколдованный замок, как замок графа Вествест, недостижим, хотя бы нам на мгновение показало, что мы уже там.

И все же любовь и пол остаются — скажем так — предметом, заслуживающим внимания. Альков, говорил Толстой, всегда будет главной темой литературы. По правде говоря, только о любви и стоит писать. Это даже не «тема», а душа искусства. В дневнике Корнея Чуковского есть запись (18 апреля 1919 года) о Горьком, который рассказывает, как Толстой расспрашивал его, «где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рассказа «Двадцать шесть и одна». Я тогда был молод (продолжает Горький), не понимал, к чему это, и, помню, рассердился, а теперь вижу: именно, именно об этом и надо было спрашивать». Как это ни комично, издательница тоже, очевидно, была рассержена, читая это место в дневнике своего деда, и за отсутствием Главлита сама подвергла его цензурному усекновению во имя приличий и нравственности, как ее понимали в советское время.

Мы хорошо помним, что эротика в советской литературе, по крайней мере с середины 30-х годов, была репрессирована так же последовательно, как и политическое инакомыслие; эротика стала второй крамолой. В идеальном согласии с древней как мир мифологией верха и низа (верхняя половина тела — местонахождение возвышенных начал, «низ» низменен) персонажи этой словесности могли влюбляться, страдать или возбуждать ответное чувство, но улечься в постель — упаси Бог.

(Существуют работы о самодеятельной графике на стенах общественных зданий (graffiti), но, кажется, никому еще не приходило в голову исследовать надписи и рисунки в отхожих местах. Никто не догадался собирать эти памятники традиционного народного творчества, а между тем заборная письменность с ее жанрами и своеобразными достижениями представляла собой некое дополнение к высоконравственной официальной литературе и графике. Скажем так: это было ее бессознательное. Потому что эстетика социалистического реализма несоводима к идеологии; ее тайная психологическая подоплека — порнографическое воображение.)

Эротизм современной литературы не просто дань моде, если это мода, то она длится по меньшей мере три тысячи лет. И вообще вопрос уже давно не в том, как далеко мы можем переступить «приличия».

«Первый поцелуй — начало философии» — фраза из фрагментов Новалиса. Сенсация, потрясшая европейское общество три четверти века тому назад, когда во всеулышание было объявлено, что невинный ребенок есть сексуальное существо и что чуть ли не все движения человеческой души заряжены полом, — сенсация эта не то чтобы опровергнута, но как-то отцвела; обе стороны уравнения можно переставить местами; сексуальность сама выступает в качестве универсального знака, и язык подхватывает эту двусмысленность, лучше сказать — язык навязывает нам свою двусмысленность, язык осциллирует. И это то, что я больше всего ценю в литературе. Может быть, истинное отличие порнографической словесности от непорнографической состоит в том, что порнография представляет собой вырождение языка в код. Порнограмма может быть прочитана лишь одним-единственным способом. В порнографическом романе, как и в порнографическом кинофильме, все есть как есть и все происходит как оно происходит. Пожалуй, единственная художественная вольность, единственное отступление от «действительности» — фантастическая неутомимость партнеров.

Порнография девственно наивна. Порнография однозначна. Вот то, что противоречит природе романа, который не знает, чего хочет, допускает бесчис-

ленное множество интерпретаций и в конечном счете уходит, ускользает от всякой интерпретации. В этом состоит источник бесконечных недоразумений между романистом и его критиками и читателями, всегда склонными вкладывать в книгу неожиданный для его создателя и притом один-единственный смысл. Автор порнографических произведений не имеет оснований жаловаться на непонимание: у него никогда не бывает недоразумений с читателем.

Язык истины, уловить которую так же трудно, как поймать в невод русалку, единственно возможный язык, который нам придется отыскивать заново, — откровенно-прикровенен. Это язык чувственный и философский, метафорически двусмысленный, бесстрашно-уклончивый; язык, который осциллирует, как луч между зеркалами, это речь об этом и одновременно не об этом. Я не стараюсь здесь представить теорию секса в литературе, но говорю лишь о собственных попытках подступиться к «теме».

XVI

Среди повестей и рассказов, сочиненных мною в последние годы, я могу упомянуть короткий роман под названием «Далекое зрелище лесов».

Как-то раз, это было в начале 96-го года в Вейлере, на крайнем юге Баварского королевства, в виду Альгойских Альп, где я гостил у старых друзей, профессора Гарри Просса и его жены Марианны, мне представился довольно рутинный сюжет: некто приезжает на новое место с намерением уединиться, собраться с мыслями и подвести итог своей жизни, и с ним там что-то происходит. В данном случае новым местом была русская заброшенная деревня.

Мне не нужно было ее придумывать: я достаточно много видел таких деревень, чья неписаная история восходит ко временам Батыя, жил в этих полумертвых, полурасташенных селениях, где дотягивали свой век оставленные на произвол судьбы своими детьми, забытые Богом и властями старухи. Тотчас же, едва я принялся за работу, деревня приняла в моем воображении вполне конкретный и одновременно призрачно-мифологический, ирреальный облик.

Может быть, это был первый случай, когда я в самом деле писал наугад, не только не ведая, чем должна кончиться моя история, но и вовсе без всякой истории в голове, писал куда кривая вывезет. Приезжий — очевидно, писатель, и, надо думать, неудачливый — намерен произвести детальное исследование собственной жизни, написать автобиографию. Пробриться к правде, отшвырнув прочь всякую «поэзию». Вслед за этим потянулись мысли о литературе, о том, что литература втягивает в себя любые попытки дистанцироваться от нее, превращает действительность в прозу, автобиографию — в нарратацию. Повествующее «я» — уже не «я сам», незаметно для меня моя личность превратилась в материал, моя жизнь стала литературным текстом. (Я вернулся к этим мыслям позднее, занимаясь большой статьей «Дневник сочинителя».) Чтобы подчеркнуть эту двойственность, это перерождение «я» в автора, рассказ ведется то от первого, то от третьего лица.

Я читал книгу G. R. Hocke «Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten»*, листал дневники Андре Жида, делал заметки, в феврале начал писать, как уже сказано, вслепую. Рассуждения о писательстве грозили моему детищу внутриутробной смертью. Но мало-помалу появились и предъявили свои права действующие лица, возникла ситуация, обрисовалась тройная сцена: изба, деревня и заречная даль.

В этом романе существует несколько рядов кулис, как в театре, и дальний фон — вечная, как природа, русская история. Разумеется (как и в «Хронике N»), история легендарная. О ней напоминают, ее хранят национальные святые Борис и Глеб: то на иконе в избе, где обосновался писатель, то нищими слепцами с нимбами из картона, то на конях, с копьями, в княжеском одеянии. Ночной лейте-

* Г. Р. Гокке. Европейские дневники четырех столетий (нем.).

нант, который охотится за беглым кулаком, бывшим владельцем избы, готов стрелять в икону, но он сам тоже стал частью истории. К минувшему, где, как в костюмерной, каждый может выбрать подходящий наряд, к минувшему тянутся, как к убежищу, в нем хотя бы жить, действительность предстает скукой, запустением и кошмаром, из которых эмигрируют: одни, как мнимые помещики за рекой, в прошлый век, другие (приезжий) в словесность. Роман получился бурлескный, почти пародийный, роман-персифляж, но в нем постепенно выкристаллизовались кое-какие важные для меня представления. (Я написал также пьесу «по мотивам».)

Можно сказать иначе: эта деревня одновременно и действительность, и фантом. Как, впрочем, весь наш мир. Это довольно обычная деревня и вместе с тем морок, потустороннее царство, где навсегда остановилось время. Поэтому там все может происходить одновременно. Бывший и, видимо, репрессированный, давно и бесследно сгинувший хозяин хибары является ночью отстаивать свои права; бывшие помещики, которых можно считать и дачниками, благоденствуют в своем (бывшем) имении, а по окрестностям кочуют братья-рюриковичи, убитые в XI веке. Пятнадцатилетняя дочь помещиков не знает, как себя вести: то ли как современная девица, то ли как чеховская барышня. Дуэль как будто не настоящая, а между тем приезжий едва не убит. На празднике, одновременно престольном и советском, присутствуют все: и местный бюрократ, и неудачливый писатель, и его соперник — остзейский барон и патриот, изображающий из себя русского религиозного философа, и какой-то там старец, полумифический герой гражданской войны, и гэнэушники, которые охотятся за беглым кулаком, и сам этот так называемый кулак, и даже древнерусские святые.

Немецкая репродукция иконы XVI века с двумя всадниками на серебристом фоне, напоминающем лунную ночь, на конях, которые не скачут, а скорее танцуют, висит в моей комнате. Эти князья, как ни странно, все еще — по крайней мере для автора — живые фигуры русской истории и русской культурной традиции. В полумертвой деревне присутствует нечто вечное, присутствует история. В каком-то смысле она всегда одна и та же — как пейзаж, «далекое зрелище лесов». История — время, превратившееся в вечность.

Братья-мученики, о которых нельзя с уверенностью сказать, существуют ли они в земном смысле или только являются, как и положено святым, выражают ту многосмысленность, от которой я и не думаю отказываться, которая присуща всему сочинению. То они витязи в княжеских шапках, на призрачных танцующих конях, то спившиеся попрошайки, которые шатаются вокруг поместья, не то настоящего, не то воображаемого. Вот я и смотрю на них — на тех, кто висит на стене, и на тех, кто гарцует по лунному полю.

1991, 1998



«В начале было Слово»

ГЛАВА ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

Вспоминаю, как Ира, моя первая жена, дала мне прочесть, вернее прочитала сама вслух, смеляковскую «Любку Фейгельман». И все это была романтика — трижды выпущенный из отсидки Смеляков. (Устаревшее: тогда не сидели — каторжничали.) Любка, когда-то девочка «Бригады Маяковского», когда-то забывшая сидевшего и гулявшая с «транспортным студентом», а ныне Любовь Саввишна Руднева — друг музея Маяковского в Гендриковом переулке, где работала Ира. А после и музей убрали из Гендрикова, чтобы в памяти людской переместить Маяковского из орбиты бриковского мира в Лубянский проезд, где рождаются совсем иные эмоции. Кто ж знал, что перемещение географическое, так сказать, спасует перед неумолимым продвижением и события, и рождаемых им эмоций во времени? Не те эмоции возникают в местах нынешнего нахождения музея, и не те друзья у сегодняшнего музея. Не та, наверное, и Любовь Саввишна, которую я на днях видел на одной светско-творческой тусовке.

В Гендриков переулок, в те годы переулок Маяковского, я ходил на частые поэтические вечера, где впервые увидел и услышал Слуцкого, Самойлова, Ахмадулину, впервые услышал, как Смоленский читал переводы стихов Превера, — все было ново для нас. Встречал там и Любовь Саввишну — энергичную, активную, как мне вспоминается, любящую поставить на место кого-либо, нарушающего принятые ею каноны... может быть, быта, а может, и более широко понимаемые — я очень поверхностно тогда судил, по каким-то внешним признакам и проявлениям... Впрочем, не исключено, что не только тогда, не исключено, что недалеко я ушел от себя тогдашнего. (Вот ведь природа моя гадская — все изменилось, ведь только что написал, а себе лазейку оставил. Может, надеюсь выглядеть помоложе?)

Почему-то Любовь Саввишна все время заочно присутствовала в моей жизни: видел, слышал, а знаком не был — не представлен, так сказать.

Была у нас приятельница Кира Майорова, акушер, принимала не одного из детей моих друзей. Была она и давняя подруга Любви Саввишны, и от нее я часто слышал рассказы о героине этого моего воспоминания. Уж не помню, почему и к чему, но всплывает в моей памяти рассказ Киры, которая и жила тогда, и рассказывала все в высшей степени темпераментно. Вот и остались, я бы сказал, в ушах главным образом звуки ее рассказа, где основным был вскрик: «Любовь Саввишна родила!» Помню, как маму этот крик Киры смешил и она, похохатывая, часто пыталась его воспроизвести. Но лишь скажет: «Любовь...» — и начинает смеяться. Мне приходилось договаривать и объяснять, что мама хотела этим сказать. Между прочим, она и анекдоты так рассказывала. Я был и завершающим анекдот, и переводчиком, и интерпретатором, и рецензентом. «Любовь Саввишна родила!»

А вспоминаю я это совсем по другому поводу. Но, когда вспоминается, в мозгу возрождаются картины и события молодости и так хочется хоть немножко еще побыть в тепле (иль холоде) того своего состояния.

Когда мальчики мои были маленькими, снимали мы дачу в Переделкине. Бабушка, Нелина мама (Неля — вторая моя жена и тоже хороший, достойный человек, как и первая, как и ныне царствующая), ходила с мальчиками гулять к

интернату для старых большевиков. А Неля или я, а то и вместе, мы ходили в гости к нашим друзьям в Дом творчества писателей, в те дни там пребывающим. Летом всегда кто-нибудь из своих в том Доме отдыхал. Летом туда ездили в основном для отдыха, в другие сезоны — для работы. Впрочем, и летом сидеть за столом там было легче, чем при открытых окнах в душной, загазованной Москве.

Саша, старший сын, делился впечатлениями со мной: «У писателей написано: пи-са-ти-ли (!), а у большевиков: бу-фет». Правда, читать он еще не умел. Видно, суммировал разговоры.

Все наши знакомые — а их в Доме творчества бывало много — охотно занимались ребятами. Саша однажды у кого-то из курильщиков трубки попросил дать и ему подымить. Дали. Он, естественно, закашлялся — и вот ему уже почти тридцать лет, а не курит. Может, иммунизировался? Так сказать, прививка ослабленной культурой.

Миша, мой младший, вечно возился с какими-нибудь букашками, улитками, жучками, и все писатели дружно прогнозировали его биологическое будущее. А он вырос в компьютерщика, и от биолога у него осталась лишь любовь к своей кошке. Ребята были не больно громкие и особенно не досаждали какими-либо детскими писками и визгами отдыхающим или творящим на ниве советской литературы.

Однажды Неля с ребятами вернулась из Дома чуть раньше намеченного окончания прогулки. Бабушка стала сетовать, что они поторопились, а она еще ничего не приготовила детям поесть. Я ожидал обычную перепалку между ними. Однако Неля не обратила внимания на бабушкины претензии и упреки, а со смехом стала рассказывать, как вышла к ним некая пожилая дама (она и оказалась Любовью Саввишной) и стала отчитывать за то, что дети играют под окнами, шумят, что детей пускают сюда, в то время как в правилах Дома есть пункт, запрещающий жить здесь с детьми... Может, она и не ругалась, а лишь сетовала, но ее обычные активность и энергия, безусловно, должны были создать впечатление коммунальной брани. Не думаю, что внутри Любви Саввишны бушевало житейское неприятие нарушенного правила. Тем не менее все выглядело так. А когда гулявшие, сидевшие на скамеечках и в креслах творящие и члены их семей вступились за детей моих, а тем самым и за меня, гомоня о прелести и тишине мальчиков, расцвечивая и мои заслуги в деле борьбы с болезнями многих из здесь живущих, вызвав ее ответную реакцию, то и получился вариант квартирных несогласий. Неля благоразумно решила ретироваться от греха подальше со своим, нашим выводком. Уходя, она слышала, как Любовь Саввишна громко утверждала отсутствие в себе недугов и надобности в помощи, по крайней мере в обозримый ею промежуток времени до отъезда в город. Оппоненты же, защитники моей семьи, просили ее не зарекаться, ведь даже грядущий обед может обернуться грозной стороной... ну и так далее, что Нелю побудило лишь ускорить бегство с территории творящих нетленку.

Неля рассказывала со смехом, а мне все это было неприятно, так как привлекательность дачи для меня, ненавидящего дачный сезон, была лишь в общении с друзьями в этом Доме. Но дачу-то мы снимали из-за детей и уходить к друзьям, было как-то, я бы сказал, некорректно по отношению к семье.

Жди теперь, когда у Любви Саввишны закончится срок и она уедет в Москву. А может, она разбудила такие силы, что и другие, создающие там шедевры мировой словесности, начнут протестовать. Защита же меня поминанием моих лечебных потуг в этом мире звучала все равно, как попреки хлебом в иных ситуациях. К тому же нельзя говорить о возможных впереди недугах у кого-то. Слово опасно — оно порой материализуется в дело. Ведь и впрямь: «В начале было Слово». В общем, я расстроился и, как всегда несправедливо в таких случаях, но закономерно, обрушился на детей и Нелю.

Наконец мы все уgomонились и даже успели пообедать, как вдруг из Дома, откуда пару часов назад был уведен мой генофонд, прибежали гонцы...

С одной стороны, конечно, смешно, с другой — безусловно, и страшно.

Во время обеда у Любви Саввишны застряла кость в горле! Какая кость?! Как понять? Не розыгрыш ли это? Просят меня туда пойти. Я был несколько озадачен, даже сказал бы, скандализован ситуацией. Ясно, что должен пойти и помочь, но как это будет выглядеть? Любви Саввишне, если это правда, а не розыгрыш, не до размышлений об удобствах и неудобствах, а мне какво? Будто бы я наслал... виноват... Короче, целый фонтан в голове неуместных и диких предположений и мыслей. Как быть?!

Розыгрыш не розыгрыш, а я обязан идти. И пусть над нами посмеются, а выхода другого для меня нет. Да тут не только моральные проблемы, вроде и в Уголовном кодексе есть статья о неоказании помощи врачом.

В сумке у меня фонендоскоп, аппарат для измерения давления, стерильные иголки с ниткой, зажим, пинцет... Зачем? Да так, на всякий случай — вот на днях зашил порезанную ногу ребенку из нашего подъезда...

Пришел в Дом творчества. Встречает меня медсестра и ведет в комнату Любви Саввишны. А народу вокруг — сидят, улыбаются. Чего смешного-то! Или действительно розыгрыш? Хорош я буду, явившись к Любви Саввишне. Она решит, что я пришел склочничать из-за детей. Но ведет меня медицинский работник — иду. Обреченно иду. А может, все же правда?

Любовь Саввишна сидит в кресле с полуоткрытым ртом и выпученными глазами, засыпанными страхом. Сказать ничего не в состоянии, лишь что-то мычит и, по-видимому, жестами пытается изобразить нечто извиняющееся. Да нет, это мне чудится. Я-то весь в этой проблеме, а она, может, и не думает о подобной ерунде.

Любовь Саввишна открыла рот, и я увидел воткнувшуюся в миндалину рыбью кость. Всего-то!

Взял пинцет и легко вытащил косточку, показал ей и положил в пепельницу.

Сейчас главное — побыстрее уйти.

Она пыталась что-то сказать, но я приложил палец к ее рту:

— С полчаса ничего не говорите, помолчите!

Это совсем не обязательно. Но ей сейчас что-то говорить, а мне выслушивать... Обоим неудобно. Да и сбросят слова мою божескую помощь. Как там в «Празднике святого Иоргена»: «В профессии святого главное — вовремя смяться».

Я ушел так, чтобы и ожидающие меня внизу, у выхода, не заметили.

Удрал. Она потом приходила к нам на дачу — то ли извиняться, то ли благодарить. Меня не было. Будний день — я находился у себя в больнице.

Прошло много лет. Дети выросли. На днях я встретил Любовь Саввишну на упомянутой уже тусовке. Она меня, по-видимому, не узнала. А я, в свою очередь, никак не обозначился.



Александр СЕКАЦКИЙ

Искусство и диверсия

На первый взгляд нет более противоположных в метафизическом смысле фигур, чем фигуры художника и шпиона. Пока один скрывается под чужим именем и конспирируется, другой изо всех сил добивается признания, взыскует бытия-в-признанности, вдыхает приятно щекочущий ноздри дым жертвенных костров, тучнея от воскурений фимиама и обращаясь в голодный дух от их отсутствия.

Кажется, что лучший способ выманить из укрытия агента Dasein*, заброшенного в мир,— заманить его на площадку для авторствования, и этот незримый пьедестал заставит раскрыться, выложить все до последнего: куда там детектору лжи... В самом деле, с какого-то момента установка на искренность приобретает статус онтологической принудительности: художник обнаруживает себя невольником искренности — в том же примерно смысле, в каком космонавт становится пленником невесомости. Художник дает показания самозабвенно, без утайки, повинуюсь культу искренности и в то же время следуя эталонным текстам, выступающим в роли инструкций. Деррида, например, отмечает парадигмальную в этом отношении роль литературного поведения Руссо**.

Первоначальное требование, предъявляемое автору и теперь уже прочно забытое, звучало так: расскажи мне обо мне. Рыцарь слушал песню скальда о своих подвигах и за это разрешал певцу присутствовать на пиру, мед-пиво пить. Поскольку душевные тайники рассказчика никого не интересовали, не было и смысла утрудить себя запоминанием его имени. В исторической памяти оставались скорее прозвища исполнителей социального заказа: Вещун, Баян, Слепой, Хромой, Убогий. Однако выслушивание историй не проходит даром — повествование завораживает и требует продолжения. Ангажированный художник, чувствуя зачарованность слушателей, незаметно подменяет тему и начинает петь другую песню, единственную, которую он может петь бесконечно. Лейтмотив ее таков: расскажу вам о себе...

В этом новом тематическом горизонте формируются некоторые аксиомы искусства, действующие и по сей день. Такие категории авторствования, как «самовыражение», «аутентичность», «подлинность», имеют смысл лишь в рамках установки «расскажи мне о себе», но зато здесь они действуют с необходимостью, принуждая к тотальности самораскрытия, к признанию во всех совершенных грехах, а паче таких не окажется или окажется слишком мало, то и в грехах вымышленных.

Совершенная, а затем и санкционированная практикой текстопроизводства подмена резко повышает притягательность авторствования. Однако смена лейтмотива не обходится без превратности бытия: в то время как художник самозабвенно рассказывает о себе, внимающий ему столь же самозабвенно слушает о себе. Можно сказать, что происходит обмен обманом, благодаря чему и устанавливается момент истины. С другой стороны, мы имеем дело с парадоксом (трудно определить, с парадоксом искусства или с парадоксом субъекта): чем подробнее «донесение», описывающее тайники собственной души, тем больше шансов, что Другой опознает в нем себя. Вовсе не «обобщение», а именно яркость отпечатка, достигаемая в произведении, делает возможным кратчайший переход из одного Я-присутствия в другое.

Общие места ничего не сообщают обо мне, они просто *сообщают*, т. е. сводят уникальное к общему, к анонимному и ничейному, описывая в лучшем случае чер-

* Термин Хайдеггера, обозначающий «подлинное-во-мне». (Здесь и далее примечания автора.)

** См.: Derrida J. On Grammatology. N. Y., 1980.

ный плащ и маску, а не скрывающегося под ними шпиона: речь идет скорее о совершенствовании камуфляжа. Но, с другой стороны, стойкий интерес к собственному внутреннему миру как предмету познания отнюдь не является чем-то самоочевидным. Первичная (естественная) установка слушателя имеет прямо противоположную направленность: уйти от себя, заблудиться в виртуальной реальности. Именно для этого читатель вступает на тропинку затейливого сюжета, устремляясь по траектории приключения; для этого он оплачивает услуги поводыря (первой формой оплаты служит внимание слушающего), делегируя другому (рассказчику, художнику) функцию проводника, сталкера воображения.

Увы, наступает час расплаты за безоговорочное доверие наемному проводнику. Ибо в каждом настоящем художнике дремлет Иван Сусанин: используя эффект очарованности, увлеченности повествованием, художник незаметно сворачивает с тропинки воображения-для-другого и заводит всех внимающих ему в болото своего внутреннего мира. По этому болоту он способен бродить дольше, чем Моисей по пустыне, ведь его задача — адаптировать всех внимающих ему к вязкой и хлоплюющей среде обитания, внедрить ее топографию как карту «духовной родины». Тут параллель со шпионом напрашивается сама собой, нет более точного термина описания происходящего, чем *вербовка*. Не-искушенный читатель, который не дал себя заворочить, загипнотизировать, уговорить, оплачивает только товарную форму услуг проводника — детектив, триллер, *fantasy*, но поддавшийся *искусу* (искусству), увязает в искренности, в сложной игре узнаваний и неузнаваний. Речь вербовщика двоится, мерцает между полюсами «обо мне» и «о себе», и под это маскирующее мерцание осуществляется имплантация текста, содержащего Я-присутствие автора; каждая успешная пересадка закрепляет имя донора в памяти реципиента, свежезвербованного агента влияния.

Подобная операция, назовем ее «инъекция-через-откровение», носит универсальный характер с момента обретения особой, исповедальной позиции автора — и традиция идет по крайней мере от Блаженного Августина. Возможно, современный художник мог бы по-своему интерпретировать, в чем, собственно, состояло «блаженство» Блаженного Августина, связывая смысл этого состояния со сладостью публичной исповеди, самопрезентации пред лицом внимающей публики. В этом прогрессирующем ряду вполне могли *блаженствовать* Руссо и маркиз де Сад, Андре Жид, Жан Жене, Эдичка Лимонов, представляя на публичный суд свою «исповедь», осущестляя инъекцию-через-откровение.

Отсюда видно, что было бы ошибкой интерпретировать специфически культивируемую искренность публичного самоотчета как чистосердечное признание или явку с повинной. Диалектика откровения и утаивания по глубине рефлексивного счета превосходит диалектику господина и раба*. Оставим пока вопрос о вербовке агентов влияния и посмотрим на проблему с другой стороны. Вот автор пишет текст, мечтая о его максимальном тиражировании, предвкусывая наслаждение и озадаченность читателей: ему не хотелось бы упустить ни одного из них, ведь каждый равнодушно скользкий взор оставляет рану на чувствительном органе авторствования... Однако стоит лишь ощутить взгляд через плечо, и сразу же срабатывает инстинктивное движение: прикрыть рукой написанное. В этом случае автор действует как шпион, застигнутый за составлением шифровки, причем важно отметить, что «обыкновенное шпионское» срабатывает в нем раньше, чем «обыкновенное авторское». Происходит контаминация двух типов реагирования, из которых первый оказывается более древним.

Не исключено, что данная заминка отсылает нас к тайне происхождения письменности. Письменность успешно применяется для распространения знаний — что, однако, вовсе не исключает прямо противоположную цель ее изобретения. Речь могла идти о необходимости *утаить* нечто, например, затруднить доступ профанов к сакральным смыслам. Первые грамотеи были совсем не популяризаторами знаний, а скорее шифровальщиками. В творчестве художника обнаруживаются осколки и других практик утаивания, противоречащие внешней установке на самораскрытие.

При ближайшем рассмотрении «полной откровенности» в ней легко обнаруживаются элементы камуфляжа; они сгущаются до уровня агентурного прикрытия (шпионской легенды), если речь заходит о псевдониме. Псевдоним как фигура сокрытия отличается многими странностями. Начнем с того, что установить имя скры-

* Диалектика взаимоотношений господина и раба подробно анализируется в работе Гегеля «Феноменология духа» и принадлежит к числу наиболее популярных философских сюжетов.

вающегося под псевдонимом не так уж и сложно. Чаще всего автор рано или поздно дезавуирует себя сам, сознается в содеянном, не испытывая ни малейшего раскаяния; тем более странно, для чего нужны эти детские прятки? Кто же все-таки скрывается под псевдонимом?

Или, если спросить более радикально, в духе Хайдеггера: отвечает ли скрывающийся под псевдонимом на вопрос «кто?». Прячется ли под этой завесой субъект или нечто в субъекте? Странности нарастают, если предположить, что утаивается «действительная личность» автора, «мое единственное неповторимое Я», говоря словами Бахтина. Ведь диапазон авторствования как раз и представляет собой избранную и санкционированную частоту для выхода в эфир. Действуя как художник, под грифом «искусство», агент Dasein теряет обычную осторожность, именно здесь он *выходит на связь*. За пределами канала авторствования непроницаемость внутреннего мира сохраняется, агент соблюдает конспирацию и остается «сам себе хитрым». Искусство же, будучи с некоторых пор синонимом самораскрытия, предоставляет художнику уникальную возможность *осчастливить собой человечество*. Что, несомненно, относится к категории сладчайшего. И если тем не менее художник прикидывается кем-то другим, ясно, что прежде всего им движет неуверенность в успехе своей миссии.

Речь идет о страхе шпиона перед разоблачением, о пугающем отключении передатчика за «радиохулиганство», за незаконный выход на заповедную частоту вещания, которой пользуются «настоящие» авторы, признанные в качестве таковых.

Похоже, что псевдоним дает возможность (как, впрочем, и другие формы мистификации) делать безнаказанно нечто такое, что может быть расценено как *диверсия*. У нас наконец появляются веские основания предположить, что миссия художника содержит в себе подрывную задачу, усиливающуюся по мере осуществления миссии, по мере того как авторствующее-во-мне начало поглощает все прочее, слишком человеческое, бытийствующее во мне и через меня. Если творческий порыв, которым одержим художник, не корректируется ничем, кроме самораскрытия (самозадания), в произведении неизбежно вкладывается энергия разрушения, прямо пропорциональная «творческой мощи» автора. Для обнаружения *диверсионно-подрывных элементов* миссии художника нет нужды обращаться к авторам, призывающим катастрофу «открытым текстом»: оставим пока в стороне де Сада, Маркса, Арто и Малевича. Обратимся хотя бы к утописту Шарлю Фурье, строителю социального мира, оставившему подробное описание земледельческих ассоциаций и некоторых других рецептов счастья. Его основная книга, незатейливо называющаяся «Судьбы мира и человечества», преисполнена заботой о благе людей, но вся ее энергетическая часть дышит яростью и гневом в адрес философов, ученых, социальных мыслителей — всех, кто так или иначе может быть заподозрен в умалении идей автора. Вот лишь один из пассажей, содержащихся во введении: «В ходе этого чтения следует принимать во внимание, что, поскольку сделанное мной открытие само по себе более важно, чем все научные работы, сделанные с тех пор как существует род человеческий, один лишь спор должен отныне занимать людей периода цивилизации: это спор с целью удостовериться, действительно ли я открыл теорию четырех движений; ибо в случае подтверждения следует бросить в огонь все политические, моральные и экономические теории и готовиться к самому изумительному, самому счастливому событию, какое может иметь место на этом земном шаре и на всех планетах»*.

Итак, побочным или, лучше сказать, скрытым намерением текста оказывается предание огню всех предшествующих теорий. Предъявляемая книга, имея вид инструкции по переустройству, содержит в себе разрушительный заряд, который и должен сработать в случае «разворачивания обертки», т. е. в случае успешного осуществления *миссии художника* (автора) — некоего секретного задания свыше. Аналогичные подрывные мотивы обнаруживаются во всяком *самозабвенно* созданном произведении. Русский философ Николай Федоров, воссоздавая проект Общего Дела, детально расписывает программу суммирования творческих усилий для воскрешения отцов, однако его упреки ученому сословию весьма далеки от кротости. Эти проектировщики бездельшек выступают для него как главные враги, если они и будут воскрешены, то, несомненно, в последнюю очередь.

Допустим, что соответствующие установки Федорова и Фурье могут быть списаны на маргинальность их авторов по отношению к академическим кругам. Но вот Ницше, блестящий ученый, самый молодой профессор классической филологии в Германии. Его презрение к коллегам приобретает фантастические размеры. За при-

* Фурье Ш. Избранные сочинения в 3-х тт. М.—Л., 1951. Т. 1, сс. 85—86.

зывает к «переоценке ценностей» стоит программная установка, которая в ряде случаев прочитывается открытым текстом: отмена, дискредитация максимального числа «прежде меня написанных» работ, тотальное прореживание ноосферы. Начиная с «Рождения трагедии из духа музыки», т. е. с момента обретения полноты голоса, Ницше ведет себя как кукушонок, вылупившийся из яйца в чужом гнезде: он вытаскивает из гнезда своих сводных братьев и оставшуюся кладку яиц. Сравнение с биологией, конечно, приблизительно, но отнюдь не направлено против Ницше. Напротив, перед нами предстает отличительная черта повадки гения, *differentia specifica* «сильного художника» (в терминологии Х. Блума). Только сильный художник, сумевший воспользоваться всей полнотой творческой энергетике, может выйти за пределы силового поля промежуточных аттракторов, преодолеть сладость растущего индекса цитирования, вырваться из сетей признательности и признанности.

Сразу же вслед за этим начинается поле действия куда более мощного искушения: укусить руку дающего, срубить сук, на котором сидят вскормившие тебя (и ты сам, разумеется). Программа «Delete!» вступает в действие после того, как первая часть миссии художника (законспирироваться в качестве признанного автора) успешно выполнена.

Уже почти с самого начала высший инстинкт художника направляется на искоренение чужих влияний — как в себе, так и вокруг себя. Диверсионная миссия художника, особенно на последнем этапе признанной гениальности, не ограничивается развоплощением произведений соперников-соратников, целью является вся среда обитания — «живопись как таковая» для художника, «литература вообще» для писателя. Лев Толстой, к примеру, в поздний период своего творчества потратил немало сил для разоблачения бессмысленности такого занятия, как «водить пером по бумаге».

Конфликт между самоохранительной интенцией автора и тем важнейшим файлом программы-миссии, в котором записана команда «уничтожить!», носит многоплановый характер. В общих чертах тенденция «сбережения и приумножения» связана со слабым потенциалом авторствования, с ролью популяризатора, просветителя или «специалиста по...». Поскольку бытие вторичных авторов в культуре несамостоятельно и всецело зависит от гения, бесстрашно осуществляющего диверсию, т. е. от признанного классика, мелкоавторствующие субъекты (специалисты по...), делают ставку на некую уже исполненную миссию, стараясь вписаться в хвост кометы, — они прекрасно знают, что в космических перемещениях кометам свойственно влечь за собой хвост*.

Великие диверсанты числятся в созидателях главным образом потому, что исследователи и последователи обеспечивают им надежное прикрытие: как уже было сказано, эпигоны просто не в состоянии представить себе иную мотивацию, чем получение ячейки для вечного хранения вклада, рядом с другими ячейками, время от времени подлежащими инвентаризации. Только воистину самозабвенный художник, диверсант и кукушкин сын, добирается до секретной миссии — опустошить среду обитания! Такого рода приказ, или властный зов, воспринимается изнутри как призывание и упаковывается в фигуру соблазна, в произведение. Произведение «потрясет» в случае точного попадания, разрушая прежние представления о мире.

По мере нарастания могущества и обретения власти (речь идет о самой сладостной власти — над душами других) позывные Танатоса усиливаются, подрывная миссия обесмысливания направляется на все более крупные, стратегические цели, вплоть до самого мироздания. Неотвратимость зова** лимитируется только постепенным изнашиванием телесно-психического носителя, в котором обитает и авторствует агент воли-к-произведению. Далее возможны разные варианты происходящего. Например, художник, переживший свое акме, совершает явку с повинной: Хайдеггер пишет «Лесные тропки», Гоголь сжигает рукопись пресловутого второго тома... Они, разумеется, получают помилование, поскольку все это на руку сословию интерпретаторов, определяющих внешний облик культуры. Поэтому и существует

* Скажем, академическая философия в современной России занята кропотливым воссозданием философии русского Серебряного века, и под внешней вывеской чисто исследовательской задачи просвечивает надежда получить свою долю признанности. Поэтому для популяризаторов и просветителей «умное делание» (собираение по крохам) представляется естественной установкой бытия в культуре, позывные Танатоса им просто не слышны — и, стало быть, совершенно недостоверны.

** Внутренний отчет об исполнении команды хорошо передан Арсением Тарковским:

Взглянули бы, как я под током бьюсь
и гнусь, как язь в руках у рыбакова,
когда я перевоплощаюсь в слово.

«щадающее» правило (совершенно нелепое), согласно которому именно последнее произведение признается наиболее аутентичным.

Другой возможный исход миссии связан с тем, что высвобождаемая разрушительная энергия направлена во все стороны, в том числе и на самого миссионера-посланца. Можно лишь констатировать наличие некой точки перегиба, после прохождения которой в дело вступает мотивация высшего порядка.

В качестве иллюстрации можно взять эпизод из «Старика Хоттабыча», который Л. Лагин заимствовал у Сэмюэля Батлера, а тот, в свою очередь, — из арабской и индийской сказочных традиций. Братья Хоттабы заточены в кувшины и брошены в глубины вод — их можно рассматривать как агентов воли-к-произведению, жаждущих воплотиться в тексты и овладеть душами и телами «потребителей» текста. Выход из нереализованности требует какого-нибудь посула — ведь так просто никто не согласится выпустить джинна на волю. Мелкие обещания не срабатывают, заточение продолжается, отчаяние голодных духов нарастает. Узники дают клятву исполнять любые желания того, кто их освободит, и одному из них это помогает — предложение (искушение) принимается. Но Омар Юсуф-ибн-Хоттаб остается в заточении, и тогда джинн прибегает к последнему средству. Он клянется умертвить лютой смертью всякого, кто выпустит его на волю, и обретает наконец долгожданное освобождение.

Так и художник, ангажируемый вербовщиками всех рангов, способен сохранять невозмутимость, верность смутно ощущаемому призванию, пока не дойдет до самых глубин, где становятся явственно слышны позывные — неодолимый зов, попадающий в резонанс собственным частотам призванности. Неотвратимое погружение в бездну воспринимается мелководной рыбешкой как необъяснимая причуда глубоководных удильщиков. Для автора, согласного на любую востребованность, на самую малую толику фимиама, сам мотив непостижим. Между тем природа недоумения точно такая же, что и в случае мирных бургеров, застигнутых врасплох произволом властелина, совершающего *абсолютно иррациональные* поступки, явным образом вредящие и государству, и самому властителю. При отчетливом различии причин просматривается параллелизм следствий между властью над душами, даруемой искусством, и прямой властью над социальным телом. И в том, и в другом случаях срабатывает метаперсональная диверсионная инструкция. Так же как и зачарованность «слушающих тебя», трепет и любовь подданных*, достигая определенной плотности, растапливают последнюю печать и высвобождают джинна, отвечающего за финальный участок траектории бытия-в-признанности. Привлекая философскую традицию Хабада, можно говорить о «разбиении сосудов», происходящем в тот момент, когда самопричинение лишается внешних помех (сдерживающих факторов)**. Как только давление на стенки сосуда, т. е. сумма неблагоприятных обстоятельств, падает до критической точки, оболочка лопается и содержимое сосуда изливается в мир — предьявляется к проживанию. Возникает специфическая одержимость неким самодостаточным смыслом, который в обычных условиях, под давлением человекообразности остается нереализованным и невостребованным. Попустительство «откачивает» излишнее давление, провоцируя витрификацию змеиного яйца: семя Танатоса набухает, и наконец начинается его безудержное прорастание в горизонтах души. Субъект, в душе которого свершилось разбиение, как бы перерождается, и это новое рождение невозможно без «приемных родителей»: без покорных подданных или зачарованной, покоренной публики, готовой закрыть глаза на все причуды гения.

За примерами из области политики далеко ходить не надо. Тут и Иван Грозный, и пресловутые сталинские чистки, превосходящие все мыслимые рамки «целерационального действия»***, Нерон, поджигатель Рима, Пол Пот, уничтоживший треть своего народа, людоед Бокасса, президент, а затем император Центрально-Африканской империи и др. Если для каждого случая в отдельности и можно придумать

* Различия между любовью и трепетом в данном случае несущественны. Самосознание абсолютного властителя рано или поздно приводит к открытию известного принципа: пусть боится, лишь бы любили...

** Концепция «разбиения сосудов» подробно разработана в диалектике Исаака Лурия и успешно применена Хэрлодом Блумом в ряде его работ. См., напр.: Bloom H. Kabbalah and Criticism. N. Y., 1975. См. также: Ниссан Миндель. Философия Хабада. Вильнюс, 1990.

*** См.: М. Вебер. Избранные произведения. М., 1992. Веберовская целерациональность является типичной категорией «среднего масштаба». Если любое историческое событие рассмотреть под микроскопом (взять крупный план), мы увидим, как причинная связка начинает раздваиваться и вообще расходиться по швам. Аналогичным образом дело обстоит и при переходе к самым общим планам.

рациональную (чаще квазирациональную) объяснительную стратегию, то для обрисовки явления в целом ни одна из них не годится. Здесь скорее подойдет образ кольца всевластия из «Властелина Колец» Дж. Толкиена. Это кольцо похоже на чеку гранаты: стоит заполучить его и срабатывает детонатор, разбивающий сосуд и запускающий диверсионную миссию.

Обладатель кольца, в свою очередь, становится обладаемым (одержимым), причем самоинъекция из взорвавшейся ампулы сопоставима с эффектом наркотической эйфории и вдобавок обладает непрерывностью действия, а также неодолимостью, превышающей размеры психофизического носителя. Здесь следует отметить существенную разницу между властью как прямой санкцией социума и магической властью, обретаемой под воздействием силы искусства. Художник — это тот, у кого сосуд уже изначально дает утечку: через ауру одержимости (вдохновение) капли эссенции проникают в моду авторствования.

Поэтому, если вообще можно говорить о существовании у человечества охранительных инстинктов, самый полезный из них следует сформулировать так: не подпускать художника близко к власти. Поскольку, однако, человеческая природа характеризуется именно расшатанностью инстинктов, то периодически не срабатывает и этот — художник или поэт оказываются вдруг во главе государства. И горе той стране, где подобное происходит*.

Борис Гройс, исследуя природу художественных авангардов, пишет: «Общая форма любого авангарда выражена в девизе: «Так дальше жить нельзя». Причем этот запрет абсолютно иррационален. Ясно, что так дальше жить можно. Высказывание абсурдно и представляет акт самотабуирования, не имеющий под собой никакой базы, кроме чисто эстетической... Мы становимся художниками, когда мы действуем против своего вкуса, когда мы фрустрируем сами себя, то есть когда осуществляем аскетическую практику»**.

Эта практика интенционально противоположна мирозозидающей практике Бога. Концентрированная воля художника принципиально направлена против мира стабильных форм, тех самых, о которых было сказано: «Хорошо всема». Гений должен произвести предварительную «зачистку местности», опрокинуть чужие или вообще заставаемые смыслопостроения, заполнившие музеи, университеты, библиотеки... В принципе «Черный квадрат» Малевича может быть истолкован как выжженная земля, результат исполнения сокровенного чаяния (диверсионной миссии) — как раз в духе того, о чем писал Фурье: следует бросить в огонь все политические, моральные и экономические теории (т. е. «созданные до меня»). Близость эстетики и политики на этом участке становится очевидной; более того, эстетика, при ее радикальном продумывании, претендует на роль главенствующей социально-политической науки. Тот же Гройс делает вполне обоснованный вывод о сущностном родстве сталинского социализма и художественной практики русского авангарда*** — развитая социалистическая действительность есть лучшее постановочное решение для инсценировки «Черного квадрата» в театре истории.

Только когда высокое искусство удается удерживать на высоте, т. е. достаточном удалении от реальной повседневности, только тогда проникающие в него агенты Танатоса, подрывая основы, не достигают глубин слишком человеческого. Ибо культура в ее автономности изначально устроена так, чтобы использовать энергию удара для поддержания и даже наращивания собственной мощи (это хорошо понимал Ницше). Отголоски взрывной волны лишь приятно щекочут нервы тех, кто ведет укорененное, *приземленное* существование.

Вариант, ограничивающий активность гения-миссионера сферой символического, несомненно, наиболее благоприятный для того, чтобы все человеческое продолжало быть. Он предполагает устойчивость к соблазнению, некий иммунитет, здоровую невменяемость демоса по отношению к агентам-вербовщикам. Примерами такой стойкости к арт-обработке могут служить греческая и англосаксонская цивилизации.

Напротив, цивилизации, не сумевшие выработать иммунитет к искусству искусства, вынуждены расплачиваться периодическим крушением устоев. Можно сказать, что общество, в котором «поэт есть больше, чем поэт», страдает врожденным имму-

* Случаи Шикльгрубера и Джугашвили относятся к числу самых известных. По мнению Андрея Битова, если бы Чавчавадзе не раскритиковал начинающего поэта, мы имели бы одним тираном меньше и одним графоманом больше.

** Гройс Б. Что такое современное искусство. «Митин журнал». СПб., 1997, № 54, сс. 160—161.

*** См. работу «Стиль Сталин» в книге: Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1995.

нодефицитом по отношению к высоким соблазнам. Нет большого легковерия, чем každодневная вера в то, что так больше жить нельзя.

Пример России, один из самых печальных (хотя, конечно, можно было бы обратиться и к Германии), показывает: с того момента, как возникает паразитарный симбиоз искусства и социальной действительности, метаперсональные диверсии, сотрясающие сферу символического, начинают напрямую производить разрушения в социальном теле. Последователи Белинского и Добролюбова — революционеры-демократы, народовольцы-террористы, народники, социал-демократы, авангардисты, большевики, пролеткультовцы — являют собой лазутчиков, завербованных высоким искусством и заброшенных в Weltlauf*. Их миссия — пронести взрывной заряд в гущу повседневности, туда, где детонация будет иметь наибольшие разрушительные последствия.

Не от художника зависит, куда упадет капля яда и где произойдет детонация. Змея стремится ужалить в самое уязвимое место, и все же опытный змеелов не уничтожит ее, а будет надлежащим образом держать на расстоянии вытянутой руки, чтобы яд-фармакон попал в прозрачную склянку, в среду *символического*. Ибо в этой склянке сам собой приготавливается алхимический эликсир, нескончаемый источник жизненной силы змеелова.

Существует ряд правил, которые могут быть закреплены в культуре, пронизанной авторствованием, только путем многих проб и ошибок. Во-первых, художник не может быть сам себе змееловом и даже воздержание от соблазна малых сих есть для него труднейшее. Во-вторых, чрезвычайно важно наличие герметичных перегородок между искусством и действительностью. Наконец, исторически должна сложиться правильная дозировка при потреблении фармакона, при том, что некоторое число «злоупотребляющих» останется всегда.

Обратимся теперь к жанру перформанса, который в силу своих специфических особенностей является детектором подрывной миссии художника. Если искусство в целом предстает как лаборатория власти (и наоборот), то перформанс можно назвать демонстрационным стендом лаборатории.

Попробуем сравнить перформанс с производением в традиционном смысле этого слова. Разрушительная энергия, стянутая в жгут произведения, высвобождается медленно, по мере того как происходит востребование текста.

Число обитателей миража, контуры которого очерчены моим пером (кистью, кинокамерой), множится, пока мираж не отвердевает до состояния хорошо различимого объекта — и тут он, в свою очередь, становится целью для других диверсантов. Ибо смысл *следующих произведений* — остановить распространение взрывной волны от предыдущих. Искусство разворачивается как фатальная стратегия**, для которой не существует состояния покоя: гибельные последствия искусства устраняются только новым искусством. Прогрессирующая материализация химер пресекается свежими предложениями соблазна.

Представим себе, что гений распознаваем по мощности взрывной волны, по той отчетливости позывных Танатоса, которые он сумел выделить из гула бытия. Пусть это будет, например, Гете, предъявивший к проживанию «комплекс Вертера» и тем самым подтолкнувший к самоубийству сотню-другую возвышенных юношей Германии (и не только Германии)***. Можно предположить, что диверсия закончилась просто по факту «выгорания» взрывчатого материала, но даже и в этом случае хи-

* Термин Хайдеггера, обозначающий обыденное существование в отличие от «подлинного бытия».

** См.: Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М., 1967. См. также: Baudrillard J. The Precession of Simulacra. in: Art after Modernism: Rethinking Representation. N. Y., 1984.

*** Феномен «Вертера» анализируется в ряде работ. См., напр.: Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. М., 1973. Пример Гете хорош прежде всего тем, что отчетливо демонстрирует зависимость мощности взрывной волны исключительно от *силы искусства*, а вовсе не от содержания вложенных призывов. Неистовому маркизу де Саду и не снилась диверсия такой эффективности, которую осуществил несуетный олимпиец Гете. Еще более «мирный» Карамзин, написав «Бедную Лизу», тоже удостоился высокой чести провокатора-диверсанта (в этом случае следует, правда, учитывать особую неискренность аудитории). К пруду, где по описанию утонула Лиза, несколько лет не зарастала народная тропа, что вызвало даже появление эпиграммы:

Здесь бросилась в пруд Эрастава невеста —
Топитесь, девушки, — в пруду довольно места.

мера сохраняла бы жизнеспособность (способность к новым возгораниям), если бы следующие порции соблазна не дезавуировали ее, просачиваясь из сферы символического. Призрак по имени Вертер был вытеснен Чайльд-Гарольдом, а затем и другими призраками, изначально ориентированными на подавление и уничтожение друг друга. С момента появления модуса индивидуального авторствования искусство обречено на то, чтобы тушить пожар встречным пожаром, — в противном случае пламя вырывается за пределы символического, превращая в пепел близлежащие окрестности социального.

Именно в «шпионологическом» измерении имеет смысл отделить перформанс от произведения — во всех прочих отношениях перформанс есть такое же произведение, как книга, коллаж или, например, спектакль. Существует странная корреляция по времени между различными типами воздействия соблазна, именуемого искусством. Воздействуя как оружие массового поражения, искусство может добиться внешне впечатляющего, но очень кратковременного эффекта. Скажем, разрушительная энергия, высвобождаемая рок-концертом, выплескивается в деструктивную работу присутствующих, получивших заряд (или, если угодно, разряд). Результатом такой работы могут быть сломанные скамейки, выбитые зубы и прочие пустяки — одержимость схлынет через пару часов и рассеется без следа. Только примененное в качестве оружия индивидуального поражения, через персональный искус, искусство приносит желаемый (диверсантом) результат, поражая воображение, не ограничиваясь слоем внешней аффектации. Поэтому гений тщательно упаковывает соблазн — не распыляя заряд подрывной миссии на дымовую завесу.

Однако по этой же самой причине результаты его вдохновенного труда отодвинуты во времени и лишены наглядности; художник, соприсутствуя в «Вертерах» и «Заратустрах», не получает возвратного резонанса, сравнимого с трепетом герильера, наблюдающего из укрытия, как взлетает на воздух заминированный им автомобиль. Перформанс как раз и позволяет соединить в реальном времени разбросанные по разным краям миссии существенные моменты самораскрытия. Повеление «смотри на мир моими глазами» предьявляется почти открытым текстом, без блестящего фантика и сладкой оболочки. Перформанс расщепляет волю к власти, выделяя из нее атомарный кристаллик воли к причинению наслаждения, т. е. стремление перепричинить наслаждение другого на себя, включая сюда и переадресовку клятвы Омара Юсуфа-ибн-Хоттаба... Участие художника в таком акте есть самодостаточная цель.

Вопрос же стоит так: какова природа получаемого взамен эквивалента? Какой тип присвоения возмещает пресловутую само-отдачу художника? Когда миссия художника осуществляется традиционным образом, через длинную траекторию произведения, извлекаемое им воздаяние подвергается наибольшему камуфляжу. Например, платятся какие-то деньги, но они в этом случае не выполняют роль эквивалента (существует расхожая формула, утверждающая, что «произведение искусства бесценно»). Ясно, что прекращение финансовых дотаций не в состоянии остановить миссию художника, — подтверждений тому в истории сколько угодно. С другой стороны, даже самые высокие гонорары не оказывают значительного влияния на содержание миссии. Имманентной валютой, имеющей неограниченное хождение в банковской сети «вкладов в культуру», является так называемый фимиам — специфическая форма вознаграждения, включающая в себя известность, признанность, почтительное внимание, но главное — явственные признаки зачарованности аудитории, важнейшие компоненты амброзии, потребляемой небожителями. Перформанс позволяет извлечь эту летучую субстанцию в рафинированном виде. Имитируя магическую процедуру околдовывания, художник обращает присутствующих в орудие своей воли или транслируемой свыше силы (по крайней мере такова его сверхзадача).

Чаще всего уничтожение вещей в процессе перформанса осуществляется буквально: разрываются, сжигаются, ломаются заранее припасенные «заготовки», представляющие собой реальные произведения или символические репрезентации «высокого искусства» (точнее, «вашего искусства»). Но если даже буквальной деструкции не происходит, все равно идет негативная работа обесмысливания, стирания файлов, подготавливающая *tabula rasa* для нового смыслополагания.

Аудитория предстает как коллективное мазохистское тело, сладострастно проглатывающее оскорбления. Если это тело не отхлещет плетью по чувствительным нервам, событие перформанса не состоится, таковы законы квазиэротического резонанса на кратчайшей дистанции. Следует помнить, что перформанс — это всегда антистриптиз, даже если художник раздевается догола. Игры здесь ведутся не с Эросом, а с Танатосом. И если производители сексуального соблазна легко обменивают

свой товар на деньги (поэтому порноиндустрия вписана в высокоразвитое товарное обращение), то заклинатели, сумевшие извлечь музыку гибели из связи «влечение-к-смерти», потребляют свой продукт сами ввиду его исключительной энергетической ценности, т. е. степени чувственно-сверхчувственного потрясения.

Во многих отношениях перформанс напоминает акт коллективного жертвоприношения, где в достаточно широком диапазоне представлены символические заместители агнца для всеожжения — от акции петербургских художников Н. Якиманской и О. Егоровой «Жертвоприношение платья» до перформанса Жюльена Блэна, который поднимался на сцену и с этой высоты раз за разом бросался вниз, пытаясь подорвать один из важнейших параметров искусства — принцип безболезненного катарсиса. Перформанс как имитация всеожжения призван актуализовать экстатический драйв, размыкающий замкнутость индивидуального тела. Соответственно художник притязает на присвоение позиции первосвященника: инициировать запредельную трансгрессию, дожидаться запуска необратимого процесса и успеть уйти живым из-под обломков. Трудность задачи выстроена по нарастающей, последний этап превосходит всякую возможную человекоразмерность, и все же даже имитация содержит в себе опасность непредсказуемого исхода, даже она заставляет почувствовать холодок бездонной пропасти.

Подобно тому как существуют идеализации в естественных науках — «черный ящик», «геометрическая точка», «абсолютно твердое тело» и т. д., в эстетике в той мере, в какой она является наукой о сущем, а не служанкой филологии, тоже есть нечто подобное. Есть, скажем, идеализация запредельного искушения, назовем ее Абсолютно Черный Перформанс (АЧП). Эта трансцендентная планка определяет суть бытия художника, подытоживает смысл миссии как агентурного задания свыше. Наиболее точно и лаконично идея АЧП выражена в следующей притче, очень популярной в семинаристских кругах:

«По горной тропинке идет путник. Тропка узкая, с одной стороны скала, с другой — глубокое ущелье, куда и заглядывать страшно. Вскоре путник видит двух незнакомцев, один из которых занимается совершенно невероятным делом: бросается в ущелье и возвращается назад, словно бы выталкиваемый неизвестной силой. Потрясенный прохожий подходит ближе и просит разъяснить ему, в чем дело.

— Видишь ли, — отвечает незнакомец, тут такие воздушные течения, что сами выносят тебя назад. Смотри! — И снова повторяет прыжок.

— А можно и мне попробовать? — спрашивает путник.

И слышит в ответ: попробуй, если хочешь...

Прохожий бросается в пропасть, падает на дно и разбивается насмерть.

После этого незнакомец подходит к своему товарищу, сидевшему молча, и говорит:

— Ну что скажешь, Гаврила?

— А то и скажу, Михайло: ты хоть и архангел, но сволочь порядочная...»

В этом выразительном образце черного юмора содержится некая квинтэссенция сладчайшего, причем она не может быть извлечена через механизмы публичной власти. Репрессивный аппарат в принципе непригоден для вытяжки фимиам высокой пробы, поскольку просто повторяет порядок причинения в природе. Другое дело — соблазнение или провокация, задействующая инстанцию свободной воли (хочешь попробовать — попробуй). Вот чаша, из которой я пью, каждый глоток возносит меня ввысь, и напиток в ней не убывает. Можешь ли пить из чаши сей, из которой я пью?

Не знаешь, пока не попробуешь.

Только Господу Богу и художнику-гению ведомо, что самое сильное из перечисленных искушений — соблазн смутить одного из малых сих.



Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

О к т я б р ь

1.10.1946

Международный военный трибунал, заседавший в Мюнхене, вынес приговор главным нацистским военным преступникам. За малым исключением почти все подсудимые были признаны виновными и приговорены, в зависимости от тяжести совершенных преступлений, к смертной казни, пожизненному заключению или к разным тюремным срокам. Оправданы только трое: президент Имперского банка Г. Шахт, директор Имперского радио Г. Фриче и бывший рейхсканцлер Ф. фон Папен. Справедливо ли столь мягкое отношение к тому, кто в третьем рейхе занимался денежными вопросами, а равно обеспечивал бесперебойную подачу пропаганды в широкие массы, остается открытым вопросом. Главное же, что агрессия в первый раз признана преступлением против человечества, а породившие эту агрессию публично осуждены и вскоре наказаны. Места на скамье подсудимых вновь освободились.

2.10.1910

Над Миланом впервые в истории столкнулись самолеты. Обладавшие низкой скоростью, несовершенные, они, однако, угодили друг в друга. Небо, подобно земле, стало меньше.

3.10.1941

Запатентован аэрозольный баллончик, играющий столь важную роль в культуре двадцатого века, более того, предмет, способный разрушить озоновый слой и уничтожить жизнь на земном шаре.

4.10.1988

Баварский министр, в чьем ведении находится охрана окружающей среды, обратился к гражданам страны с просьбой не петь йодль в Баварских Альпах, ибо такое пение наносит вред окружающей среде. Шум пугает серн и распугивает золотистых орлов и других редких птиц.

5.10.1988

Еще одна загадка нынешнего столетия, столетия диктатур. Большинство чилийцев проголосовало на референдуме против того, чтобы президентские полномочия генерала Пиночета были продлены. Диктатор потерпел сокрушительное поражение. Подчинявшиеся ему вооруженные силы оказались бессильны справиться с итогами голосования.

6.10.1980

Самое страшное — это неуклонное следование пунктам инструкций и предписаний. Подобное следование бумагам, и без того доведенным до абсурда, заставляет миновать последнюю грань. Начинаются бред и морок. В армии нет ужасней угрозы, чем та, когда начальник обещает подчиненному «жить по уставу». Впрочем, тогда достается всем. Закономерность в очередной раз подтвердилась, когда служащие британских тюрем стали работать, «строго придерживаясь правил». Тюрьмы перестали принимать новых заключенных. Беспредельная абсурдность инструкций ставила собственные пределы.

7.10.1993

Ликвидирован пост у Мавзолея В. И. Ленина, так называемый «пост № 1». Тем самым признано, что вождь мирового пролетариата вряд ли воскреснет (на что долгое время теплилась утопическая надежда, ибо Ленин в сознании носителей мифа не умер, а «спал»), тем самым разрушен едва ли не центральный государственный ритуал бывшего Советского Союза. Когда таким образом было констатировано, что в

Мавзолею находится не мифологическая фигура, а обыкновенный мертвец, с ним вознамерились поступить по российским традициям, которые подразумевают, что кладбища по статусу ниже помоек, а покойник — объект презрения и насмешек. Лишь национальная жадность, то бишь желание подыскать мертвецу гроб подешевле соснового, мешает вынести и предать ленинское тело земле на каком-нибудь кладбище, где оно, лишенное сакральной защиты, сразу станет объектом кладбищенских нигилистов.

8.10.1906

Парикмахер Карл Несслер продемонстрировал в Лондоне новый способ укладки волос — перманент. Позднее, в России, перманент превратился из средства ухода за волосами в своеобразную временную категорию и начал именоваться «шестимесячная завивка».

9.10.1989

Первая трансляция оздоровительного сеанса психотерапевта А. Кашпировского по Центральному телевидению. Психозы, копившиеся в обществе, явлены прилюдно.

10.10.1922

Уникальный случай — уже существовавший памятник Александру III работы Паоло Трубецкого открыт еще раз. Теперь постамент был украшен нравоучительным четверостишием Демьяна Бедного. Четверостишие свидетельствовало о том, что убийственная ирония скульптора не воспринята новыми властями. Отношение к чему бы то ни было требовалось выразить словом, ведь советская культура заведомо формировалась как культура вербальная.

11.10.1919

Авиапассажирам впервые предложили поесть в полете. Это произошло на борту самолета, следующего из Лондона в Париж.

12.10.1915

Английская медсестра Эдит Кейвелль казнена немецкими оккупационными властями за то, что она укрывала английских и французских военнопленных, а также помогала им скрыться. Война делалась тотальной, воевали не только с армией противника, но и с мирным населением.

13.10.1963

Британское телевидение показало выступление ансамбля «Битлз». Вскоре после этой передачи и реакции на нее поклонников ансамбля родился термин «битломания».

14.10.1936

В Испанию прибывает первая группа добровольцев, чтобы поддержать республику в борьбе против фашизма. Стали формироваться интербригады. Все сильнее разгоралась, наверное, самая странная война в мировой истории — война писателей. Достаточно вспомнить, что на стороне республиканцев воевали А. Мальро, У. Х. Оден, Д. Оруэлл, А. Рейснер. Будто литераторы из разных стран вдруг поняли, что слова ничего не значат, а имеют значение лишь поступки. Много позже кто-то сказал: «После того, как был Освенцим, нельзя писать стихов». После гражданской войны в Испании долго казалось, будто не имеет смысла любая литература.

15.10.1917

По обвинению в шпионаже расстреляна Мата Хари, женщина, волею судеб вовлеченная в большую игру, которую вели представители разных разведок, пытаясь придать историческим событиям какой-то внятный человеку смысл, а заодно оправдать собственное существование.

16.10.1902

Чтобы прекратить забастовку угольщиков, президент Рузвельт заявил, что, если забастовщики не выйдут на работу, их место в шахтах займут федеральные войска. Подобное заявление приравнивало рабочих к военнослужащим, а функция войск возводилась в статус работы, производительного труда.

17.10.1961

Картина А. Матисса «Лодка» выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Лишь несколько месяцев спустя заметили, что, когда вешали картину, перепутали верх и низ. Такого рода недоразумение кое-что говорит о современном искусстве. Однако следует вспомнить и опыт И. Левитана: для обновления живопис-

ного восприятия он переворачивал картины, над которыми работал, «вверх ногами», чтобы отвлечься от сюжета и воспринимать чистую живописность.

18.10.1987

Небольшая американская фирма заявила, что ввиду нехватки в Японии древесины она собирается отправить туда 12 миллионов пар палочек для еды. Если перефразировать известную поговорку, утверждающую, будто дружные мыши и кошку съедят, можно сказать, что дружно придерживающиеся традиций японцы способны все деревья перевести на одноразовые палочки, используемые за столом.

19.10.1986

В Ленинграде состоялся митинг, целью которого было защитить от сноса дом, где жил А. А. Дельвиг. Как ни удивительно, участники митинга добились своего.

20.10.1960

На суде компании «Пингвин букс» предъявлено обвинение в том, что она опубликовала роман Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (написанный в 1928 году). Подкрепляя выдвинутое обвинение в непристойности, прокурор спросил ответчика: «А хотели бы вы, чтобы эту книгу прочитала ваша жена или ваши слуги?» Но в конце концов издательство и писатель были признаны невиновными.

21.10.1923

Открылся первый планетарий. Это произошло в немецком городе Мюнхене. Человечество больше не хотело глазеть в небеса, оно желало даже звезды иметь всегда под рукой.

22.10.1940

На съемках кинофильма «Валерий Чкалов» повторили необыкновенной сложности пролет, совершенный Чкаловым под Троицким мостом. Причем повторили дважды, такая уж специфика у кинопроизводства.

23.10.1987

Во время войны в Заливе для обнаружения мин американской армией стали применяться дельфины. Невозможно представить, каким образом общались американцы со столь умными животными. Единственная вероятность, что дисциплинированные дельфины подчинялись приказам, как младшие по званию.

24.10.1901

Чтобы уплатить деньги по закладной, миссис Энн Эдсон Тейлор из США выполнила рискованный трюк — спустилась в бочке по Ниагарскому водопаду, тем самым дав будущим поколениям пример женской самостоятельности, предприимчивости и большой оборотливости.

25.10.1929

С «черной пятницы» на нью-йоркской бирже начался мировой экономический кризис.

26.10.1965

Архиепископ Кентерберийский Майкл Рамсей заявил, что христиане поддерживают применение силы в Родезии. На это заявление отреагировала не только пресса. Вскоре при помощи красящих аэрозолей были разрисованы стены соборов в Кентербери и Йорке.

27.10.1982

Китай официально объявил, что численность населения в нем превысила один миллиард.

28.10.1965

С евреев снята вина за распятие Христа. Об этом заявил папа Павел VI. На смену коллективной вине пришла личная ответственность отдельных исторических и мифологических личностей.

29.10.1945

В продаже появились первые шариковые авторучки. Между прочим, один мемуарист верно подметил: было время, когда в советских школах запрещалось писать авторучками, применялась только вставочка со знаменитым пером № 86. Учителя утверждали, что авторучка портит почерк. А когда учился сын автора мемуаров, школьные учителя категорически запрещали пользоваться шариковыми авторучками. Нельзя! Только чернильными. Все по той же причине — почерк портится. Кстати, нетрудно предположить, что говорят ученикам нынешние педагоги о применении компьютера.

30.10.1938

Радиопостановка Орсона Уэллса «Война миров» переполошила все Соединенные Штаты. Слушатели приняли спектакль, сделанный по книге фантаста Герберта Уэллса, за чистую правду. Вряд ли кто-нибудь предвидел подобный результат обыкновенного розыгрыша, приуроченного к Хэллоуину. Сказалось не только то, что мир жил в ожидании новой войны. Сыграло свою роль и совпадение фамилий режиссера, поставившего спектакль, и романиста, сочинившего книгу. Подсознательно их отождествили, и это еще сильнее актуализировало якобы документальную форму спектакля, построенного в виде прямого репортажа с места событий.

31.10.1941

В США закончен национальный мемориал на горе Рашмор. Из цельной скалы высечены головы президентов Д. Вашингтона, Т. Джефферсона, А. Линкольна и Т. Рузвельта. Тем самым Альфреду Хичкоку представлялась блестящая возможность продемонстрировать свою иронию: макет будущей декорации для фильма «К северу через северо-запад» уже существовал.

Александр МЕЛИХОВ

«Со страшной жаждой песнопенья...»

К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

В юности я был настолько впечатлителен, что одна лишь мысль о таком пустяке, как смерть, могла испортить мне настроение среди самого бурного веселья. Но вот если умирать в полдневный жар в долине Дагестана — это хоть сейчас. Так я и открывал в Лермонтове (или в себе?) странность за странностью. Божественный Печорин — да он же, получается, не очень хороший человек?.. А сам Лермонтов — то восхищается гордыми сынами Кавказа, то дерется с ними не хуже черкеса. Да еще воспеваает Ермолова: «Их ведет, грозя очами, генерал седой». При том, что ему вроде бы и недорого слава, купленная кровью. Отвергает жизнь и живет за десятилетиями...

В «Толковом словаре живаго великорусскаго языка» Владимира Ивановича Даля нет слова «романтик» — вам удастся отыскать лишь слова «романтизм» и «романтический» — причем в значениях, характеризующих только «изящные сочинения»: «вольные, свободные, не стесненные условными правилами» (противоположные значения отмечены тоже чисто литературные: «классицизм», «классический»). «Толковый словарь» Д. А. Ушакова (1939 г.) придает романтизму уже более широкое значение — это еще и «умонастроение, характеризующееся преобладанием мечтательной созерцательности и чувства над рассудком, идеализацией действительности». А «Словарь иностранных слов» 1980 года указывает еще один оттенок: романтика — это «героика, подьем, пафос борьбы и свершений».

Так что же все-таки — мечтательность или героика? Какой должна быть общая формула романтизма, чтобы под нее подходили столь разные предметы, чтобы оказались романтиками и нежный, «сладостный» Василий Андреевич Жуковский, и суровый, «гражданственный» Кондратий Рылеев?

О романтизме написаны целые библиотеки, из коих складывается впечатление, что романтизм — явление настолько сложное и многостороннее, настолько меняющееся от эпохи к эпохе, от страны к стране, от художника к художнику, что, подчеркивая различные его особенности, можно приходиться к выводам самым противоположным. Но есть же у него какой-то общий источник? Мне кажется, корень романтизма точнее всего может быть обозначен словом «неудовлетворенность» — неудовлетворенность, обращенная на все, что считается твердо и окончательно установленным или установившимся.

Если принять эту гипотезу, сразу будет ясно, что проявления романтизма должны быть неисчерпаемо многообразными: скажем, в монархическом государстве романтик воспеваает республиканские свободы, а в демократическом — красоты монархии, трона и рыцарства. Именно *красоты*, ибо достоинства *пользы* никогда не вызывают сомнений у подавляющего большинства населения, а потому редко влекут романтика. Романтизм — вечная неуспокоенность: из-за этого романтики так часто бичуют «толпу» — носителя общепризнанных мнений и вкусов. В пору безграничного господства утилитаризма, позитивизма романтик может сделаться мистиком, эстетом, засилье же мистицизма или эстетства способно превратить его в утилитариста и позитивиста, доверяющего лишь скальпелю и микроскопу (Писарева можно назвать именно романтиком науки). Зато среди установившейся, трезвой, расчетливой жизни романтик снова начнет живописать доблестных рыцарей или гордых дикарей.

Но наиболее последовательный романтик — это тот, кто не удовлетворяется даже собственной мечтой, даже собственным бунтом. И поэтому самый романтичный из романтиков — это романтик *трагический*.

Интересно, откуда столько обаяния в пессимизме... Но нет, косноязычная мрачность вялой души отнюдь не привлекательна, другое дело — скорбные звуки, исторгнутые духом могучим, гордым, негодующим, наделенным голосом красоты почти божественной, — так трудно не впасть в напыщенность, говоря о лорде Байроне (самое имя звучит органной музыкой)! Советская критика, дабы отнять его у критики «буржуазной», целые десятилетия отыскивала у него оптимистические мотивы, сокрушенно разводя руками, когда оптимизма не удавалось высмотреть даже в микроскоп — в стихотворении «Тьма», например, из которого беззащитный читатель мог узнать, что если, к примеру, погаснет солнце, то человечеству не поможет уже никакая освободительная борьба трудящихся масс.

Однако не заключает ли в себе пессимизм и жизненно необходимых начал? Конечно, вовсе без оптимизма, без надежды на успех трудно приняться за любое дело — да и просто жить не очень приятно. Но разве энергичные оптимисты, не знающие сомнений в своих силах и разуме, разве эти бравые устроители и преобразователи не превращают человечество из века в век во все более и более чудовищные бедствия? Пессимисты, твердящие о *неустрашимой* трагичности бытия, не вызвали и миллионной доли этих несчастий...

Лермонтов еще мальчиком был с такой силой захвачен грандиозной поэзией и личностью Байрона (красавец, замечательный стрелок и пловец, герой, отдавший жизнь за освобождение Греции), что соглашался быть «так же несчастлив, как Байрон» — только бы «достигнуть» его гения: «У нас одна душа, одни и те же муки, — о если б одинаков был удел!..» Но — «Нет, я не Байрон, я другой...» При желании можно даже предпринять попытку доказать, что Лермонтов — поэт «еще более» трагический. Он как будто видит безнадежность всякого пути, открытого смертному. Многие романтики противопоставляли расчетливому и холодному «свету» бескорыстную дружбу и верную любовь — у Лермонтова выражения вроде «друзей клевета ядовитая», «в наш век все чувства лишь на срок» разбросаны там-сям как нечто само собой разумеющееся. А ведь у него был верный благородный друг Алексей Столыпин («Монго»), не покидавший «Маёшку» ни в бою, ни на гусарской пирушке; Лермонтов был, можно сказать, очевидцем того, как жены декабристов отправлялись вслед за мужьями в Сибирь, — с высоты какого же идеала все это казалось недостаточным? Романтическая мечта о неземном совершенстве иногда становится такой высокомерной, что может показаться внушенной каким-то демоном: «Покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда...»

В знаменитой «Думе» Лермонтов скорбит о бесплодности своего поколения — он, подаривший миру поистине бесценные плоды. Но, прежде чем бросаться в буквалистический спор с ним (многие вообще считают «николаевскую эпоху» самой плодотворной в духовной жизни России), поищем противоположный отголосок в *поэтическом мире* Лермонтова. Перечитаем хотя бы «Три пальмы», — они тоже роптали, что растут и цветут без пользы, «ничей благосклонный не радуя взор», — и небо дает им возможность послужить людям: «И следом печальным на почве бесплодной Виделся лишь пепел седой и холодный...»

«Перед опасностью позорно малодушны И перед властью — презренные рабы», — в столь чеканных строках не может не звучать какая-то высшая правда. Тем не менее в «Княгине Лиговской» говорится (тоже как о чем-то общеизвестном): «Печорин в продолжении кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат». Что ж, романтик и не должен успокаиваться на какой-то одной точке зрения... Хотя что касается рабства перед властью... Лирику Лермонтова много раз совершенно справедливо называли вольнолюбивой, однако ему с ранней юности были ясны и ужасы революций:

Настанет год, России черный год,
 Когда царей корона упадет;
 Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
 И пища многих будет смерть и кровь;
 Когда детей, когда невинных жен
 Низвергнутый не защитит закон;
 Когда чума от смрадных мертвых тел
 Начнет бродить среди печальных сел,
 Чтобы платком из хижин вызывать,
 И станет глад сей бедный край терзать.

«Черный год», «бедный край» — вряд ли Лермонтов мог желать этого, несмотря на всю ненависть к тиранам. Он кажется здесь большим консерватором, чем многие сегодняшние либеральные трибуны...

Как подлинный романтик, Лермонтов с самой ранней юности остро ощущал свое одиночество, а порой даже гордился им — свидетельством своей исключительности («Стансы» 1830 года, написанные Мишелем в возрасте девятиклассника):

Я к одиночеству привык,
Я б не умел ужиться с другом;
Я б с ним препровожденный миг
Почел потерянным досугом.

Но его же до конца дней преследовал образ отщепенца, мучительно желающего и не умеющего слиться с каким-то «естественным» миром — никому не нужен оторвавшийся от родимой ветки дубовый листок: «Иди себе дальше, о странник! Тебя я не знаю». И похитить что-либо у этого мира тоже невозможно: прекрасная Морская царевна, вырванная из родной стихии, погибает, как Бэла из «реалистического» «Героя нашего времени». Да и не таким уж она оказывается сокровищем — «чудо морское с зеленым хвостом» (невежество и простосердечие так же надоедают, как светское кокетство, признает Печорин).

Пушкин в «Пророке» являет грозную и величественную картину рождения божественного дара, завершая гордым напутствием: «Глаголом жги сердца людей»; Лермонтов в своем «Пророке» подводит итог:

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите ж, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Кажется, «ничего во всей природе» не встречает у него безоговорочного восприятия, безоговорочной любви. Вернее, нет, как раз «природа» и дарует ему минутное отдохновение:

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

Но мир людей почти никогда не приносит успокоения, словно душа поэта некогда прикоснулась к какому-то иному, «ангельскому» бытию:

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

«Когда я был трех лет,— вспоминал Лермонтов,— то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее пела мне покойная мать».

Мать Лермонтова, запомнившаяся тарханским крестьянам кротостью, добротой и — бледностью, умерла в 1817 году, а «житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней», как написано на ее надгробном камне. Неужели гениально одаренный младенец и вправду мог запомнить ее пение? И каким вообще путем рождаются души тех страдальцев и пророков, которые со сверхчеловеческой остротой ощущают все дисгармоническое и мучительное, как канарейка в шахте первой улавливает запах рудничного газа? В «революционно-демократическом» лермонтоведении больше века господствовала упрощенная схема, выдвинутая блистательным Герценом в обличительных целях (ее придерживался даже такой глубокий исследователь, как Б. М. Эйхенбаум): поражение декабристов заставило следующее поколение, «замкнувшись в себе», вынашивать мысли «сомнения, отрицания, мысли, полные ярости».

Это, конечно, тоже часть правды, тем более что российский деспотизм оказывал себя еще и во множестве бытовых унижений. В Европе было бы немислимо, чтобы высокопоставленный чиновник от *просвещения*, граф Панин, приказал университетским солдатам (в бытность Лермонтова в Московском университете) публично отстричь и побрить двух взрослых студентов, угрожая «в другой раз» отдать в солдаты: «Вы ведь не дьячки!» (Мы-то думали, что так только дружинники со стилигами боролись...) В Школе гвардейских кавалерийских юнкеров, куда Лермонтов

был зачислен приказом от 14 ноября 1832 года, «было запрещено читать книги литературного содержания и вообще полагалось стеснить умственное развитие молодых питомцев Школы»; за разговор с офицером на улице сажали под арест — притом под угрозой быть «выписанными» в армию, — все это можно прочесть у П. А. Висковатова.

И все же это не объясняет, отчего друг и соратник того же Герцена Белинский, принадлежавший к одному с Лермонтовым поколению, мог находить утешение то в гегельянском примирении с действительностью, то в новейших социальных утопиях, их же сверстник Константин Аксаков — в утопиях славянофильских, в отыскании «особого русского пути», в идеализации Древней Руси, а Лермонтов предпочел остаться со своими сомнениями и отрицаниями.

Не нужно увлекаться и «научно-психологическими» толкованиями: Лермонтов-де с младенчества разрывался между привязанностью к обожавшей его, богатой и властной бабушке (Марфе-посаднице, как называли ее приятели Мишеля по юношеской школе) и любовью к отцу, не имеющему средств для достойного воспитания отпрыска могучего рода Столыпиных (девичья фамилия бабушки). К отцу — умному, но бесчиновному, доброму, но вспыльчивому и порой легкомысленному, обаятельному, но одинокому и каким-то таинственным образом (измена?) повинному в безвременной смерти матери. Но ведь подобную драму переживают тысячи детей, и отнюдь не все они становятся лермонтовыми (если даже не иметь в виду дар владения словом), а у Лермонтова сверх того в остальном детство было — с внешней стороны! — вполне идиллическое. Да перечтите, впрочем, «Как часто, пестрою толпою окружен...» — эти «погибших лет святые звуки»: детские воспоминания так и остаются неким островом в пустыне «под бурей тягостных сомнений и страстей».

Недостаточная родовитость, из-за которой Лермонтов в юности придумывал себе фантастическую родословную (его предок — испанский герцог Лерма)? Да, более реальный предок, ротмистр рейтарского полка, «из Шкотской земли выходец», скончавшийся в 1634 году, был менее знатен. Но зато историю его рода можно было возвести к воспетому самим Вальтером Скоттом легендарному шотландскому поэту Томасу Лермонту из замка Эрсильдон, увиденному в иной мир призванными белыми оленями. И потом, юный Мишель Лермонтов очень скоро заставил свое имя прозвучать на всю Россию, в «большом свете» его «наперерыв отбивали друг у друга».

Он выглядел недостаточно красивым (хотя физические был очень силен и ловок)? Сквозь обаяние его гения нам сегодня трудно предстать Лермонтова некрасивым, но и при жизни его благодаря таланту он покорило больше женских сердец, чем многие и многие светские львы, — кажется, сама императрица не осталась к нему равнодушной (что сильно повредило ему в его беспрестанных столкновениях с властями). «Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол», — вспоминал его пятигорский знакомец декабрист Николай Лорер.

Словом, одна и та же политическая, семейная или «светская» ситуация у одного может вызвать гнев, у другого отчаяние, у третьего — желание примириться, или бежать, или приспособиться — для человеческой души — в этом я тоже романтик! — нет универсальных законов. Тем более — для души гениальной. Любят говорить еще о «духе времени», влиянию которого всегда подвергаются тысячи людей, обретающих при этом «духе», однако, зачастую даже противоположные мироощущения, притом мироощущения эти в подавляющем большинстве не оставляют заметного следа в искусстве: из множества идей и переживаний в художественной культуре остаются лишь те, которым посчастливится найти для своего выражения крупного художника. Ссылки на «требования времени», на влияние конкретных философских или художественных школ — или конкретных творцов, — тоже объясняют далеко не всё: этим влияниям всегда «откликаются» сотни эпигонов, лишь измельчающих волнуемые умы вопросы, которые иногда вырождаются даже и в чистую пошлость, если не подхватываются подлинным талантом. А откуда берется талант, откуда в ребенке рождается то, что превращает его в великого поэта, живописца, музыканта, — остается тайной для нас, общие схемы здесь не годятся.

Душа — потемки еще и потому, что она всегда прячется под какой-то маской, и тем более усердно, чем более она целомудренна: Лермонтова часто обвиняли, что он что-то «напускает» на себя. Но заметьте: при том что его жизнь была полна гонений, грустных тайн и поэтического творчества, он не терпел претензий прежде всего на «гонимость», загадочность и поэтичность — отсюда и его язвительная насмешливость, в конце концов поставившая поэта под пулю Мартынова. И удивительно, как много лживых версий, обеляющих его убийцу, — то Лермонтов соблазнил его сестру, то распечатал переданные для него письма, — разошлось по свету! Впрочем, нет,

неудивительно: стараясь оправдать Мартынова, все ничтожества отстаивают свое право на равенство с гениями. В этом отношении прямо-таки запредельна версия о литературном соперничестве Лермонтова с Мартыновым, пописывавшим полуграмотные стишки. Лермонтов предпочитал казаться фатом, бесшабашным рубакой, бретером — только бы не впасть в напыщенность или высокоумие (чем оскорблял даже влюбленного в его дар «неистового Виссариона», который всегда был предельно серьезен).

При всей своей насмешливости Лермонтов был с «женственной нежностью» предан немногим друзьям. Но даже самые близкие люди часто оказывались настолько поверхностными, что видели маску в проявлении самой глубокой его сути — в трагических стихах: Лермонтов-де в пору их написания веселился и озорничал, как сущий бес. Рискну заметить, что лишь тот, кто умеет и любит веселиться до самозабвения, способен по-настоящему измерить трагизм человеческого бытия. Но Лермонтов с юности (стихи 1832 г.) ощущал и *плодотворность* страданий:

Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?

Вместе с тем Лермонтова бесило, что множество людей страдает, *не сознавая этого*. Истинный романтик, вечный искатель, стремящийся вырваться из любых навязанных рамок, рано или поздно начинает видеть главного врага в своей противоположности, а именно — в безмятежности, в спокойном подчинении и оправдании некоего верховного распорядка. И потому рано или поздно у него начинают звучать мотивы *богоборческие*. У Лермонтова они прозвучали очень рано:

Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю.
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

(«Молитва», 1830 г.)

Как видим, еще в возрасте опять-таки девятиклассника поэтический талант начал представляться Лермонтову некоей неуправляемой стихией, неподвластной даже всесильному верховному владыке. Надо сказать, что образ гордого духа, бросающего вызов небу, и в России будоражил умы многих романтиков. Но лишь в лермонтовском «Демоне» этот мотив прозвучал с гениальной силой. Так что, если бы не лермонтовский гений, сейчас об этих исканиях знали бы только специалисты: «дух эпохи» растаял бы без следа.

Впрочем, я сужу по давнишнему впечатлению. А что если снова перечитать «Демона» уже совсем взрослым и даже немножко старым человеком?

И сразу две неожиданности. Поразительно, во-первых, что столько событий, страстей и красот умещается всего лишь на тридцати страницах. А во-вторых, лермонтовский Демон в моей памяти оказался заслоненным байроновским Люцифером, который никому не причинял зла, а оскорблял Всевышнего исключительно правдивостью. Он всего только отказывался считать добром смерть, страдания, ответственность детей за невольный грех родителей, чем и соблазнял первого романтика, Каина, с надменной уверенностью произнося вслух его же собственные, еще пугливые мысли. Поэтому сквозь эту призму выбор Тамары между Богом и Демоном представлялся мне выбором между мятущейся честностью побежденного и спокойным могуществом победителя, провозглашающего благом решительно все свои деяния. И она выбрала спокойствие и силу...

Но все оказалось гораздо сложнее. Когда несколько рассеивается дурман этой поистине колдовской поэзии, в пространстве которой кто прекрасен, тот и прав (а уж Демон ли не прекрасен!), хочется подтвердить его правоту чем-то более доказатель-

ным. Заметьте: «старинной ненависти яд» пробуждает в Демоне его вечный антипод — ангел, *безмятежная*, антиромантическая праведность, явившаяся в келью Тамары как будто нарочно именно тогда, когда Демон входил туда «любить готовый, с душой, открытой для добра». Замысел первой редакции «Демона» (1829) был именно таков: Демон влюбляется в монахиню и добивается ее любви, но, встретив ее ангела-хранителя, «от зависти и ненависти решается погубить ее». Во второй редакции зло снова является результатом высокомерия (или, скажем мягче, — бестактности) добра, мстью за отвергнутый благой порыв: Демон после гибели монахини «посла потерянного рая улыбкой горькой упрекнул». В окончательном варианте небо тоже прощает одну лишь Тамару: «Она страдала и любила — И рай открылся для любви!» Но позвольте — а Демон разве не любил? И не страдал? Его слезою был прожжен камень! Снова Бог милует того, кто покоряется, и отвергает того, кто не склоняется перед ним, он, подобно святейшей инквизиции, не прощает лишь непочтительности по отношению к себе: грешника милуй — еретика казни!

Но тут дух сомнения начинает поднимать голову и против *бесспорного* оправдания себя самого. Все-таки любовь Тамары была замешена на сострадании — Демон же в своем завораживающем монологе говорит только о собственных мучениях. И притом ставит их неизмеримо выше страданий прочих существ. Да, безусловно, жить своим умом и своей совестью, без надежды на «правый суд» — это очень нелегко. Но отзываться об океанах человеческих несчастий как о чем-то едва достойном упоминания — что люди, что их жизнь и труд! — великодушно ли это? Как тут не вспомнить, что Лермонтов, поэт и романтик, в стихотворении «Не верь себе» вступился за страдания «толпы» перед лицом поэтического вдохновения. А какие беспредельно трогательные звуки для материнской любви он находит в «Казачьей колыбельной песне»? А его еще упрекали в «демонизме»...

«Настоящий» Демон, даже утешая Тамару, потерявшую жениха (которого он сам же и подтолкнул к гибели), призывает ее быть «к земному без участия», ценить свою печаль дороже жизни «смертного творенья». При этом виртуозно играть на струне ее сострадания в *своих* целях ему кажется самым естественным делом, — попутно бросая слова презрения к земле, «где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты». А что он предлагает взамен своей возлюбленной? Некую «пучину гордого познания» и — «все, все *земное*», не им созданное и агрессивно презираемое, «все земное», кроме той главной стихии, где только и нужен наиважнейший дар женской души — дарнисходительности, дар любви и нежности к слабым, несовершенным, бранным созданиям — людям. Да ведь именно этот дар и манит его!

Снова все то же самоуверенное или бездумное стремление вырвать живое существо из родного мира, чтобы поселить его в мертвых чертогах из бирюзы и янтаря («Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял», — вспоминается здесь вновь «реалистический» «Герой»). Что спорить — Демон любил Тамару «нездешней страстью», ибо на земле не умеют любить «без боязни». Но зато на земле умеют любить *вопреки боязни!* «Я погибла, — но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, — не говорю уж любить — нет, только помнить»; «При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже жизни, чести, счастья», — эта любовь беззащитных, подверженных всевозможным несчастьям существ — не прекраснее ли она, чем любовь почти всесильного духа, которому ничем не приходится за нее расплачиваться?

Да Демон даже и о сотворенном им, лично им, зле вспоминает без тени раскаяния, видя в нем едва ли не одну поэтическую сторону: «И след кровавый За ним вился по крутизне...» Критик Варфоломей Зайцев, соратник Писарева, тоже видевший спасение человечества в естественных науках, очень обижался на Лермонтова за то, что он соединил в Демоне «познание и свободу» со склонностью к буйным выходкам. Но что правда, то правда: раскаяния, смирения в Демоне нет и тени. А кроме того... Кажется, сейчас я расплачусь с Демоном за весь восторг, который Лермонтов навел на меня своим колдовским даром. Но и в восторге разоблачительства тоже не следует заходить слишком далеко. И охладить его может прославленный Владимир Соловьев, обвинивший самого Лермонтова примерно в том же, в чем я только что обвинял его Демона. А именно: страшная сосредоточенность на своем «я» (нет той открытости всему задушевному, которая так чарует в лире Пушкина*); о Боге всегда говорит с какою-то личной обидой** (даже отказ Лермонтова, отличного стрелка, во время дуэли стрелять в своего убийцу представляется философу-христианину вы-

* «Ты царь: живи один» — и лермонтовская тоска о временах, когда поэт был подобен вечевому колоколу.

** «И пусть меня накажет тот, Кто избрал мой мученья».

зовом высшим силам); и последний, самый тяжкий грех — *гордыня*, полное отсутствие раскаяния, в то время как лишь *смирение* может продвинуть человечество по пути совершенствования.

Конечно, из-за того только, что Владимир Соловьев сейчас вошел в моду, еще не следует презирать его суд,— безусловно, он был очень умный и благородный человек. Но *любое* универсальное учение, претендующее на знание «самого правильного» пути к совершенству, становится гибельным для искусства. А пожалуй, даже и для жизни, которая всегда содержит в себе зерно противоречивости, непредсказуемости и непредписанности, то есть зерно романтизма. Возможных путей к совершенству скорее всего не меньше, а может быть, и во много раз больше, чем людей на Земле. А попытки подчинить талант (о, разумеется, лишь для блага человечества!) какой-то очередной (и на этот раз уже окончательно правильной) доктрине всегда приводят к одному результату — к его гибели. По крайней мере к надлому.

Но Лермонтов в отличие от Гоголя не позволил себя сломить. И в своем «святом ремесле» среди непрерывных гроз и празднеств двигался к совершенству со сказочной быстротой — а для этого нужно судить себя очень строго.

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно.

Правда, эту горечь трудно назвать смирением: вернее, она проистекает из непомерных (опять гордыня!) требований к себе, то есть из необыкновенно высоких представлений о том, каким должен быть человек. Не было ли глубинной причиной лермонтовской «с небом гордой вражды» желание защитить достоинство земной человеческой стойкости, честности, земной человеческой любви?

Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой.

Иначе говоря, в основе лермонтовского бунта лежала, быть может, жажда *свободной* (свободно, не под чьим-то диктатом избранной) человечности. Мечта скорее всего несбыточная: вероятно, ближе к истине пребывают официальная церковь и расхожая мораль, полагающие человека слишком алчным, трусливым и злобным существом, чтобы быть пригодным к исполнению долга без верховной направляющей десницы. Но ведь красота и практичность — разные вещи...

Да и так ли уж непрактичен Лермонтов, если взвешивать плоды его собственной судьбы? О вредности гордыни можно сказать много обличительных (и справедливых!) слов. Но не эта ли пресловутая «гордыня» одарила Лермонтова той изумительной стойкостью, с которой он без единой жалобы исполнил свой долг поэта, изгнанника, воина? Исполнил, не прячась ни в социальные, ни в философские, ни в религиозные утешительные сказочки. Хотя и с серьезными издержками, Лермонтов показал: это возможно — жить достойно без надежды на правый суд, опираясь только на собственное чувство чести. И в этом железном мужестве, свободном от иллюзий,— еще один урок, преподанный нам Лермонтовым. Кто знает, не вспоминались ли ему слова пламенного Шиллера, которому он подражал в своих ранних драмах: «Муки отступят перед моею гордыней!»

И как тут не вспомнить добрым словом Виссариона Григорьевича Белинского, который после едва ли не единственного откровенного разговора с Лермонтовым воскликнул: «Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве!» Простодушный до святости неистовый Виссарион сумел почувствовать, что есть нечто бесконечно более высокое и — долговечно, нежели его «понятия», «убеждения», через несколько поколений способные вызвать в лучшем случае снисходительную улыбку. Но *христианскому* философу Владимиру Соловьеву подобные сомнения чужды: его монополия на истину подерживается не только «наукой», как казалось Белинскому, но прямо-таки Верховной Волей.

Я же признаюсь вам по секрету: если бы кто-то каким-то чудом доказал, что существует некий самый правильный путь к самому правильному совершенству, которому Лермонтов не соответствует,— я бы все равно не повторил предательства Тamarы: я бы остался с Лермонтовым, со «страшной жадой песнопенья», а не с совершенством.

В огне не горит, но тонет в воде

В начале этого года в конференц-зале РГБ (в просторечии «Ленинки») состоялась презентация одного любопытного проекта, или, если угодно, объекта. Это была толстенькая книжечка с громким названием «Библиотека утопий», заключенная в опечатанную металлическую коробочку (издательство «Орден Пятой Масти» совместно с «ИМА-пресс», тираж 1000 экз.). В книжечке оказался также кармашек для CD, где-то застрявшего на таможе.

Огромный стильный зал, в котором происходила презентация, заслуживает особого описания — он выдержан в духе даже не «сталинской», а какой-то «муссолиниевской» эстетики. Как только журналисты и телевизионщики, сделав свое дело, отступили на задний план, залом завладело несколько сотен людей, мало похожих на завсегдаев библиотек. Скорей уж — на посетителей молодежных ночных клубов, почитателей «Птюча» и «Матадора», постоянных участников акций и арт-тусовок «параллельной», андеграундной культуры. На большом киноэкране мелькала хроника времен нацизма в Германии, с маршами и книжными аутодафе, «продвинутый» ди-джей на полную мощность запустил свою аппаратуру, по сцене медленно переползала в мигании стробоскопа слипшаяся в ком группа танцоров в алюминиевых одеждах, похожих на самурайские доспехи. Остаток вечера публика прогуливалась со стаканами, покуривая, разговаривая и переходя от легких пузырчатых вин ко все более крепким напиткам. После чего самые стойкие и приближенные перебрались в ночной клуб «Петрович» на Мясницкой, где, послушав весьма неплохой рок-ансамбль со скрипкой и — вполуха — тексты нескольких участников альманаха, вскоре предпочли им застолье «на халяву» (какой русский не любит его — втайне или явно?) и общение во весь голос. И уже самые-самые стойкие поехали на остаток ночи в оплаченный устройствами боулинг (спортивные кегли).

Для кого-то подобное — норма жизни, для остальных — туристическая экзотика. Нечто похожее, хоть и существенно скромнее («все-го-навсего» цирк лилипутов на подворье Музея искусства Востока, 22 апреля с. г., с продолжением в ночном клубе «Третий путь» на Пятницкой), происходило и на представлении следующей книжечки «Библиотеки утопий», выпущенной вдогонку первой и укладываемой в ту же металлическую коробочку, изготовленную в Германии, кстати. Правду сказать, и книжечка была потоньше — похожая на записную книжку «Тетрадь № 1999».

Должен оговориться, что тексты пишущего эти строки представлены в обеих книжках, но, поскольку я собираюсь повести речь не о текстах, но о некоторых симптомах, мне не представляется предосудительным писать о том, в чем сам принял участие.

То есть, конечно, на все вышеописанное предприятие можно посмотреть как на один из способов времяпрепровождения людей «параллельной» субкультуры, с их особыми иерархиями, знаменитостями, ценностями и пр. («золотой молодежи», некоторых «новых русских», а также различных маргиналов и художественных экстремистов, конфликтующих с общепринятым в своих областях и жанрах). Но, во-первых, этот дополнительный план и уровень существования никому не мешают. Это дело сугубо добровольное: хочешь — сиди по уши в «мэйнстриме», хочешь, напротив, не кажи носа из своего «подполья» (ночного, «параллельного», изнаночного мира), хочешь — побывай в гостях и приглядишься (возьми друзей с собой, чтоб не стало скучно). Если ты не боишься и если тебе не «необходимо нужно» (как писалось полтора столетия назад) всякий раз убеждаться в собственном превосходстве. Мэйнстрим и подполье воспроизводят себя при любом режиме, и всегда бесполезно для них присмотреться друг к другу — от этого они не поменяются местами. Ведь людям

не так важно, где они, гораздо важнее — найти себя и своих. Как сказано в одном классическом романе — чтоб человеку было куда пойти.

Во-вторых же, такого рода предприятия стали оставлять иногда после себя и вполне весомые продукты в виде книг — а это имеет отношение уже не к тусовке, а к посягательству на территории, окучиваемые мэйнстримом. Методика известная — берется несколько имен, приемлемых для составителей, и к ним присовокупляется энное количество авторов, по тем или иным причинам составителям любых. Содержание, как правило, оставляет желать лучшего. Но для составителей это и не важно — есть принципиальная разница между книгами официальной культуры и книгами субкультуры. Во втором случае смысл полагается в самом факте книгоиздания и в некоторых формальных признаках книги как художественного объекта (конечно, включенные в нее материалы не должны сильно контрастировать с «авангардной» формой их подачи). Такие вещи уже делались и в современной живописи, и — несколько ранее — в искусстве книги, когда объекты нематериальной природы (собственно, «искусство») и материальной («реальный», утилитарный предмет) соревновались и оттеняли друг друга.

Автор проекта «Библиотека утопий», Борис Бергер, утверждает, что его проект, подчеркивая «телесные» параметры книги, стремительно дематериализующейся и перекочевывающей на дисплеи персональных компьютеров, нацелен на то, чтобы возратить ее в обиход современников, все более предпочитающих ей путешествия в виртуальной реальности. Своего рода «реакция» и «контрреволюция» на отведенном для этого пятачке. Позиция не бесспорная, книжечки же довольно милы — их приятно держать в руках, перелистывать, рассматривать. Трудности «модной» верстки известного (в указанных кругах) дизайнера Гуровича служат той же задаче: не столько читать, сколько удивляться и разглядывать книжицу.

Надо сказать, что налицо определенный прогресс в этом жанре, прежде так набранные тексты не только не хотелось читать, но и разглядывать, — последние работы того же Гуровича выглядят более стильно.

Смысл между тем — пресловутая вещь: ты его гонишь в дверь, он возвращается через окно.

Образованные люди полагают, что утопия — это место, которого нет. Но русский язык не даст соврать: утопия — это то, что уже утонуло или существует в ожидании потопа. Не случайно во второй книжице «Библиотеки» возникает тема наводнения: у Битова, восстанавливающего по записям историю создания пушкинского «Медного всадника»; в помещенном следом отрывке из повести, заканчивающейся видением наводнения в Карпатах; наконец, у мастака на все руки Курицына, дежурящего, как сантехник, в три смены у экрана телевизора, из которого хлещет MTV. Эта книжечка зовется, как уже говорилось, «Тетрадь № 1999», и три ее девятки готовятся отбросить хвосты, чтоб, получив свой «неуд», стать свитой нулей — кругами на воде, пузырями над концентрично идущими на дно веком и тысячелетием. Еще ноллик — и 200-летие Пушкина плавно перетекает в 2000 год. Утописты становятся утопленниками. Гераклитова река выходит из берегов. Может, стоит напомнить, что последняя книга Бродского, вышедшая уже после его смерти, называлась «Пейзаж с наводнением».

В изящной металлической коробочке лежит кусочек переработанной древесины с нанесенными буквами. Чему суждено тонуть, то не сгорит.



«Какой черт сидел во мне...»

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла прекрасная книга Ирины Паперно «Самоубийство как культурный институт». Но несколько отталкивающее название ее может и смутить. Возможно ли личную трагедию, всегда особую, всегда из ряда вон выходящую, рассматривать как культурный жизненный проект в ряду подобных же жизненных проектов? Паперно считает, что — да. Подумаем...

В конце концов говорим же мы о культурном контексте войны, изучая военную прозу, военную песню. Говорим мы и о культурном значении смерти в литературе «деревенщиков». Посмотрим также: можно ведь рассуждать и о смертной казни как именно культурной проблеме (отношение к ней разных эпох, народов, цивилизаций, мыслителей, литераторов). Почему же нельзя и самоубийство рассмотреть с точки зрения культуры? Самоубийства Сократа и двух московских школьниц, выбросившихся с балкона из-за несчастной любви (об этом много писали газеты), не одно и то же. И одновременно — одно и то же, если взять во внимание только конечный результат.

Генерал, проигравший сражение, погубивший из-за своих (предположим) тактических ошибок десятки тысяч солдат и пускающий себе пулю в висок, повинуется законам офицерской этики, которая — часть культуры. Но и вчерашний советский кандидат наук, очертя голову бросившийся в бизнес, задолжавший кучу денег и не нашедший иного выхода из ситуации, кроме петли, тоже выполняет задание определенной культуры. Вот этой, нашей — свиной.

Конечно, рассуждать с ученым видом о самоубийстве конкретного Васи Петрова — пошло и низко. Но всякое общество во все времена было элементарно вынуждено как-то регулировать свои отношения в том числе и с самоубийцами. Причем не только потенциальными, но и в гораздо более напряженной форме — именно с покойниками — с трупами.

И всякая культура во все времена была вынуждена каким-то образом оценивать внутри себя в том числе и такой страшный акт личного произвола, как самоубийство. Определять свое к нему отношение. И — расставлять какие-то дорожные (не только запретительные, но и предупредительные, а порой и прямо направляющие) знаки на пути будущих самоубийц. Самоубийство становилось культурой.

Насколько сложен и, не боюсь этого слова, тонок культурный контекст самоубийства, можно судить хотя бы по православию. У нас даже и нецерковный человек понаслышке знает, что самоубийство осуждается православной церковью как страшное преступление (столь же страшное, как и убийство), что самоубийц не хоронят по церковному обряду, что попытавшихся покончить с собой надолго отлучают от церкви и проч. Действительно, в «Настольной книге для священно-церковнослужителей», изданной в конце XIX века (автор С. В. Булгаков), весьма определенно говорится: «Самоубийство, совершенное обдуманно и сознательно, а не в припадке умоисступления, Церковь признает столь же тяжким грехом, как и отнятие жизни у другого (убийство). Жизнь для каждого человека есть драгоценнейший дар Божий — и по естеству, и по благодати искупления. Налагающий на себя убийственную руку христианин вдвойне оскорбляет Бога: и как Творца, и как Искупителя. Само собою понятно, что такое деяние может быть только плодом полного неверия и отчаянья в Божественном Провидении». Однако в четырнадцатом Каноне Св. Тимофея Александрийского, принятом Шестым Вселенским Собором в качестве церковного закона, сказано о том же самом гораздо глубже.

«— Аще кто, будучи вне себя, подымет на себя руки или повержет себя с высоты: за такового должно ли быти приношение или нет?»

— О таком священнослужителе должен рассудити, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие. Ибо часто близкие к пострадавшему от самого себя, желая достигнути, да будет приношение и молитва за него, неправдуют и глаголют, яко был вне себя. Может же быти, яко соделал сие от обиды человеческия, или по иному какому случаю от малодушия и о таком не подобает быти приношения, ибо есть самоубийца. Посему священнослужитель непременно должен со всяким тщанием испытывати, да не подпадает осуждению».

То есть не всякий самоубийца — преступник. Наложивший на себя руки в состоянии умопомешательства — «да не подпадает осуждению». Но каким образом различать эти «состояния»? Ведь согласно «Британской энциклопедии» (цитирую по книге И. Паперно): «На самом деле никто не знает, почему люди кончают жизнь самоубийством». Паперно продолжает: «Никто не знает, включая и самого самоубийцу... Самоубийство представляется нам «черной дырой» — прорывом в ткани смысла, которую плетет человек. Самим своим поступком — актом отрицания — самоубийца ставит под сомнение идею осмысленности жизни; оставаясь загадкой, этот акт бросает вызов возможностям человеческого разума». Это понимали не только ученые.

В середине XIX века митрополит Филарет (Дроздов) своей волей предписал приходскому священнику хоронить по православному обряду молодую женщину, покончившую с собой. «Уже раз сатана насмеялся над несчастной, — писал он в резолюции на просьбу матери самоубийцы. — Неужели надо допустить сатане еще раз смеяться над ней?»

Ирина Паперно, разбирая предсмертные записки самоубийц XIX века, делает прелюбопытный вывод: в значительном количестве их авторы странно заботились о посмертной судьбе своих тел, предлагая и даже настаивая, чтобы их отдали в анатомическую лабораторию для вскрытия и исследования. Она полагает, что это связано с торжеством позитивистских идей в середине прошлого столетия. Вспомним Базарова — энтузиаста разрезания лягушек.

Но Паперно не учитывает другой, мистический вариант объяснения этих записок. Будущий самоубийца предлагал словно бы заглянуть внутрь него и буквально обнаружить *того*, кто им управлял накануне страшного поступка. *Того*, кому противиться он был не в силах. В книге Паперно приводится множество случаев самоубийств и их попыток, относящихся к XIX веку, в том числе и людей никому не известных. Я бы хотел напомнить об еще одном случае — попытке самоубийства (слава Богу, неудачной) одной из самых знаменитых личностей рубежа веков: Горького.

12 декабря 1887 года девятнадцатилетний Алексей Пешков, находясь в Казани, купил на базаре старый револьвер, заряженный четырьмя патронами. На берегу речки Казанки он выстрелил себе в грудь с намерением прострелить сердце. Насколько серьезно было это намерение, можно судить по тому, что накануне он внимательно изучал медицинский атлас. Тем не менее промахнулся. Револьвер был старый, вероятно, давно не чищенный, поэтому от выстрела на Пешкове загорелась одежда. Спас юношу недалеко находившийся и прибежавший на выстрел сторож-татарин. Эти детали известны из автобиографического рассказа М. Горького «Случай из жизни Макара», написанного в десятые годы XX века в связи с «эпидемией самоубийств».

И вот «предсмертная» записка: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. *Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время* (курсив мой.— П. Б.). Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно...»

До знакомства с исследованием Ирины Паперно я в самом деле решительно «ничего не видел» из этой записки. Какой-то Гейне... Какой-то черт... Но задумавшись: вряд ли девятнадцатилетний парень мог знать о культурном контексте самоубийства в России. Вряд ли он в то время мог внимательно изучать газетные хроники и полицейские отчеты о самоубийствах, как это делал, скажем, Ф. М. Достоевский. Скорее всего просьба взрезать его останки и найти в них черта (так и видишь этого притаившегося где-нибудь между сердцем и левым легким зловредного беса, выполняющего задание своего патрона-дьявола!) возникла сама собою, интуитивно, вне всякого контекста. Так и складывается настоящий контекст.

Продолжим мистическое исследование. Пешков не погиб, останков не взрезали, бес остался. После выстрела юношу отвезли в больницу, где врач нашел рану опасной (пуля миновала сердце, пробила легкое и застряла возле спины). Однако он поправился быстро. Крепкий организм.

Записка же была передана полицией в духовную консисторию и рассмотрена на одном из заседаний. Вот текст протокола: «1887 года декабря 31 дня. По указу Его Императорского Величества Казанская Духовная Консистория в следующем составе: члены Консистории: протоиерей Богородицкого Собора В. Братолубов, протоиерей Вознесен. церкви Ф. Васильев, свящ. Богоявлен. церкви А. Скворцов и свящ. Николонизской церкви Н. Варушкин при и. д. секретаря А. Звереве *слушали*: 1) присланный при отношении пристава 3 части г. Казани, от 16 сего декабря за № 4868-м акт дознания о покушении на самоубийство Нижегородского цехового Алексея Максимова Пешкова, проживавшего по Бассейной улице в д. Степанова. Из акта видно, что Пешков, с целью лишить себя жизни, выстрелил себе в бок из револьвера и для подания медицинской помощи отправлен в земскую больницу, где при нем найдена написанная им, Пешковым, записка следующего содержания... *Закон*: 14 правило Св. Тимофея, архиепископа Александрийского. *Приказали*: цехового Алексея Максимова Пешкова за покушение на самоубийство на основ. 14 прав. Св. Тимофея, арх. Александрийского, предать приватному суду его приходского священника, с тем, чтобы он объяснил ему значение и назначение здешней жизни...»

Приказ, как и положено, был послан благочинному «первой половины Казанских городских церквей» протоиерею Петру Маслову. Маслов вызвал к себе Пешкова для разговора, но Пешков прийти отказался. Вместо себя он отправил ему нахальный стих:

Попу ли рассуждать о пуле?

Тогда был наряжен насильственный допрос в Феодоровском монастыре. «Допрашивали, — писал уже много лет спустя Горький своему первому биографу Илье Груздеву, — иеромонах, «белый» священник и третий — Гусев, профессор Казанской Духовной академии. Он молчал, иеромонах сердился, поп уговаривал. Я заявил, чтоб оставили меня в покое, а иначе я повешусь на воротах монастырской огады». В результате Пешкова отлучили от церкви на семь лет.

С этого началась его ненависть к церкви, к церковникам. Отсюда отчасти простекала попытка построить новую церковь: социализм.

Дьявол мог спать спокойно. Задание выполнялось успешно. И — какой человек (то есть с каким талантом, силой воли, творческой энергией) так и не мог узнать, *какой черт в нем сидит!* Грустно...

А ведь все могло быть иначе. Вяжись в состязание с бесом не Скворцов — Варушкин, но человек более тонкого и сложного ума — такой, как, скажем, митрополит Филарет (последний, впрочем, скончался в 1867 году, за год до рождения Горького). Могло бы? Или нет? Кто знает, кто узнает...



Александр ВОЛОДИН. НЕУРАВНОВЕШЕННЫЙ ВЕК. СПб., «Петербургский писатель», 1999. Тир. 1000 экз.

Стихи рождаются не из сора, как утверждала Ахматова. Стихи рождаются из бормотания, из недосказанных по каким-то причинам слов, из разговора с самим собой.

Простите, простите, простите меня!
И я вас прощаю, и я вас прощаю.
Я зла не держу, это вам обещаю.
Но только вы тоже простите меня!

А затем эти стихи бормочут другие, кто также кому-то что-то недосказал, кто тоже разговаривает сам с собой, оправдываясь, прося прощения. Все остальное — территория «большой» литературы.

АННА АХМАТОВА В ЗАПИСЯХ ДУВАКИНА. М., «Наталис», 1999. Тир. 5000 экз.

Несколько лет назад вышла книга бесед В. Дувакина с М. Бахтиным. Вышла, да так и прошла незамеченной. Между тем в магнитофонных записях, которые делал Виктор Дмитриевич Дувакин и которые позднее были расшифрованы его учениками, предстает не только личность дувакинского собеседника, предстает целая эпоха. Собственно, ради коллективно нарисованной панорамы эпохи и затеяна эта магнитофонная эпопея. И потому не столь важно, фамилия какого собеседника или какое название значится на обложке этих книг (а их должно быть едва ли не больше десятка, столь обширен дувакинский фонд), тема одна, и она неисчерпаема.

Наталья ШМЕЛЬКОВА. ВО ЧРЕВЕ МАЧЕХИ, ИЛИ ЖИЗНЬ — ДИКТАТУРА КРАСНОГО. СПб., «Лимбус Пресс», 1999. Тир. 5000 экз.

Быть хорошим знакомым человека, который почти наверняка останется в истории, любопытно и, как правило, тяжело. Наделенный талантом — нелегко и для себя, и для окружающих. Лишний раз эта вовсе не оригинальная мысль находит подтверждение в книге, где главные герои Венедикт Ерофеев, Леонид Губанов, Анатолий Зверев, Евгений Кропивницкий. Может быть, и блажен, посетивший мир в роковые минуты, да вот визит этот слишком опасен. Точно так же, когда всеблагие призывают тебя на пир (мало того что пир выглядит зачастую обычной пьянкой либо запоем), тяжело похмелье после застолья с великими, им ведь нужны не обыкновенные собеседники и приятели:

Глаза мои бы не глядели
на вашу землю в эти дни...
Но вот мы с ангелом летели
и плакали, что мы — одни!

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ, ЗНАКОВ, ЭМБЛЕМ. М., «Локид»; «Миф», 1999. Тир. 7000 экз.

Символику или эмблематику можно разглядеть почти везде, увидел же Александр Величанский в простом пейзаже рвущийся наружу смысл:

Удивительные маки —
восклицательные знаки.
Поглядишь на них и, глядь,
начинаешь восклицать.

Но, чтобы скрытый смысл понять, необходимо либо озарение, либо подручное пособие, каким и является энциклопедия, изданная в серии «Ад маргинем», в серии, где выходили уже «Мистики XX века», «Энциклопедия Третьего рейха», «Энциклопедия демонологии и колдовства», книги, может быть, и не для каждого интересные, но каждому полезные.

ВСЕМИРНОЕ ОСТРОУМИЕ. Сборник изречений, метких мыслей, острых слов и анекдотов всех времен и народов. М., «ТЕРРА — Книжный клуб», 1999. Тираж не указан.

Переиздание книги, впервые увидевшей свет в 1903 году, как ни странно, имеет смысл. Чем руководствовались издатели, не суть важно (скорее всего желанием издавать, помноженным на отсутствие новых сочинений). Важно, что книга не устарела. В ней встречаются смешные фрагменты, а в целом она материал для обдумывания. Меняются вкусы, меняются объекты для смеха, меняется само понятие смешного. Люди стали очень непохожими на тех, что читали сборник почти столетие назад. И все-таки в них осталось нечто, связывающее их с давно ушедшими. Иначе почему улыбаешься, прочитав такой незатейливый анекдот: «Старый друг дома спрашивал у шестилетней девчурки, кого она больше любит, кошку или куклу. Девочка сказала ему шепотом на ушко: “Я больше люблю кошку, только ты, пожалуйста, не говори этого моей кукле”».

Олег ДАЛЬ. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ. М., ЗАО «Издательство “Центрполиграф”», 1998. Тираж 10 000 экз.

По воспоминаниям, собранным здесь, невозможно понять, чем же столь замечателен актер Олег Даль. А ведь он был прекрасным актером. Но ни слова, сказанного впрямую: восторги, сетования, посыпание головы пеплом. Впрочем, по дневникам самого Даля объективную картину тоже составить трудно, они чересчур субъективны. Навсегда исчезли, растворились в небытии спектакли, сыгранные им и не снятые на пленку: так хотя бы сесть перед телевизором и пересмотреть фильмы, в которых снимался Даль. А книга... Ну, что ж, пусть существует.

М. Е. КРАВЦОВА. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ. СПб., «Лань», 1999. Тир. 3000 экз.

Когда археологи обнаружили похороненных вместе с одним из китайских императоров солдат из терракоты, они были потрясены: целая армия, несколько тысяч фигур, и у каждой особое лицо, отличная от прочих фигура. Что же это за люди, китайцы, не поленившиеся придать лицу глиняного солдата собственное выражение? Что же это за культура, преодолевшая тысячелетия? Разумеется, дать исчерпывающие ответы на два этих вопроса — нереально, однако объяснить кое-что возможно. И потому монографии о китайской культуре множатся. Но, сколь бы ни была хороша любая книга, она рождает новые вопросы. Китайская культура — это знаменитые шары, помещенные друг в друга, вырезанные из единого куска дерева или кости.

Жорж БАТАЙ. НЕНАВИСТЬ К ПОЭЗИИ. ПОРНОЛАТРИЧЕСКАЯ ПРОЗА. М., «Ладомир», 1999. Тираж 2000 экз.

С произведениями Батая, переведенными на русский язык, произошла любопытная и поучительная история. Его роман «История ока» (пародия на знаменитую книгу П. Реаж «История О») в разгар издательского бума был переведен и разошелся как превосходная эротическая книга (за неимением у нас в арсенале серий «порнографической прозы»). Роман, переведенный с соответствующей целью, а потому приобретший недвусмысленное звучание, и впрямь стал порнографическим романом. И подобная чистота жанра (как читатель ни относись к самому жанру) хороша. Но Батай онаученный, откомментированный да еще переведенный известным в своем роде стилистом И. Карабутенко — это нечто особое... Даже предполагаемую для романиста игру названий переводчик не передал. Один из наиболее действенных способов убить книгу — снабдить ее предисловием и обширными комментариями (так душат спящего большой и мягкой подушкой).

Михаил РОЩИН. ИЗБРАННОЕ. М., «ТЕРРА», 1999. Тираж не указан.

Хотя представленные в томе произведения хорошо знакомы читателю, читать их все-таки интересно. Причиной тому, что повести и рассказы Михаила Рощина не просто хорошо знакомы, они знакомы по-хорошему. Написанное им обладает двумя редкими ныне в литературе качествами: добротой и сочувствием.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Читайте в следующем номере

современную сказку

РОЛАНА БЫКОВА

«ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ»

«...глаз гигантского осьминога горел зеленым огнем, а его щупальца тянулись к юной царице. Свирепая стража схватилась за оружие и бросилась на осьминога, но он своими мощными щупальцами перехватил занесенные над ним мечи и копыя, поднял и ударил оземь одного, другого швырнул за торговые ряды, третьего схватил за ноги и, будто палицей, крушил им стражу направо и налево. Потом он повалил на землю вздыбившегося коня начальника стражи, дотянулся своими длинными страшными щупальцами до прекрасной девушки и поднял ее высоко над землей.

Черные крылья заслонили солнце — огромные птицы-змеи подхватили царя-осьминога с его добычей и улетели в открытое море.

Всю ночь летели они над бушующей стихией, поднимаясь все выше и выше, сквозь ливень и молнии. Египетская царица потеряла сознание, а когда очнулась, увидела вокруг себя болото, ковер цветов и трав, сверкающих росой. Повсюду горели свечи в чашечках белых лилий, а на юной царице сверкал белый свадебный наряд. Болотный царь был в золотых одеждах, он взял побледневшую девушку за руку и повел за собой в самую топь. Она не сопротивлялась и проваливалась все глубже. Царь погрузился с головой, а следом за ним ушла под воду, покрытую зеленой тиной, и египетская царица.

Поднялся ветер, свечи погасли, и наступила ночь».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 2000 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Новый роман.**

Светлана ВАСИЛЬЕВА. **Песнь странствий.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга третья.

Виталий ВУЛЬФ. **Рассказы Ангелины Степановой.**

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Владимир КАЧАН. **Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Близнец.** Роман.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Последняя газета.** Роман.

Павел КРУСАНОВ. **Укус ангела.** Роман.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **Письма к жене.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Новочеркасские рассказы.**

Олег ПАВЛОВ. **Новый роман.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Дневник читателя.**

Михаил РОЩИН. **Повесть. Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Лариса СЫСОЕВА. **Берлинские эпохалки.** Предисловие Евгения Попова.

Олег ЮРЬЕВ. **Полуостров Жидятин.** Роман.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Генриха САПГИРА, Леонида ФИЛАТОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Подписка принимается во всех отделениях связи по каталогу «Роспечати». Индекс подписки для Российской Федерации: на полугодие — 73293, на год — 72375; для стран СНГ — 79209. В розницу журнал можно приобрести в следующих магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.